



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

II'2011

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Редколлегия:

Евгения КРАСНОЯРОВА	зав. отделом поэзии
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ	зав. отделом прозы и драматургии
Алексей ТОРХОВ	зав. отделом критики
Алёна ЯВОРСКАЯ	зав. отделом литературоведения и краеведения
Людмила ШАРГА	отдел поэзии
Александр ЛЕОНТЬЕВ	отдел прозы и драматургии

Общественный совет:

Валерий Басыров (Симферополь), Евгения Бильченко (Киев),
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск), Кирилл Ковальджи (Москва),
Александр Корж (Киев), Татьяна Липгута (Одесса),
Виктор Петров (Ростов-на-Дону), Александр Петрушкин (Кыштым),
Илья Рейдерман (Одесса), Анна Стреминская (Одесса),
Евгений Черноиваненко (Одесса).

Издание журнала осуществляется при поддержке Одесского городского совета

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: avrotopolis.od.ua

© «Южное Сияние», 2011

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Сергей Нежинский. Мёртвый хлеб. <i>Венок метасонетов</i>	4
Одесса: Полина Тараненко. «Веря только солнечным часам...». <i>Стихи</i>	9
Одесса: Екатерина Янишевская. На связи Авель. <i>Стихи</i>	12
Одесса: Ирина Дежева. «Земля, разделённая морем Тетис...». <i>Стихи</i>	15

ПРОЗА

Москва: Александр Кабаков. Люди хорошие. <i>Святочный рассказ</i>	19
Одесса: Сергей Шаманов. Друид. <i>Рассказ</i>	21
Одесса: Ума-И-Сон. «Стиходикобразии». <i>Главы из книги</i>	25

ПОЭЗИЯ

Москва: Андрей Коровин. «Подобно морской путеводной звезде...». <i>Стихи</i>	36
Москва – Ялта: Лев Болдов. Отчаливай. <i>Стихи</i>	41
Харьков: Сергей Шелковий. По Либиенталю. <i>Стихи</i>	46
Питкьяранга: Анна Матасова. Лестница в мёртвый город. <i>Стихи</i>	50
Ростов-на-Дону: Вадим Скирда. Жизненно важно. <i>Стихи</i>	54
Гомель: Мария Малиновская. Как за пастырем. <i>Стихи</i>	58

ПРОЗА

Одесса: Александр Леонтьев. Крепость. <i>Повесть</i>	62
Одесса – Нью-Йорк: Аркадий Львов. Рассказы	93
Одесса – Москва: Ольга Ильницкая. «Не потеряй меня, когда меня не станет...». <i>Эссе</i>	102
Ильичёвск: Дмитрий Фус. Одесская коммунальная песня. <i>Очерк</i>	104

ПОЭЗИЯ

Одесса: Людмила Шарга. Неперелётная птица. <i>Стихи</i>	107
Одесса: Семён Абрамович. Сердечный метроном. <i>Стихи</i>	112
Одесса: Олег Дрямин. Дом с иконами. <i>Стихи</i>	115
Одесса: Татьяна Орбатова. В квадрате Малевича. <i>Стихи</i>	118

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

Барнаул: Вячеслав Корнев. Фотография <i>(статья для «Энциклопедии современной жизни»)</i>	122
Барнаул: Иван Курдяшов: Плакат <i>(статья для «Энциклопедии современной жизни»)</i>	124

ДРАМАТУРГИЯ

Одесса: Сергей Главацкий, Евгения Красноярова. Templa non grata (акт 3).....	128
---	-----

ПЕРЕВОДЫ

Уильям Блейк. Военная песня для англичан <i>(переводы с англ. Игоря Лосинского)</i>	152
--	-----

«ФОНОГРАФ»

Уфа – Москва: Борис Виктор. Воспоминания о Бугазе. Поэма	155
Одесса: Валентин Колот. Отсюда начинается земля. Стихи	159
Москва: Анатолий Агамиров-Сац. Завещательный мемуар. Отрывки	162

«ОКОЁМ»

Одесса: Сергей Главацкий: Центростремительная сила Крыма (<i>О фестивале «Славянские Традиции – 2011»</i>).....	172
Одесса – Ильичёвск: Александр Семькин. <i>Стихи</i>	172
Москва: Игорь Кучебо. <i>Стихи</i>	175
Полоцк: Андрей Шуханков. <i>Стихи</i>	178
Одесса – Ильичёвск: Ирина Василенко. <i>Стихи</i>	180
Алматы: Бахытжан Канапьянов. <i>Стихи</i>	182

«ЛИТМУЗЕЙ»

Москва: Павел Крючков. Однажды в чуковском доме (воспоминания)	185
Одесса: Анна Божко. Одессит и петербуржец (<i>о пребывании Корнея Чуковского в Одессе</i>).....	189
Одесса: Евгения Самойлова. Стихи на крыше (очерк)	192
Николаев: Надежда Агафонова. «Сказка – ложь, да в ней – намёк...» (<i>критические заметки</i>).....	194

«ШКАФ»

Одесса: Евгения Красноярова. «Заглянуть в Междуречье» (<i>опыт прочтения книги Светланы Василенко «Проза в столбик»</i>).....	198
Киев: Владимир Гутковский. «Оглядываясь вдаль» (<i>рецензия на книгу Дмитрия Бураго «Киевский сбор»</i>).....	201
Одесса: Аркадий Ромм. «За минуту до славы» (<i>рецензия на книгу Игоря Потоцкого «Стихи для Людъ»</i>).....	203

«ВЕСТИ С ПОЛЕЙ»

Одесские литературные новости.....	205
------------------------------------	-----

СЕРГЕЙ НЕЖИНСКИЙ

МЁРТВЫЙ ХЛЕБ (венки метасонетов)

1

За чертою каменной гряды,
В мраморе ампириного свеченья
Высечена светлым вдохновеньем
Галатея голая воды.

Жадный рот голодной тишины,
Кашель птиц, хрустальный дым растений
В пасмурную глыбу наваждений,
В узкий луч ума заключены.

Это пир больного кислорода.
Бог веществ, слепой творец свободы
За решёткой крепкого окна.

Здесь конец прозрачного состава.
Здесь дрожат страстные крылья сна
Над водою воспалённо-ржавой.

2

Над водою воспалённо-ржавой
Меркнет лоск: дремучий вар планид
Интровертный сад в себе таит –
Сгнивший плод бессмертия и славы.

Ток безумства, вены торжества,
О, тугие ветви вдохновенья...
Комнат нет – есть шумный миг прозренья!
Есть немое чудо Рождества!

Но в проклятой пляске естества –
Бродит ветер, падает листва,
И на ось надет орёл двуглавый;

Всё уходит. Ветер носит прах,
И дымится в каменных глазах
Глубина разрушенной державы.

3

Глубина разрушенной державы –
Кладезь снов, прислужница денниц!
Дай ключи! Открой мне тайну лиц,
Говор птиц и бормотанье лавы.



Осиянный призрак равноправья.
Тусклое дыханье жёлтых свай.
Кровь сомкнулась. Заперт Менелай
В треснувшем инклизе ложной яви.

Блеск цифири меж собой роднит
Шелестящий огненный Родник
И Хаоса тёмную лилею.

О, соловье пение тщеты!
В озарённых числах Галилея –
Спирит вездесущей пустоты.

4

Спирит вездесущей пустоты –
Золотая колба самосуда,
Жертвенная преданность Иуды,
Луч столетий, павший на цветы.

В клетке муки – музыки проклятье.
Каторжник распахнутых равнин,
О, скажи мне, из каких глубин,
Боль восходит к твоему распятью?

При соитьи влажных голосов
Гаснет свет разбуженных миров.
Проступает жёлтый пот лампы

На челе свинцовой высоты,
И стучится в ломких листьях сада
Гулкий пульс внезапной немоты.

5

Гулкий пульс внезапной немоты.
Мысли глохнут в пулях снегопада.
Взгляд выходит медленно из взгляда,
Вытирая за собой следы.

Звук замкнулся в плавные черты.
Сжалась мысль. Растлились суть и время.
Вещества вернулись к теоремам
И низверглись в недра пустоты.

А в бескрайней небыли вещей –
Лишь петля, да запах кислых шей,
Да ботва, да выбритые морды.

Всё в дыму – бордели и кресты,
И внутри – предчувствие беды
Бьётся кровью в рёбра и аорты.

6

Бьётся кровью в рёбра и аорты
Пёстрых птиц тревожная шрапнель.
Ум постиг блуждающую цель
В темноте невыносимо твёрдой.

Умер смысл. И был то день четвёртый.
Куб сместился. Повернулся ключ.
Так с собой столкнулся первый луч,
Холст ожил, построились аккорды,



Слово вышло, стек воздвигнул грань,
Звук ваяла звонкая гортань,
И пространство разделила хорда.

Мир застрял в глухой тюрьме комфорта.
Тьму и свет, как будто инь и ян,
Ум мешает в пламенной реторте.

7

Ум мешает в пламенной реторте
Дедуктивный воздух аксиом,
И лицо за каменным лицом
Светится возвышенно и гордо.

О, зрачков глубокие фиорды,
Тайные колёса бытия –
Вы постигли магию огня,
Суть тоски, и музыки, и формы!

Двадцать пять моих холодных войн,
Девять тысяч удивлённых хищниц
Где угодно нас с тобой отыщут
И не будет больше нас с тобой.

Нам откроют мёртвые цветы
Ледяную щёлочь темноты.

8

Ледяную щёлочь темноты,
Трепетные руки хриплых взглядов
Греет мысль и наполняет ядом,
Хохотом скабрёзной суеты.

Чувственные пальцы маяты
Боль воздвигли, выдумали счастье,
Наделили немощного властью,
Сны разверзли, создали мечты

И в чаду Рождественской звезды
Обрели слепое вдохновенье.
Дух погас, в огне сгорели тени.

Злом налились алчные плоды,
И вкусили медленные рты
Яркой боли красное смятенье.

9

Яркой боли красное смятенье,
Вещество беременных светил,
Породило сонмы слабых сил –
Графики, параболы, сомненья.

Хилый ум был подчинён системе,
Вектор сбился, время плыло вспячь,
Древо сохлось, сын вернулся в мать,
И звезда потухла в Вифлееме.

Смолк Орфей в пустом кровотеченьи.
Шёл ноябрь, ты мёрзла у окна,
Листья таяли, едва касаясь дна,



Свет ложился на твои колени . . .
И вдыхала хмурая страна
Яд спектральный сна и вдохновенья.

10

Яд спектральный сна и вдохновенья –
В нём таится блага рыжий хлам,
И за ним идут по головам
Нищие вассалы преступленья.

Дождь горит, как факел Диогена,
Лужи, корчась, хмурят брови птиц,
И твердеет в форме юный гипс –
Верное исчадь Мельпомены.

Тихо вьётся белый пар Селены –
Бледный плен астральных хризантем . . .
Что не взгляд – то вкось . . . и в стоны стен.
Что не мысль – то врозь . . . и в сон вселенной . . .

Ах, ты слышишь этот голос тени,
Льющийся по руслам шумных вен?

11

Льющийся по руслам шумных вен,
Бьющийся в больном подвале глаза,
Разум высекал скульптуру фразы,
Раздувал огонь мерил и лемм . . .

Третий Рим тоской повержен в тлен,
В хор стеклянных груш и ветхих капель.
Слышишь ты меня ль, о, брат мой, Авель,
Сквозь сырое пение сирен?

В ласковых движениях мурен,
В чистоплотных пальцах сновиденья
Мы – лишь отблеск тусклого свеченья,
Лишь искра вселенских перемен.

В нас болит река туманной страсти,
Словно тайна светлого причастья.

12

Словно тайна светлого причастья,
Счастье часть не разлучает с частью.

Семя мысли вырвется из «Я»,
Вылетая за пределы круга.
Как матрёшки, входим мы друг в друга
И выходим сами из себя.

Выверни наружу Альфаом:
Большее, вдруг оказавшись в малом,
Сделает Конец – всему Началом,
И заменит внешнее – нутром.

Явь, по сути, тот же гуинплен:
То, что миг назад казалось смехом,
Ныне плачет, невесомым эхом
Обдавая камни гулких стен.



13

Обдавая камни гулких стен,
Бродит дождь. Шевелятся трепанги
Плавных вязов. Души ждут огранки
И плывёт тревожный гул морфем.

Тридцать тысяч солнечных систем –
Блажь зрачка, металлолом иллюзий,
Зыбкое творенье лживой Музы,
Каторга свободы, прах и плен.

Человек – всего лишь манекен
На костре вселенского ненастья.
Мира нет – есть вывихи и части,

Есть железо, вбитое в запястья,
Где во тьме, торжествен и смирен,
Свет, как зов, летит из чёрной пасти.

14

Свет, как зов, летит из чёрной пасти.
Каин дремлет в солнечной траве.
По озябшим ветвям и дресве
Белой болью вьётся шорох власти.

Стрелы ног... О, пламенный Себастьян!
Здесь летят глухие футы шпал!
Здесь лучи вплетаются в хорал!
Белый шум хрусталик слуха застит...

Речь мертва. Безвкусный воздух глух.
Светлой Музы окрылённый дух
Обретает контуры светила.

О, бездарный Гений нищеты!
Вижу, как восходит лик Аттилы
За чертою каменной гряды.

КЛЮЧ

За чертою каменной гряды,
Над водою воспалённо-ржавой –
Глубина разрушенной державы,
Спирит вездесущей пустоты.

Гулкий пульс внезапной немоты,
Бьётся кровью в рёбра и аорты.
Ум мешает в пламенной реторте
Ледяную щёлочь темноты.

Яркой боли красное смятенье...
Яд спектральный сна и вдохновенья,
Льющийся по руслам шумных вен...

Словно тайна светлого причастья,
Обдавая камни гулких стен,
Свет, как зов, летит из чёрной пасти.

ПОЛИНА ТАРАНЕНКО

«ВЕРЯ ТОЛЬКО СОЛНЕЧНЫМ ЧАСАМ...»

AQUARIUM

Внутри литой стеклянной глыбы,
Наполненной водой и утром,
Живое тело спящей рыбы
Горит тревожным перламутром.

Оно — ядро своей планеты,
Зрачок налившегося глаза,
Его мигающие стразы
Ломают хрупкий вектор света...

В моём уме, как в пёстрой жиже,
Качнутся времени качели,
И сквозь «сейчас» я в нём увижу
Сухие звёзды иммортелей...

И я вернусь к той самой дрожи,
За миг до страшного удара
Объявшей внутренности шара
С такой прозрачно-тонкой кожей...

И, утонув в беззвучном рёве
Всеобесмыслевшего «вспомни!»,
Сотру слезу бесцветной крови,
Когда-то брызнувшей в лицо мне.

СЛЕПЕЦ

Он, веря только солнечным часам,
Ночами в небе не искал знамений,
Но наступила полоса затмений,
И он послал проклятье Небесам.

Из множеств звёзд, из всех небесных тел
Он близоруко выбрал то светило,
Которое глаза его слепило,
И, потеряв его, осиротел.

... Как жалок тот, кто сдал себя в наём
Той страсти ограниченной и жадной,
Которая в слепом рабе своём
Не терпит объективности досадной.



... И с каждым днём — чуть больше в стенах трещин,
Чуть меньше электричества под кожей:
Я становлюсь трагически похожей
На тысячи других безликих женщин.

Весна в грядущее вытягивает шею.
И я... взрослею. Мне всё чаще снится,
Что полночь раскрывается, как веер,
И в блеклых рамах оживают лица...

Я стала забывать, как закипало
В хрустальных вазах розовое масло,
Когда за горизонтом солнце гасло
И Темнота в свои права вступала.

Зарывшись в складки клетчатого пледа,
Я улыбалась, чувствуя, что скоро
Стукнется ночь и Атомная Леда
Сойдёт за мной с картины Сальвадора,

Всё немеет, всё преобразится:
Старинные часы за красной шторой
Пробьют двенадцать раз и отворится
Таинственная дверь, ключи к которой —

Свобода, детский смех и птичьи перья.
Когда-то я владела этой связкой,
Мне повезло — я знаю, что за дверью:
Трагедия, зовущаяся Сказкой.

Пророчества надежд неуголённых...
Алхимия того, что не исполнить...
Где эти сны моих ночей бессонных?
Я не хочу ни видеть их, ни помнить.

ШВАБЕНЛАНДСКИЙ ДРАКОН

Мы не знаем, когда всё изменится,
Но из зёрен научной фантастики
Прорастают гигантские мельницы —
Чернокрылые флюгеры-свастики.

Мы не видим, как чёрные векторы
Делят око Солярного Ворона
На четыре светящихся сектора,
На четыре горящие стороны.

Мы не верим, но всё возвращается,
Замирают чужие галактики —
Швабенландский дракон просыпается
В ледяных катакомбах Антарктики.

Мы резвимся, как дети беспечные,
Всё забыв, что нам было обещано,
Но когда-нибудь льды вековечные
Перережут крошечные трещины,

И потоки лавин опрокинутся
В жилы тела сухого и полого,
И из шей перебитых поднимутся
Молодые горячие головы.



Бывает так, что наша боль для нас –
Последний луч, пульсирующий в бездне:
Пусть этот свет мучителен для глаз,
Но мы ослепнем, если он исчезнет.

Я не хочу, боля и скорбя,
Красть боль и скорбь твои, как панацею,
Отчаяньем твоим поить себя,
Как снадобьем целебным... Я не смею

Отнять твой крест и тем – всего лишить,
Не дав взамен ни счастья, ни покоя,
И, будто бы в насмешку, предложить
Принять, как дар, проклятие другое.

Ты придёшь и успокоишь
Глаз моих глубокий голод,
Тёмным облаком накроешь
Невидимый мной город.

И, предав горящим землям
Кровь души неисцелимой,
Прорастёшь колючим стеблем
Купины неопалимой.

ЕКАТЕРИНА ЯНИШЕВСКАЯ

НА СВЯЗИ АВЕЛЬ

понимал больше нас. на свой риск и страх преуспел в дисциплине лжи
человек с цветком папоротника в руках. погляди на него: бежит
то и дело запнётся. его б стращать: не ходи, человек, во мгле —
он всё дальше и полы его плаща волочатся по земле.
человек с цветком папоротника. чудака. бледнолицый угрюмый мим.
говорят, любой холм и любой овраг расступается перед ним
отдавая замызганный глиной крест, потаённый веками клад
человек одинокий, как голь, как перст, и горам золотым не рад
он несёт свой цветок через смерть и боль, через море и океан
человек то ли глуп, то ли своеволен, то он праведник, то буян
и такая в нём сила, такая злоба, но и нежность такая к цветку —
будто он не цветок, а свою зазнобу спрятал за пазуху
и никто — хоть душою он мёрть навеки, хоть он горек, спесив, жесток —
не посмеет вырвать из рук человека его дорогой цветок.

не пиши летних писем мне, летних историй мне не талдычь
ни к чему они в городе, где на въезде литой ильич
смотрит лакомо, празднично ещё с самых советских пор
и ноябрь, как клейстер, течёт из подкожных пор.
я клянусь, из-под пор течёт, прорываясь сквозь стенки вен
вороватым мальчишкой кромсаю гематоген
потребляю кусочек внутрь, остальное кладу в карман
а ноябрь всё так же мчитя против тургора свежих ран
и ты пишешь мне летние письма, и зачем они, и причём?
если я что ни вечер вскрываю свой шкаф ключом,
изымая конверты, я рыбой на них клюю
и мне хочется смерти, чтоб тоже хоть раз в раю,
о котором ты в письмах, немножечко погостить
до тех пор, пока холод не съел меня до кости.

если ты знаешь такое место, где можно бросить монету
и автомат тут же выдаст счастье в красивой жестяной банке,
не жалей для меня валюты, и с надкусанной сигареты
пепел стряхни в палисадник — дворник выметет спозаранку.
неотложно примись за дело: мелочь горстью забрось в окошко
и скорее выгаскивай банки, чтоб за пазуху и в карманы
их сложить. и столовой ложкой
будем вечером лопать счастье, как паршивые наркоманы.



ты побольше бери, побольше. не поместится — так на части
разорвёшь, под рубашку спрячешь. донесёшь и в жару, и в стужу...
понимаешь, мужчина должен, нет, обязан нести в дом счастье,
а иначе зачем он нужен?

да, ты только не выдавай меня. даже если они никогда не придут за мной.
стой за меня стеной, руки в локтях сгибай. а достанут они ножи
тёплой байковой курткой как пледом меня накрой
да колени под голову подложи.

им же чуда, весёлого чуда весеннего подавай.
укради им откуда-то яблоки и зерно
испеки подрумяненный пряник и каравай.
поднеси исповедное им вино.
замеси нугу.
я устала, мой милый. устала. я этого не могу.
у меня же глазные яблоки будто серые уточки на пруду.
рот мой — блюдо, а в нём — полова
я в отчаянье и брежу.
я тебя потеряю скоро, но потом, обещаю, снова
неприменно тебя найду

где-то там, за восходом льётся
вместо солнца густая медь

мы поклялись не верить в смерть.

мы поклялись не верить в смерть.

слухи о моей смерти сильно преувеличены, жозефина,
истлевающий лучик, ни капли не богарне...
мне сказали, ты ждёшь не меня — молодого дофина
укротителя вепрей, любителя каберне

тем не менее, прекрасен март, милая моя, тает
лёд, значит вскорости трупы врагов проплывут мимо нас в луаре
ты прости, я вместо тебя иной раз себе представляю
сильно выросшую фике. с шемизеткой и в пеньюаре

у меня слегонца едет крыша на почве того, что пространство — фикция
я боюсь грубых гуннов, реформ, талейранов, чревовещателей...

в общем, будешь готовить ответ, подпиши письмо «румпельштильцхен»
чтобы я, дочитавши, сошёл с ума окончательно

всякий раз, когда я ищущу свой холодный день в креплёном вине,
выдыхая со свистом и кашлем двенадцать часов подряд,
вспоминаю тебя. как живешь ты в по пьяни придуманной северной стороне
среди тысяч голов скота. неужели они до сих пор с тобой говорят?

и когда колкий иней укутывает лицо так, что оно уже кажется белым,
а проворные пальцы дрожат и дубеют, как старое долото,
кто тогда согревает твоё до предела озябшее тело,
а потом помогает вдеть руку в рукав пальто?



или может быть ты избегаешь пред кем бы то ни было выйти в одном исподнем?
 но в попытке извлечь тепло предлагаешь серебряники иудам?
 я не знаю. . .
 но буду побольше грешить, чтоб однажды мой жизненный поезд
 отправился в преисподнюю
 и я смог тебе выслать хотя бы немного огня оттуда

приходи ко мне в осень, седой близнец с холщовым лицом.
 у меня твоё детство: шенок, птенец
 и игра в серсо.
 у меня плауны, у меня хвощи, канарейка, линь.
 дед черпает ладонью густые щи.
 суп, скорей остынь.
 и лежат на печи два сырых кота, и рябит их шерсть.
 мой сямский близнец, приводит свата,
 мы накроем в шесть.
 и представим себе: мы — разрез лекал, образа графинь.
 и брусничная жидкость стечёт в бокал, а потом в графин.
 ночь зайчихой грызёт на вербе кору. травяной венец
 ей примерит ёж.

на двоих одно сердце у нас, близнец.

ты сожмёшь — умру.

я сожму — умрёшь.

— каин, каин, на связи авель.
 здесь уже проложили кафель,
 подлечили больных, накормили борщом голодных,
 закрутили болты и исправили непогоду,
 и в честь этого грянет большой парад —
 деньги, бабы, на шару пойло.
 знаешь, а я вчера умер, брат. . .

— знаю, авель. звонить не стоило.

ИРИНА ДЕЖЕВА

«ЗЕМЛЯ, РАЗДЕЛЁННАЯ МОРЕМ ТЕТИС...»

ПИТЕР@ОДЕССА

Глоток болота выгеснил испуг
Сошли по гравию пластмассовой линейки
Полумеры-тени
Присели перья на соборный куст
Считая раны того, кто возвращается
И мокрые окурки – зельем
Деля копейки грустной мыслью –
Мой воздух пуст
Как остров, паланкин и след прыжка
На старых непрозрачных окнах
Не думай, скомкай дрожь
Прирозоватый отпрыск
К 50-ти или за 300
Всё распластается однажды
Смей спугнуть походку в никуда
Любимого нечестного зверья
И сеть скрутить не старше, но влажнее
Горячки, паствы, смысла, предложенья
Сорной трели – важнее тверди
Стань за меня
Любить
Фонтаны подари дорогам
Огородам – брюхо
Углом – пять виселиц
Под уздцы преградам – срок
На поцарапанном виниле имена проокав
Вокзал как свиток приземлённой папирсой
Снюхав, переспав реальность
Вергилий подаёт Сафо
Большие сны
Сошедшие на – да –
С платформ и подоконников киота
И мы смеёмся наугад
Смиряемся росой, влеченьем и плевком болота
Прогорклой одой
Целуя лбом да свистом дно
Размьтого турецкого песка...

Окатить бы тебя, подруга
Горячим платьем
Намотать на губу-дугу
Братьев-сватьев



Посветить на ладонь-дыру
 Липким счастьем
 Протащить по земле-реке
 Гладко-гладко
 Чтобы куст не оцарапал глаз
 Сухой щёбёнкой
 Чтобы долго ты лилась
 За ребёнком
 Подарить бы тебе, подруга
 Для смеху
 От грезы до звезды три ореха
 Прочитать все земные сказки
 Хотя долго это, но всегда ясно
 Да, я постараюсь возродить краски
 Напоить кость, добыть руду
 Согреть её и, улетаю
 Посвятить тебе, подруга
 Стих
 Послушай:
 Тихо капая берёзы
 Лес трещит на янтаре
 Выживают после битвы
 Мох слагают на горе
 На той не впрок события
 Разговоры хрупки после
 Бритвы
 Гости губы в контур
 Будьте гибки
 Лес трещит
 Берёз делившие слюну
 Не гибьте после
 Сред накупленных обоем
 Идите, лес трещит
 То мхом на горе
 То янтарём –
 С собой!..

Ответы цвета неба
 Покой по реке везут
 Подстрочник и где ты не был
 И выжил в сиротском лесу
 Как пел, и остыв под аркой
 Узнал, что причудливый сон
 На воду глядит без оглядки
 И ждёт завершение имён
 Цвета неба
 С острова с дымными кольцами
 Фонтаном и беседкой
 Тужурками обязательно и столиком внутри
 Звуками из шафрана
 На паузе солнце замершее в глазах...
 Погоди...
 – Кто плывёт? Как река называется?
 Какой город? Чей пост?
 – Мы
 На набережной теннисном шарике
 В Петров, как полагается
 Каждую ночь летим, невидимые
 На разведённый мост



ШАХТЁРАМ

Земля, разделённая морем Тетис
 Ушла под землю или под воду
 Сорвался как птица от появления акафист
 Зверь счастья на чёрных ладонях
 Подземный сонет ломит шахтёрам
 Вахтёры поделили Пангею кирхами
 Моросно вроде и стыдно
 Но так далеко от звания
 Как алмаз надвое
 Как свадебное опоздание на уголёк жизни
 Поздно нам ругаться с истиной
 В ежедневных окнах блюсти корову-свет
 Слепы мы
 В чреве копошащиеся дети
 Вскормлены рано ватую
 Подсобрали в туннеле вязку
 Каменных лет
 Земные, говорят, короче небесных
 Металлические бинокли порой горят
 А как не горевать им
 Когда Земля, разделённая морем Тетис
 Ушла под стену. Пепел –
 Послед шахтёрский –
 Дворники идут продавать
 Вахтёрам
 2 тыс. с хвостиком шагов назад...

Вселилось сердце в рисунок ангела
 (о)живилась и приблизилась стена
 За которой задевается за счастье
 Жертву не отличая от палача
 Тростниковая веточка
 Из красной книги
 Она – струна?..
 Хор энергосбережения выстраивается
 Вовремя и неспроста
 Не спеша завьюжит забвением
 Полусолнечная страна...
 Но сердце вселилось в ангела
 Разбросана гладью земля
 Вышей мне на предпоследнем предплечье
 Можжевеловую отметину
 Цвета твоего крыла
 Легко и тихо полетится
 Ангел мой
 Замаринованное
 В реснице счастье
 Струной зажато
 По главной книге – Бытия...

Останусь в тебе одном, дерево
 Милое, шероховатое
 Присяжными листьями
 Северной ватую
 Виноватую
 Признающей тя одного, дерево
 Милое, шероховатое
 Это паспорт пустошь



Из кожи лепит
 пятак суши
 Сладкую суть придурковатую
 Рознь опросов опричных
 А я не хочу вопросов, дерево
 Милое, шероховатое
 Я люблю тебя как чудо
 Я молось на тебе
 Пня крылатее
 Отвечая
 Забьём ли тратую
 Фальцетом, сонатою, опилкой ли
 Дня

В моём любимом столько красоты
 Тенеют транспорты тотальной кожи
 В кипе разлук мы – мнимы
 Судорожно схожи
 Хотим на миге вспомнить
 Приют, не номер
 На складных ходулях там смеётся горе
 Дряхлеют сети
 И смыслы нянчат слух
 В моём любимом столько простоты
 Богов, эпох, суровых чаепитий
 Беспутных скифских лопухов
 Обоз везёт проказу к солнцу
 Эмигрантских литий
 Забьёмся в чреве брёвнами, плечами
 Стихиями, начинкой
 Сырых и сладких поцелуев, незнакомых слов
 В душе твоей, о, сколько наготы и нелюдимства
 На ржавых коликах сваяет свет
 Попытки к дому
 Сколько не спроси
 Юродством, перламутром
 Спутнуг и улыбнутся дети
 Эскорт запьёт чужбину пеплом
 Скерцо разнесёт земля
 Как быть и должно, о любви...
 В моём любимом
 Столько красоты

Ведь истину сжигает след
 Ушедший в проседь хрематоним
 Я реагирую на свет
 Немного ласково, и скромн
 Мой день без поручней воспоминанья век
 И скалятся колодки страха
 Шествовать тепло
 Не драть сердца, вживляя изобилье рек
 Мимо проносить задумчивую раку
 К тебе мечта опущенным челном
 Предательств преданных личины
 Исканье краснопёрых душ
 Забрала водоём
 Преданья – мышцей
 Рудники – иносказаньем Схиллы

Ты Перевозишь Хлеб...

АЛЕКСАНДР КАБАКОВ

ЛЮДИ ДОБРЫЕ святочный рассказ

Гости съезжались на дачу. . .

Следует сразу заметить: того, что Александр Сергеевич Пушкин первым написал фразу, с которой мы начали рассказ, никто из персонажей этой насквозь литературной истории не помнил. В школе они учились уже в новые, небрежные к классике времена. Поэтому не то что пушкинские черновики, но и «Му-му» больше знали по анекдотам, нежели из непосредственного чтения. Мол, «Му-му» Тургенев написал, а памятник Пушкину – не по понятиям. . . Впрочем, это неважно.

Итак, гости съезжались на дачу.

Дача была такого рода, какого и все дачи по широко известному шоссе, Шоссе с большой буквы, у которого она стояла – в четыре шведско-кирпичных этажа, с бильярдной, бассейном и мраморным камином, а всё, что не мраморное, было на той даче не то позолоченное, не то просто золотое. И гости были соответствующего разряда, на англо-германских автомобилях, честно полученных после полугодового ожидания в рамках квоты. А что делать? Желаящих взять хорошую машину у нас много, ну, британцы, вместе с купившими их автопром немцами, и не справляются. Вечно у нас дефицит – то колбасы варёной на всех не хватает, то какого-нибудь элементарного Bentley, к примеру. . .

В общем, гости съезжались на дачу.

Был среди них один банкир, молодой человек с голубыми робкими глазами и рыжеватой юношеской щетиной по уже отошедшей моде; была одна популярная девушка из хорошей семьи, вставшая на дурной путь светской славы; была семейная пара тружеников пиара, не к ночи будь помянут; депутатов, конечно, было двое, толстый и тонкий; политехнолог затесался, известный беспредельной широтой взглядов и серьгой в уже немолодом ухе; куратор некий, только не из цэка, как было бы прежде, и не из другой серьёзной организации, как и теперь бывает, а просто куратор художественных выставок и прочих перфомансов; ну, ещё редакторша разноцветного журнала толщиной в кирпич, средних лет красавица, имеющая каким-то образом репутацию умницы. . . Короче говоря, всё наше общество было представлено, а кто не был представлен, того, прямо скажем, в нашем обществе и нет. В жизни встречаются, конечно, и другие люди, а в обществе – нет уж, извините. Это общество, а не перепись населения.

Вот эти-то гости съезжались на дачу.

А на даче их ждала хозяйка. Так прямо на златом крыльце и ждала, накинувши шубку, сплетённую, как водится, из тонких полосок шиншиллы, предварительно покрашенных в розовый и голубой цвета.

На крыльце же она стояла потому, что вела неприятный разговор с начальником службы дачной безопасности. Этот мужчина значительного сложения вынес из горячих точек, где он крепко погорелся в своё время, неподобающую комплекции сентиментальность и заикание после контузии. Сентиментальность привела к тому, что начальник СБ пригрозил на участке неведомо откуда возникшую собаку, видом овчарку, но не овчарку, конечно, а просто так себе, и назвал её Д-д-друг. А заикание – к тому, что он толком ничего и не мог возразить хозяйке, не успевал.

– В общем, так, – подвела итог беседы хозяйка, знаменитая, между прочим, писательница и символ, простите, гламура, а не заурядная дачница с Шоссе, – чтобы этого пса реально здесь не было. Он весь гектар за. . . л (*тут, признаем, дама сказала не «загадил»*), ещё наступит кто-нибудь из ребят или девчонок, прикинь. И паркет тиковый в холле исцарапал, блин. Ты понял?

Начальник службы безопасности подумал и честно ответил:

– П-п-понял.

И пошёл. Взял за ошейник Друга – поводок не стал искать от огорчения – и, неудобно наклоняясь вбок, повёл д-д-друга своего в лес, за забор. Разрешённого ему по работе «макара» переложил из плечевой кобуры в карман, вздохнул да пошёл. А куда денешься, если хозяйка назначила зачистку перед гостями? Приказ есть приказ. . .

Однако ж на то и святочный рассказ, чтобы в нём всё было не совсем так, как в русском критическом реализме, несмотря на очевидное сходство.

Так что едва вышел охранник с собакой за ворота, как пару эту несчастную осветили ксеноновые фары большой машины, сверкнула серебряная леди над радиатором, поверх съехавшего вниз толстого стекла выглянул голубоглазый банкир и обратился просто, как привык, когда чалился:



– Куда подконвойного ведёшь, начальник?

На что справедливо названный начальником прямо (и не без умысла, потому что ну достала хозяйка!) ответил:

– Приводить в исполнение.

Банкир не успел отреагировать, как позади его RR засияли ещё одни фары, позади ещё одни. . . Как было сказано, гости съезжались на дачу. Мягко хлопали двери, из машин сыпались, проваливаясь в снег туфлями и ботинками совершенно ручной работы, вышеперечисленные люди. Выяснив обстоятельства, они один за другим вступали в обсуждение ситуации. . .

И тут, господа, обнаружилась интереснейшая вещь! Оказалось, что все эти разные, разве что примерно одинаково дорого одетые люди беззаветно, непобедимо и фанатически любят животных. И любой из них готов немедленно взять осужденную (с ударением, натурально, на «у») собаку в свой дом (квартиру на Остоженке, пентхаус на Октябрьском Поле), и предоставить ей достойные живого существа условия, а к хозяйке дачи – больше ни ногой!.. Дискуссию успешно провели депутаты, причем толстый представлял фракцию городского элитного жилья, а тонкий – коттеджного с приличными соседями, инфраструктурой и круглосуточной охраной. Сошлись на том, что полгода Друг будет жить у банкира вообще в Лондоне, а полгода – если захочет – у редакторши в обычных Раздорах. В ходе эмоциональной беседы один мужчина, вспомнив от нервного возбуждения безвозвратное прошлое, несколько раз повторял: «А эту б. . . (необоснованно имея в виду хозяйку дачи) я вообще по-любому урою за собаку!». Но нервного общими силами утешили.

Одна только светская девушка молчала, видно, не решила, как дворняга на её имидже скажется.

Ну, короче, машины все дружно развернулись в облаках снега да и поехали восвояси. Шли, само собой понятно, те смутные, призрачные и волшебные две недели между Рождеством и Рождеством, между Новым годом и Новым годом, которые подарены календарными реформаторами исключительно нашей бесподобной стране – вероятно, за все её страдания. И при свете взошедшей яркой звезды, той, что, говорят, однажды особенно ярко светила над прежде израильским, а теперь палестинским городом Бетлехемом, тень милой собачьей морды видна была за тёмным окном лимузина.

Злая женщина-писатель Салтыкова (совпадение, не более) так и осталась ждать неизвестно чего и мёрзнуть на своём скользком драгоценном крыльце. Добрый охранник Герасимов (это его настоящая фамилия) вскоре уволился из дачной службы безопасности и теперь пишет модные романы, этому занятию не помеха. Все прочие человеческие существа, упомянутые в рассказе, живут, как жили. . .

А мне стало так хорошо, как и представить вы себе не можете. Особенно я люблю те полгода, в которые гуляю по газонам и свежевывымытым тротуарам Белгрэвии. Это такой район в Лондоне, не бывали? Очень рекомендую.

Теперь, конечно, вам требуется мораль? Извольте: деньги и роскошь портят людей, но не всех. Точно так же, как и власть, и слава, и прочие соблазны. Некоторые как любили собак в нищем детстве, так и теперь любят, когда все они разбогатели. Другие же как были живодёрами, так и остались, одних шиншиллу на неё сколько извели, а она. . . Но в целом жизнь сильно улучшилась со времён крепостного права. Это я вам говорю, испытавший всё на своей шкуре, прямо говорю, уже от первого лица. Я, ваш Друг.

СЕРГЕЙ ШАМАНОВ

ДРУИД

почти святочная история длиной в год

В середине декабря в городе появились ёлочные базарчики. Свежесрубленные ели, сосны и пихты продавались прямо на улицах, в таких местах, где мимо них нельзя было пройти. Горожане замечали, что ёлочные базарчики появились в этом году слишком рано. Но они всегда появлялись именно в это время, просто год слишком быстро проходил.

Последние несколько лет Кирилл не покупал ни ёлок, ни сосен, хотя очень любил новогодние праздники. Он стал противником ежегодной бессмысленной вырубki хвойных деревьев, но в убеждённости своей оставался одинок и не мог повлиять ни на кого из друзей или родственников.

Наступление нового года он отпраздновал с друзьями. Это была обычная новогодняя вечеринка с праздничным столом и танцами возле разряженной ёлки. Втайне Кирилл получал удовольствие от украшенной лесной красавицы, к покупке и убийству которой не имел прямого отношения. Ночью, как по заказу, выпал первый снег, после двенадцатого удара курантов все выпили шампанского и побежали на улицу играть в снежки и запускать заготовленные петарды и ракеты.

Где-то в шестом часу утра закончили празднование и разошлись. Кирилл шёл домой, слушая скрип снега под ногами, и не верилось, что за ночь столько намело. Улица была безлюдной, и если б не две дорожки следов на белом тротуаре, он бы подумал, что одинок в этой снежной пустыне.

Многие окна ещё светились, слышалась весёлая музыка. Взглянув на небо, Кирилл увидел, что оно прояснилось, в прозрачном морозном воздухе ярко сияла луна, а облака были густого молочного цвета, и ему подумалось, что новогоднее небо больше похоже на весеннее, чем на зимнее.

В середине пути он поравнялся с ёлочным базарчиком. В предновогодние дни он часто здесь проходил, один раз, из любопытства, спросил почём и откуда ели, но покупать их не собирался.

На базарчике всегда толпились люди, на ночь оставался охранник, но сейчас базар предстал пред ним покинутым, кругом валялись припорошенные снегом ёлки. Бери-выбирай любую; ёлок осталось так много, словно их собирались продавать ещё месяц.

Базарчик напоминал поле боя. Несколько стогов с соснами, елями, пихтами, собранные у подножия росших вдоль улицы могучих платанов и тополей, и хаотично лежащие на земле ёлочки, походившие на павших солдат. Кирилл оглядывался в поисках охранника, но, если охранник даже и остался где-то здесь на ночь, то, скорее всего, лежал после праздничных возлияний, как брошенные деревца, только в более тёплом месте.

Соблазн прихватить домой ёлку был велик, но совесть останавливала Кирилла. Нет, его смущало не то, что он украдёт ёлку, — хотя и это тоже. . . Не хотелось поступиться принципами. Он успокаивал себя тем, что деревья всё равно увезут на следующий день отсюда, и, в лучшем случае, используют в качестве топлива. К тому же, если взять ёлку сейчас, это не заставит торговцев вместо исчезнувшей ёлки заказывать ещё одну — ведь продажа их уже закончилась, и он своими деньгами не простимулирует ёлочных браконьеров.

Почувствовав уверенность в своей правоте, Кирилл поднял с земли пихту и, ударив стволом об землю, сбил с её веток снег. Пихта оказалась неказистой, с редкими асимметричными ветками. Он положил её на землю и взял другую. Ему хотелось взять пихту, которая простоит в квартире дольше, чем ель, и не засыплет ковёр иголками, но среди пихт не нашлось ни одной хорошенькой. Кирилл даже разозлился из-за этого на браконьеров; мало того, что они рубили деревья, так ещё и не думали, купит кто-то их или нет. Эти брошенные на базаре пихты вполне могли остаться в родном лесу и расти себе дальше. . .

Порывшись в хвойном стогу, он выбрал пушистую ель, и, озираясь, словно вор, понес её домой. Он шёл дворами, минуя круглосуточные магазинчики, возле которых в любое время дня и ночи крутились народ. С ёлкой, которую нужно наряжать к празднику, после того, как этот самый праздник уже закончился, чувствовал он себя неловко. Но ведь прошла всего одна ночь, впереди Рождество, да и ёлки у людей стоят до старого Нового года, а у некоторых — до февраля.

За ним никто не гнался, но чувство неловкости не покидало до самого дома. Он поднялся к себе, бросил ель в коридоре и пошёл спать.

Кириллу снились его друзья и другие гости. Они пили шампанское, танцевали в полумраке, освещаемом разноцветными огоньками ёлочной гирлянды. В тесном лифте спускались на улицу и, разбившись

на команды, играли в снежки, запускали ракеты... В садике, возле детской площадки, Кирилл увидел росшую ёлочку. Во сне он быстро очутился возле неё, и также быстро она оказалась в его руках, не пришлось рубить, пилить... Он нес её домой по заснеженной улице, которую освещали яркие утренние звёзды, куда-то подевался ёлочный базарчик – как дивно всё переплеталось во сне...

Проснувшись около полудня, Кирилл засомневался, что принес ёлочку домой на самом деле. Но хвойный запах ещё до того, как он нашёл в себе силы встать с постели, развеял сомнения. Ёлочка лежала в коридоре, там, где он её оставил – всё случилось наяву.

Кирилл установил деревце в гостиной возле окна и нарядил старыми игрушками – стеклянными золотыми шарами и оранжевыми шишками, опоясал электрогирляндой... В его доме словно появился кто-то ещё – живой, но не способный общаться, и с этим существом он проводил большую часть свободного времени. На работу Кирилл выходил в дежурном режиме, и у него оставалось много времени, которое он проводил наедине с самим собой.

Он много читал и, переосмысливая прочитанные книги, часто сидел в темноте, глядя на посверкивающую огоньками ёлку. Казалось странным, что дерево, наделённое природой острыми иголками для самозащиты, волей случая пользовалось у людей популярностью в определённые дни, когда они праздновали день рождения своего Бога, и каждый год миллионы деревьев приносили в жертву. Сотни лет существовал этот обряд, придуманный не то Мартином Лютером, не то древними германцами, и каждый год погибали на земле огромные леса, и, попадай души деревьев в нижний мир – там бы уже давно разрослись непролазные леса.

Почему так беззащитны перед человеком были хвойные? Ведь природа порой очень изобретательна. Африканские акации, когда их начинают поедать жирафы, издают сигнал тревоги для соседних деревьев, и листья тех, даже на большом расстоянии, покрываются ядовитым токсином. Для такой эволюции требуются миллионы лет; и сколько ёлок падёт от рук человека, пока эти растения найдут способ защиты? Да и проживёт ли столько людской род, с размахом уничтожающий собственную планету? Кирилл не знал.

Так размышлял он в праздничные дни, лёжа возле ёлки. Прочитанные книги лежали на ковре, сложенные в ряд, словно карты для пасьянса, а маленькие жёлтые, красные, синие, зелёные огоньки гирлянды бегали взад и вперед по веткам наперегонки, гасли и снова вспыхивали, напоминая леденцы монпансье. Чувства Кирилла в полумраке обострялись. Однажды сквозь музыку он услышал слова: «За что? За что?». Слова боли и отчаяния звучали в его одинокой комнате, эхом отдаваясь в сердце. Он понял, что идут они из-под ёлки, из того места, где находился сруб. Поток непонятной энергии стоном выливался из раны дерева, метался по комнате, выходил наружу, в темноту зимней улицы, и устремлялся за город, в далёкий лес, где на кочке сиротливо возвышался маленький пенёк.

Мохнатое существо из леса в его комнате страдало. Страдало как живой, одушевлённый организм, смертельно раненое и нелепо украшенное убийцами... Кирилл в тот вечер заметил, что иголок под ёлкой стало больше, она начала осыпаться.

Совість мучила его – как он поступил, танцуя и фотографируясь возле убитой сосны на новогодней вечеринке у друзей, правильно ли сделал, притащив домой ель? Ведь, если отказываться от чего-то, то надо действительно отказываться...

Он продолжал слушать музыку с этническими и григорианскими напевами, читать литературу про волхвов, про кельтских и славянских друидов, смотреть на переливы цветных огоньков, мечтая о том, как прикаснётся к запредельному знанию.

И однажды ему приснилось, что он стал ёлкой. Когда-то, давным-давно, он вырос от маленького семечка, попавшего в плодородную почву, удачно освещённую солнцем. С таким трудом он протискивал в землю нежные корни. Долго и упорно рос, треплёмый ветрами, вытягиваясь над землёй...

Морозный, зимний вечер. Он стоит в окружении сестёр и братьев; и слышит вдруг, как останавливается машина, и к нему по снегу осторожно идут люди. Под звон топора падает первая ель – его молодая сестра, потом восьмилетний брат. Их жестоко рубят, во все стороны летят щепки. «За что, за что?» – кричат срубленные деревья, смола слёз покрывает их стволы...

Тяжёлый сон. Сон длиной с чужую, внезапно оборвавшуюся жизнь.

Ель продолжала осыпаться, и, осыпаясь в муках, кричать. Её отчаянный крик искал далёкий лес, в котором остался пенёк. Словно он, этот пенёк, мог вновь напоить её влагой и силой от вцепившихся в землю корней, влить в умирающее дерево живительную энергию...

В середине января он выкинул ёлку, пропылесосил от иголок пол. На память сохранил лишь маленький кусочек ели – тонкий спил ствола. Одна часть этого талисмана меньше месяца назад соприкасалась с пнём, тем самым пнём, который продолжал кричать в далёком лесу. Отчаянный крик не оставлял Кирилла в покое ни зимой, ни позже, когда наступила весна.

Всё свободное время он продолжал читать эзотерические книги, травники. Много из написанного вызывало у него сомнения, кое-что он не мог понять, но постепенно пришёл к тому, что некоторые вещи открываются сами. Ведь то правдивое, истинное, что находил он в книгах, авторы брали не из других книг – они достигли своих знаний тем путём, который мог проделать и Кирилл.

Ближе к лету, когда природа расцветала, распускаясь, с ним произошли физические метаморфозы, которые сначала испугали Кирилла, потом озадачили медиков, к которым он обратился за помощью.

Руки Кирилла поначалу мучил сильный зуд, потом выпали волосы, а вместо них из пор вылезли зелёные иголки. Лечащий врач сказал, что никакой мистики в этом нет, и виной всему клетки-паразиты. По-



добные случаи, правда, очень редкие, известны медицине. Кирилл бросил работу, всё лето ходил на обследования. Очень быстро врачи выяснили, что выросшие на его теле иголки – не растительного происхождения, и что он уже не совсем человек; при мутации изменился набор хромосом, и в теле Кирилла образовались новые клетки.

Иголки легко выдёргивались из тела пинцетом, они были даже мягче, чем у обычной ели – как у можжевельника, и не причиняли боли.

Частьенько он вспоминал то новогоднее утро, когда нёс домой ёлку. Он держал колючий ствол голыми руками, чтобы не запачкать смолой новые перчатки, и хорошо исколол ладони, хотя до крови не поранился. Когда он рассказал об этом докторам, один из них, микробиолог, сказал, что всему виной – желание иметь дома ёлочку. Но Кирилл с этим не соглашался, и всех поражало его спокойствие, отсутствие обречённости.

Кирилл искренне считал, что ему не о чем сокрушаться и не следует пенять на судьбу. Иголки не доставляли больших хлопот и являлись всего лишь одним из изменений, которые произошли с ним. Главное, о чём никто не знал: он научился слышать язык деревьев. Он выходил в санаторный парк и слышал, как переговариваются между собой сосенки и пушистые голубые ели на широкой прибрежной аллее, ведущей к тёплому морю, искрящемуся в ярких лучах летнего солнца. Во время горных прогулок он слышал голоса лиственниц, предупреждавших об опасностях на крутых тропах. В ботаническом саду подслушивал, как кедровые рассказывают сказки неугомонным белкам. Однажды, жарким днём можжевельник возле фонтана предложил ему посидеть в тени своих раскидистых ветвей. Нет, Кирилл не пенял на судьбу – растения не мстили ему за то, что он взял домой срубленную ёлочку. Зелёное царство приняло его.

Он недолго пробыл в санатории. Однажды, проснувшись рано утром, решил вернуться домой. Никого не предупреждая, собрал вещи и уехал на вокзал. По дороге ему звонили, но никто особо не настаивал на возвращении в санаторий.

Дома Кирилл сразу начал встречаться с друзьями; загорал на пляже, растянувшись на песке, читал книги. Каждый вечер, на закате, выходил прогуляться в парк – там он мог вдоволь наговориться с растениями.

Часто он задавался вопросом – не происходит ли у него раздвоение сознания, не рождаются ли слышимые им голоса деревьев в каком-нибудь отдалённом участке мозга. Он не мог дать однозначного ответа – находится ли он в плену иллюзии и как эта самая иллюзия противостоит реальности. Он хотел отыскать пенёк, оставшийся от новогодней ёлочки – если по голосу найдёт его и сопоставит оставшийся на память спил, то удостоверится в реальности голосов. Но летом пенёк кричал не так громко, да и сам Кирилл никак не мог собраться, чтобы выехать из города и отыскать его.

Кирилл рассказывал о голосах знакомым и родным. Зачем скрывать то, что происходит с ним, если он стал другим даже внешне...

Он вырывал иголки из тела, но осенью перестал это делать, хотя именно осенью под тёплой одеждой иголки доставляли наибольшее неудобство. На голове у него не осталось ни одного волоса, вместо них вырос зелёный ёжик иголок, ресницы поредели, но когда он хмурил колючие хвойные брови, тех не было видно.

Кирилл старался выходить на улицу после наступления сумерек, и его душа приветствовала осеннее сокращение светлых часов. В магазинах люди испуганно смотрели на человека-ель, и он выбирался туда ночью и ненавидел подходить к кассе, если перед ней стояла очередь. Иногда он просил сходить за покупками кого-нибудь из друзей или соседей, иногда заказывал доставку товаров через интернет. С первым похолоданием он с радостью нацепил на голову шапку, надел пальто. В тёмных очках он выглядел маниакально, один раз он даже выщипал зелёные брови, заметив при этом, что вырывать иголки становится тяжелее: они всё больше и больше врастали в тело.

Осень проходила. Как слёзы, падали листья засыпающих деревьев; в ноябре город притих, и до Кирилла снова начал доноситься плач осиротевшего пня.

«Надо поехать к нему», – думал про себя Кирилл.

В начале декабря вновь зазвучали крики срубленных хвойных деревьев, и с каждым днём нарастало печальное крещендо их предсмертных стонов.

Эти голоса... Они причиняли боль, словно его самого рубили.

Каждый день, снова и снова. Потом появились ёлочные базарчики, выставившие в самых людных местах, и Кирилл не мог мимо них ходить. Словно рабы на невольничьем рынке, стояли по обе стороны тротуара лесные красавицы, которым бы ещё расти и расти...

Кирилл пытался предотвратить вырубку леса. Он связался с журналистами популярного городского канала и дал интервью, в котором поведал о вреде, причиняемом людьми природе. Он рассказывал о ежегодно уничтожаемых лесах, о фoniaщих пнях, чьи крики раздаются долгие годы после рубки леса... Сюжеты с ним мелькали на телеканалах, и он смог привлечь к себе внимание, но всё же наибольший интерес у людей вызывали колючки, выросшие на теле человека, называющего себя друидом.

Люди покупали ёлки и сосны, в лесах рубили новые деревья, и грузовые машины везли их в город. До праздников оставалось больше недели, но Кирилл думал, что намного раньше сойдёт с ума.

И однажды утром, после бессонной ночи, он оделся и поехал за город. Он вышел из автобуса, когда услышал, что крик пня остался позади. Водитель остановился на полпути между двумя сёлами, названия которых



Кирилл тотчас забыл; ещё в дороге он заметил, что если раньше, путешествуя, он воспринимал леса, сады и луга как расстояние между населёнными пунктами, то теперь места поселения людей стали для него промежуточными отрезками пути, а леса, сады, и луга ныне воспринимались как огромные оазисы жизни.

Просёлочная дорога местами превращалась в болото, но она приближала его к цели, и Кирилл не обращал на такую мелочь внимания.

Пока он шёл, мимо проехало несколько машин, гружёных ёлками. Увидев лесопосадку, Кирилл сошёл с дороги, вышел к полю и остановился. Здесь — понял он, оглядываясь. Фонащий пень находился рядом.

Прислушавшись, он легко нашёл его. Не было нужды сопоставлять кусочек дерева со стволом, но крик пня при соприкосновении со спилом даже зазвучал тише.

Кирилл почувствовал, как болят ступни, словно ботинки стали малы, и разулся. Потом снял одежду, оставшись в чём мать родила, и широко раскинув руки повернулся к дороге и далекому селу. Он начал деревенеть — ноги уходили в землю, превращаясь в корни, тело, сопротивляясь холоду, покрывалось защитной корой. Холод не причинял ему боли, а тело изменялось, и к исходу ночи, когда огоньки сельских домиков в утренней лазурной дымке можно было принять за звёзды, он полностью превратился в хвойное дерево. Непонятное хвойное дерево с толстым стволом и двумя толстыми ветками, на концах которых маленькие ответвления усеяны были иголками.

Сознание жило в нём. Он помнил старых друзей, оставленную в городе квартиру. Он воспринимал окружающий мир, видел машины, проезжающие внизу на дороге, видел размеренно живущую деревушку, что подмигивала ему окнами, и, как руками, махала дымом из труб, слышал голоса деревьев, немало повидавших на своём веку. Он стоял, словно привязанный корнями к земле. Снег покрывал руки-ветви, проходили дни. Весной в его зелёных ладонях появились шишки. Ветер разносил пыльцу и семена, и через несколько лет в округе появились молодые хвойные деревья, напоминающие человека с распростёртыми руками.

Непонятные изменения происходили и со взрослыми деревьями — елями, соснами, пихтами: у них опадали ветки, иголки, и внешне они становились похожими всё на того же человека с распростёртыми руками. Но если молодые, ещё не переросшие траву растения, не привлекали внимания, то старые ели и сосны, внезапно лишившиеся, по мнению людей, присущей им красоты, вызывали тревогу. Все эти внешние изменения сопровождалась другой бедой — у людей участились случаи аллергии на хвою, и с каждым годом их количество росло с угрожающей быстротой. Аллерген имел одну особенность — он возникал только на срубленное дерево. За считанные годы хвойные деревья стали такими же опасными, как амброзия, и количество ёлок, продаваемых под Новый год, резко сократилось. Приграничные государства вводили карантин, но природу невозможно было остановить, и вскоре изменения распространились на весь континент. Хвойные меняли внешний облик, вырабатывали аллерген; природа словно для подстраховки — защищалась от людей двумя дополняющими друг друга способами.

Изменения хвойных начали фиксировать и за океаном. А небольшое, так похожее на человека, хвойное дерево, с которого всё началось, продолжало скромно расти в лесопосадке, глядя на огоньки ближайшего села и большие огни далёкого города. Оно стояло весной, купаясь в проливных дождях, стояло летом на испепеляющей жаре. Оно продолжало стоять осенью, когда жёлтые и багряные листья деревьев укрывали его ноги, а зимой оно стояло не обращая внимания на снег и морозы, и ни оно, ни соседние ёлки и сосны не боялись, что с приближением праздников их жизнь в маленьком лесу внезапно оборвётся.

УМА-И-СОН

«СТИХОДИКОБРАЗИИ»

(главы из книги)

При изготовлении этой книги ни одно животное не пострадало!

Из цикла «Необыкновенности и всамделишности»

ЧЕЙНЫЕ БАБАЙКИ

Прасковья твёрдо знала: порядок в доме — это когда там нет ничего лишнего.

Как-то на день Выборов решила Прасковья обновить свой гардероб. Стала, как обычно, выбрасывать старое из шкафов да из ниш. Радует, разбирая — пух да перья взмываются до потолка, даже птицы снаружи чихают в такие дни! Собрала она вещи в охапку — да в окошко бросила.

А в нише, в сюртуке, как раз в это время бабайки грелись (в рукавах). Летят бабайки и думают: «Ого! Ничего себе, Прасковья порядок наводит». Приземлились, надели сюртук и пошли куда глаза глядят. А глаза глядели ой как далеко, бабайки-то глазасты!

— Эй, бабайки, идите к нам жить, — кричал кто попало.

— Не пойдём. Мы чейные бабайки. Нас потеряли.

Скитались-скитались и решили себя в Чашу Потерь и Находок отнести. Они уже к тому времени простудиться успели, пока по сырости шатались, чихали.

Увидела Прасковья объявление в Магазине Видений — искренне удивилась.

«Найдена бабайка. Две штуки. Сиреневая, в сюртуке с пуговицами (три штуки). При себе имела половник, часы с кукушкой. Простужена. Обращаться в южнотроллейбусное дупло № 7».

Поглядела на семейную фотографию — всё сходится. Есть как есть: её бабайки. И как запричитает:

— Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Что же я натворила! Вот конфуз вышел! Болезньные вы мои, сердешные, родные!

И как побежит в Чашу. Такого огорчения не испытывали даже глоси во время гона, да что там, даже скумбрия во время взрыда!

— Что ты нас выбросила, Прасковья!? Мы тебе дом охраняли, сказки плели, чего только не делали!

— А что вы, — оправдывалась Прасковья, — то видимые, то невидимые... раз бабайка — это вид, тогда почему её бывает не видно?

— Э, кошка, верить надо, что мы у тебя есть! Многих бывает не видно, но это не значит, что их нет!

— Один спелеолог вообще нас увидел в выключенном телевизоре, — добавили они для убедительности. — И вообще, правильно, что не видно, а то как тогда в нас поверишь.

После этого радостного события обретения к Прасковье в дом потянулись родственники и гости, и гости гостей, и родственники родственников. Это паломничество так затянулось, что в одно солнечное утро Прасковья как зарычит низким, убедительным, нечеловеческим голосом — так всех и вымело разом.

И пришло к Прасковье новое понимание: порядок в доме — это когда там нет не только ничего лишнего, но и никого лишнего.

ТО ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ?

Летом посреди Лесопункта появилась надпись: «А грибочки, Устинья, в печи — как положено в сказке. То есть оно Лукерьей положено в сказку. А вот будет ли Устиньей найдено, то неведомо».

— Парасонькой будет найдено, Парасонькой! — разволновалась Прасковья и ринулась закромами, — не будет никакого «неведомо». Как не съесть, если «то есть»?

И съела. Насовсем съела. Решительно так.

— Совести у тебя нет! — послышался голос Беглого кустарника.

— А у вас порядка нет, — беззастенчиво огрызнулась Прасковья, — кладут где ни попадя, а продукты портятся!

– В сказке ничего не портится!

– Кроме самой сказки! – парировала находчивая кошка. – Устинья-то сама знает, чё ей положено? Да и кто ту Устинью видел? Может, она до сих пор ходит! Карта хоть у неё есть, дорожные знаки? Так и странницей недолго стать. Ищи-свищи потом! Безобразие! Без образов сказку оставят, а потом читай!

– Всё равно негоже есть чужую еду!

– Еда чужой не бывает.

Куст задумался, не в силах оспорить природную правоту кошки. Та, чувствуя колебания противника, продолжила наступление:

– Скумекал, травоядный? Чай, не в дровянике найден?

На эти слова Кустарник обиделся, но всё же ответил:

– Не в дровянике. Куплен мной в специализированном чайном гастрономе «Всё забудь». Между прочим, редкий сорт. Дома на кукушках настоянный: стояли над ним кукушки в кругу и глядели. Весь день.

Тут он грешил против истины, что в литературе называется художественным вымыслом, а в обычной жизни – враньём. Чай ему подарили иностранные туристы, у которых, в отличие от кустов, деньги всегда водились.

УСТИНЯ, ЛУКЕРЬЯ И ЛЕММИНГИ

Только оставишь что-то в мисочке на полу – глядь: ползунки и мошка собирается: «О! Снова Устинья с Лукерьей не доели. Налетай, не стыдись!» Вот что значит, когда у вида не развита письменность, а у кога аппетит. Хотя, в данном случае, корректировать факт вида было бы также нелепо, как завивать и пудрить животных, или если бы они разбрелись и завивались, и пудрились сами (пудра никогда не брала только птиц: они интенсивно машут крыльями). Или также нелепо как, если бы все средства связи кроме холодильника, были обесточены, а библиотека из-за отсутствия отопления закрыта, читать газеты.

Так вот, в ту самую янтарную ночь и увидели они стройную группу мелких пуховых особей.

– О, это далёкая миграция леммингов, – предположила Лукерья.

– А очень далёкая? – уточнила Устинья.

– Очень. Дальше не бывает! – отозвалась Лукерья.

– Может, с ними ползунков отправить? – воодушевилась Устинья.

С этого-то всё и началось... Ползунки ушли. А вот лемминги с ними намучились: ползунки-то невкусные! Группа отправилась, а

пока лежала в бессмятстве в Области Тайн, у них было время подумать.

И уж они надумали: вместо назначенного курса на Дикую пустошь двинулись прямо в Космоквариум.

А как им там понравилось! Так до сих пор и блуждают. очередной исчезающий вид образовался. Так Устиньей с Лукерьей был нечаянно скорректирован ежегодный процесс миграции леммингов в природе.

ЯВИЛАСЬ – НЕ ЗАПЫЛИЛАСЬ

– Следочки твои наглядно по всему лесу, а тебя не видно, – укоризненно заметил Порфирий Прасковье за утренним чаепитием.

«Ненаглядная я, наглядеться не могут на меня никак!» – мысленно умилилась Прасковья.

– Мне три чашки чая, две сразу, одну сейчас. Только завтракать я буду сегодня! произнесла она вслух.

– Само собой разумеется.

– Что ж тогда сегодня завтрак предлагаешь?

– Чтоб два раза не ходить, – нашёлся Порфирий.

– Э-э, ты экскурсию с эмиграцией не путай! – заявила Прасковья. Но, оглядев печально свою опустошённую котомку (котовью сумку) и (деловито) наполненный холодильник друга, решила задержаться на обед.

– А это кто ж за нас есть будет, Пушкин? – нацелилась она задорно открывалкой в картофель, но, поддавшись очередной смене своего настроения, вдруг встала и решительно зашагала в кладовку: дух Пушкина вызывать. Со свечкой и собранием сочинений, естественно.

– Что ты, Прасковья, меня тревожишь, али у тебя вдохновение? – отозвался вызванный из Астрала Пушкин глубоким и величественным голосом, красиво встряхнув головой.

Растерялась Прасковья, даже про еду позабыла, дыхание замерло, слова сказать не может.

– Вот племя младое, незнакомое! – сокрушался классик. – Вызывали зря, чаю и то не предложили.





Прасковья и вовсе устыдилась, заробела, чуть в обморок не упала: гений всё-таки.

— Пойду, позвоню домой, — ретировалась она поспешно и невпопад, оценив безвыходность конфуза.

— Вы ошиблись, куда вы звоните — у нас даже телефона нет, — ответили ей на другом конце провода Лобачевский и Эвклид, — и она поняла, что ещё не окончательно из Астрала вышла.

— Ты что, с самим Пушкиным разговаривала? — не терпелось услышать Порфирию.

Он-то и вернул её к реальности вопросом, заодно получив по своему сумчатому лбу тыквой — уж оченно Прасковья выходить из Астрала не хотела.

— Не кошмарно было-то в холод потустороннего пространства заглянуть? — не унимался он.

— Какое же тут кошмарно, красота одна. И вообще, что ты знаешь о пространстве и о кошмаре? Ты видел сову в профиль? То-то и оно, даже не думай об этом.

— Как же я теперь могу не думать, — расстроился Порфирий и с мистическим трепетом потянулся за учебником геометрии.

Теорию он в итоге выучил, а на практике пугался. Однако, его пытливый интеллект вскоре успешно изобрёл котограф — прибор для передачи котов на расстоянии. Так Прасковья его стараниями и вернулась в Астрал.

— Явилась, не запылилась! — остроумно заметил властитель умов.

— Запылилась я, ещё как запылилась, Александр Сергеевич! И чай снова забыла . . .

— Это не страшно, зеленоглазая, заходи, будем стихи прочитывать.

«Вот и Пушкин говорит, что ему не страшно», — мысленно обрадовалась Прасковья и удобно расположилась в воздухе.

ДОРМИДОНТ И ОКРУЖАЮЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Каждая реальность окружала Дормидонта со всех сторон. Буквально обступала. Он так и говорил себе: «Окружают! Спасайся, кто может!». Но, будучи смышлённым, в этой неравной борьбе он не бросался в атаку. Но производил антиреальность. Реальность то и дело пугала то плачущими человечками, то смеющимися чебуречками. В школу его не брали, поскольку официальный результат задачи «1+1» давал единицу, либо четвёрку, в крайнем случае, пятёрку, но никак не два. Это называлось «метаматематикой» (математику, как выяснилось, открыли позднее). А пока Дормидонт справлялся с ролью первооткрывателя-пионера, реальность не давала ему спуска. Иногда она просто бессовестно нападала: глядишь, а это уже и не Дормидонт, и даже не его отражение, а коллективное бессознательное. В канавоньку свалился, спал босиком, как будто из семейства колобковых, вид сверху. Самое страшное для котов — это если укусят их за бусы, особенно во сне, а самое обидное — если покусает их домашнюю птицу. А в такие моменты, ясное дело, кот либо становился наиболее беззащитным, либо себя не контролировал. . . . История загадочная и поучительная.

Но с тех пор, как Дормидонт узнал о герою древнего эпоса — Сумчавате и его двойнике, забытом при рождении в крыльяхранилище, реальность вдруг стала отступать сама.

Пока другие пытались изменить реальность путём зажмуривания и соревнования в перекрикивании и перепрыгивании блох, Сумчавата изобрёл:

— аэрокод перемещения и водоизмещения во времени и язык в сто три буквознака и буквосмысла в квадрате,

— обнаружил и открыл рыбу Окулярию вилкой,

— возглавил первую экспедицию на полюс запредельности,

— вывел методом перекрёстного опыления черепашки ниндзя и покемона путь окукливания и окучивания корнеплода в четыре вида дикой камышовой Жузунтвы,

— доказал закон умножения глупости глупыми,

— изобрёл искусство игры на цимбале,

— сотворил мастерство преодоления непреодолимого.

Само существование Сумчаваты, который носил в акварельных красках образ овладевшей искусством внутреннего танца и улыбки Ефросиньи-царевны и её восьми перевоплощений, который вселил веру в Батакаумбу, вызывало Дормидонта на подвиг, а в самом Дормидонте поощряло все лучшие порывы.

Когда последователи Сумчаваты научились самостоятельно поддерживать огонь и начали приручать первых броненосцев и приучать их к грамоте, Сумчавата, в последствии заглянувший в Великий чёрный Квадрат художника Казимира и не вернувшийся обратно, попрощался и вознёсся в Чудо.

С тех пор День Вознёсшегося Сумчаваты празднуют каждый день в свободной манере.

КУДА ПОШЛА ГОЛОВА САМСОНА

— Кошмар, кошмар! — Самсон нарезал круги по полянке, размахивая лапками.

— Что стряслось? — отозвался Никодим.

– Украли запас Волшебной Маковой Кашки!
 – Кто заходил?
 – Только пряталка, все стены простукала, по сусекам скребла . . .
 – По суседам скребла? У неё что, продукты кончились?
 – По сусекам! Суседи в них не верили, в существа эти застенные!
 – Отобрала она твою кашу. Не стыдно?
 – А когда это у нас продукты отбирали?! За пятьдесят или семьсот восемьдесят лет всего три разочка!
 – Три разочка!? А в Уме!? – возмутился недогадливости собеседника Никодим. – А везде ли искал?
 – Везде.
 – А во сне искал?
 – Во сне не искал. . .
 – Я так и знал. Вот видишь! Никодим стоял над головой Самсона и бранился. А Самсону казалось, что его осуждают три Никодима, так он был расстроен, а потом ещё будто три мышки и половина броненосца; потом и эхо Никодима поругало Самсона – тут он и вовсе сник, – очень уж он эту кашу уважал. Ох и пошли клочки по закоулочкам. Делать нечего. «Надо в сон выходить», – решил незадачливый хранитель кашки. Не любил он чужие сны – неопределённые места, напряжённые. Grimаса огорчения проскользнула по его сиреневому меху.

Долго раздумывать не стали. В путь так в путь. Извлекли с антресолей Великий Путеводитель по Сну, завещанный им предками их и предшественниками и самим Сумчатой. Принесли комод. Накрыли комод тряпицей. Музыка включили располагающую к Выходу, как в путеводителе сказано. Мягкий сумрак обнял голову Самсона и плавно погружал его в тёплый пар. Самсон уже видел только вращающиеся сферы и, войдя в восходящий поток, выразительно взмыл. . .

Посреди сна два тоненьких существа, стоя на носочках, перебрасывались друг с другом предметами.
 – Так быстрее, время экономим! – поймав удивлённый взгляд гостя, пояснили незнакомцы.
 – А меня перебросить вон на тот холмик можете? – замороженно поинтересовался Самсон.
 – Легко.

И, не дав ему вздохнуть, подсадили на первого попавшегося кабанчика, и резво пнули «новоиспечённое транспортное средство». Осёдланный кабанчик выронил из челюстей добычу и непроизвольно развернул голову на сто восемьдесят градусов. Смотреть в глаза кабанчику при таких обстоятельствах было стыдно и неудобно, и Самсон ловко сошёл с животного на ходу, инстинктивно обхватив попутную веточку, а кабанчик по инерции полетел дальше.

В это время случилось сразу девятьсот восемьдесят семь событий. Но мы перечислим только пять.

Кабанчик отряс на ходу рыльцем плод с семенами маковки, отразился в зеркале реки и попал в поле зрения колхозников. Колхозники (неизвестно откуда взявшиеся во сне), приняв летящий объект за дичь, начали на «дичь» охотиться всем, что попадалось под руку. И в запале случайно истребили сапогом вид редкостной кулебяки в одном экземпляре. Завидев падшее существо, даже егеря замерли в оцепенении. Никто не услышал оклик Самсона.

Самсон заблудился, и именно поэтому нашёл Волшебные семена, осыпавшиеся из маковки. А то, как начнут дорогу объяснять местные обитатели, так и ходишь кругами. А как сварил и съел ту кашу, так Никодим его сквозь комод три дня и три ночи не мог достать, что только он ни делал, как ни призывал.

То-то и оно, нечего было так стыдить увлечённо – у Самсона память была бы ясная, без мышек и полброненосца. Вместе бы и ели.



3800 СУМЧАТЫХ В МИНУТУ

Дормидонт сидел на ЛЭПе и сосредоточенно измерял себе температуру градусником.

– Что, болеет? – спросила Прасковья у птиц.

– Не болеет, просто нравится ему мерить температуру. Он перед этим измерял температуру инфузорий в заливе.

На фразе «инфузорий в заливе» Прасковья представила сытные консервы и облизнулась, но птицы пояснили:

– Учёным хочет стать. И неведомых зверей поименовывать!

– А почему это вы обо мне в третьем лице!? – возмутился Порфирий. – Я же здесь присутствую!

– Мы, значит, в присутственном месте, – заметила Прасковья и незаметно поправила свой новый накрахмаленный гофрированный воротник.

– Ловить тебе их придётся, – посочувствовала Парася.

Кто ж это захочет, чтобы кто ни попадая тебя вдруг брал и поименовывал, брал и поименовывал. . . и, вообще, надо бы им для начала температуру измерить. Ладно, сейчас мы вычислим, когда их задует сюда.



С какой скоростью ветер нынче? – обратилась она к Дормидонту.

– Три тыщи восемьсот пельменей в минуту!

– Чего в минуту?!

– Скорость такая.

– Это где, Дормидонт, ты такую скорость взял?!

– На фабрике работал в тревожное для страны время. На какой фабрике работал, тем время и измерял: болтами, рубероидом, в пельменях, по дневной норме. А время-то, вышло, никогда не бестревожное, – вздохнув, добавил он.

– Теряем его, теряем! Снимайте скорее его с ЛЭПа, спасать будем от хаотических последствий моральной устойчивости, пробуждать высший творческий замысел. Пельменей в минуту НЕ-БЫ-ВА-ЕТ!

(На горизонте стая пельменей развернулась на сто восемьдесят градусов и полетела на Север).

– Бережнее, нежнее! – сопротивлялся Дормидонт. – Прикрепите обратно мою многомеховую тушку, покрытую мхами и лиш. . . лишениями! Ладно, я сам сойду. Надоело мне здесь сидеть и замёрз я.

Развели камелёк. Сидят, каждый о своём вспоминает, курят фруктовый кальян, почти как индейцы трубку мира, по кругу – это тоже сближает. Занялся тут пожар от костра. Всполошились все (кроме Прасковьи: страсть к пожарчикам у Прасковьи с детства. Бывало, уйдут все, потянется она детской ручонкой к большим спичкам запретным. Дым коромыслом – бежит утица с ведром, бежит курица с ведром. Ну дальше вы знаете: санитары леса, санитары моря. . . А она улыбается, глядит своими блюдцами, как дым над землёй заходится. . . Так оно бывало, читатель. Но сейчас не об этом).

Дуют звери, дуют – а костёр только сильнее разгорается. Кто ж на огонь дует! Это мы здесь с вами образованные, газеты читаем, а зверям откуда знать в лесу?

Проходило мимо Чудо-Юдо, подуло на костёрчик – он и погас. Сидит Прасковья, рассуждает: «Вот дела, как пугает моё сознание, видать, крепкий фруктовый табак, законы физики рушатся на глазах!».

А Чудо-Юдо идёт и думает: «Вот Прасковью как пугает, не заметила меня, читала бы больше сказок, а не книг по психологии и физике. В сказках общая история и мироустройство описаны как есть, без прикрас, на то она и сказка!»

Над Землёй на Юг летели три тысячи восемьсот сумчатых голов в минуту – порыв ветра в это время года достигал пика.

ПРАСКОВЬЯ, ЧЕЛОВЕК И ОВЦА

«Каково это, быть человеком...», – подумала Прасковья, прочитав книгу про Человека-Овцу.

Овцу она знала, с Человеком-Овцой тоже было всё понятно, заморский автор хорошо описал, ясно и пронзительно. А с человеком Прасковья сталкивалась редко и не близко, и окончательно его представить не решалась.

– Вы видели человека? – поинтересовалась она у деревьев. – Может возьмём его с нами жить? А то что у нас – две совы, три бабайки, полкреветки... и всё такое мелкотравчатое, скукотаща!

– А грибы и цветочки! – возмутились птицы.

– Бледно всё, невыразительно, – возразила кошка.

«О человеке мы имеем лишь отрывочные, разрозненные сведения, – прочла она в лесном справочнике, – например, что он цивилизованный, что его зрение, в отличие от кошачьего, едва десяток цветов улавливает, а кошачий язык для него – только неосознанная вибрация из трёх букв!».

– Из трёх?! – насторожилась Прасковья.

«...с вариантами интонаций», – следовало в справочнике.

Похоже, что это дополнение мало утешило кошку. Деревья обнадежили:

– Конечно, если всё это контролировать каждый раз, и когда он подходит к холодильничку, и когда...

– Он никак не подходит холодильничку, – перебила деревья Прасковья, – коты больше подходят холодильничку: они разноцветные, тёплые, мягкие, а холодильничек белый, прохладный, твёрдый! А какой человек вообще, мы ещё не выяснили! – уверенно заявила кошка.

– Так вот, когда он подходит к холодильничку. . . – продолжали деревья.

Но возрастающее возмущение Прасковьи пересилило азарт и прервало повествование.

– Так...он, значит, человек, не видит того, что кошка видит, не слышит того, что кошка думает, а она должна ему говорить, думать и ещё ушами придерживать глаза!.. Нет, я к этому решительно не готова, – заключила Прасковья, не дослушав, и возвратилась наблюдать за нецивилизованными животными.

МИФОДИЕВНА И ТИМОФЕЕВНА

Споровили как-то Мифодиевна и Тимофеевна Иерониму коробайку с яркими нитками и карандашами. Сидит он, рассматривает на крышке изображения ракет, а на них написано: «Восход-1», «Восход-2», 3, 4, 5, 6. . . «Отечеству Космонавтов Слава». Размышляет: «Изумительный человек был этот Слава, столько ракет смастерил!» Расчувствовался так и решил Мифодиевне с Тимофеевной кран починить. А плоскогубцев-то нетути. Спрошу, думает, в соседней норе.

Под жуткий грохот кастрюль дверь норы распахнулась, а на пороге показался пожилой хорёк с опухшим взглядом в засаленных, рваных, приспущенных до колен шортах, и с истерическим криком: «я спецназ!» недружелюбно вхмурился в Иеронима, с трудом сдерживая одышку.

— Мне в обморок упасть сразу или сейчас? — поинтересовался Иероним.

— Я спецназ, итиегодвадцать! — повторил хорёк для вящей убедительности, накаляясь и краснея, но уже не так громко. По всему было видно, диалог не клеился.

— Иди ты в спецназ со своими плоскогубцами! — бросил Иероним и отправился по тропе вверх.

«Что это было, Бэрримор?», — риторически обратился он к самому себе. Проходивший мимо муравей, не поняв, что вопрос риторический, стал подробно объяснять свою версию происшедшего. А Ухватка вставила свои пять копеек о том, что это тот самый йети, снежный человек невероятных размеров, поедающий челюстями-плоскогубцами головы зверей (в лесу все образованные были, телевизор смотрели).

В это время Мифодиевна и Тимофеевна раскачивали коврик на солнечном свете.

— Заходи к нам, Иероним, чай с брусничкой пивать, на котах настоянный.

Зашёл он, глядь — плоскогубцы в углу пылятся. Тут он кран им и справил. Уж как они душевно почаёвничали! Только коты знают: они чайник насиживали. Старушки ему ещё одну коробайку спроворили. Теперь он туда легенды собирает.

СДЕЛАЙ САМ

Осенью Зюка посмотрел в своё отражение в пруду и нашёл десять отличий. Когда Зюка взялся его упрекать, отражение обиделось и исчезло. Горемычный, сел он на пенёк, подумал и заменил тапочки. Но, вернувшись и вновь не найдя отражения, принёс несколько своих фотографических изображений и стал бездушно бросать их в пруд. Всё было безрезультатно. Тогда он оделся и направился в Мех-пункт.

— Может, у меня вава? — спросил он доктора.

— Сейчас посмотрим. Скажите: «А».

— Не могу: я не люблю буквы.

— Тогда я не смогу найти ваву, — учтиво объяснил доктор.

— Мы тратим время, — меланхолично произнёс Зюка и удалился в Сады Печали.

И там Зюке показалось, он понял: на самом деле его больше всего беспокоит то, что паста не возвращается в тубик, а на Луне стали строить вигвамы, и если это всё будет продолжаться, то наступит большущая катастрофа. Такое открытие совсем не добавляло радости, однако отвлекало от вавы.

Зюка был красивый, изумрудный, меховой, в нагрудном фартуке носил три замечательных астероида, но главное — у него были светящиеся коготки. Правда, это давало повод козявкам на него охотиться. Когда Зюку впервые нашли альпинисты, они хотели поместить его в Музей Чудес, но в музее он всё ломал, и его отнесли в Парк Вопросов, но там он не любил рыб. Потом он вообще заблудился, и альпинисты про него и вовсе забыли. Звероположение требовало от Зюки определённых действий. Кутру его озарило. . .

Перед тем, как запустить со Взлётной Полосы теремок в открытый Космоквартирум, Зюка накрывал его тряпочкой, чтобы не слезили козявки, а чтобы не окружили, для надёжности рисовал со всех четырёх сторон и сверху изображение бурбуляки и говорил на рассвете три раза «хухры — мухры». Бурбуляку он никогда не боялся. А заклинания придумывал сам. Козявки всегда грызли снизу... А заклинание не прочли, так как были неграмотные и читать не умели, а только писать. И когда пробрались вовнутрь, достали теремок так, что он, отряхнувшись, улетел вместе с крышей, не успев даже попрощаться с Зюкой.

В этот же вечер козявок, как героев, Институт Путешествий поместил в Красную Книгу. Долго потом разбирались по чертежам и по следам, оставленным на полянке около места взлёта, кто теремок изобрёл на самом деле и собирался в тёмный воздух запустить. В итоге разобрались: Зюкиных мыслей дело. Пришлось, правда, и теремок разобрать после приземления.

Так Зюка понял, что дела нужно не отвлекаясь доводить до конца самому. Даже передача такая в лесу была «Сделай сам». Красную книгу, правда не успели исправить. Что ж, как известно, «эволюция даётся этапами — от простого к сложному: впереди простейшие».

ДЕВОЧКА, НЕ УМЕВШАЯ СПАТЬ

«Главное — найти в этой жизни себя», — сказала Прасковья дочке. И Кабуки начала искать.

Сначала Кабуки думала, что она кривая, так как кривая обладала полосками, длинными усами и малиновым оттенком (Кабуки сравнила её образ со своей детской фотографией). Поначалу она находила это забавным и даже в чём-то удобным. Но, обнаружив в гастрономе эпическое полотно «Кривая уходит от охотника», призадумалась: «Зачем мне охотник, если я сама могу уходить?». Потом решила, что она грибы, поскольку её имя тоже имело множественное число. Но она читала, что грибы размножаются спорами, а спорить она не любила, к тому же грибы не танцевали даже крабовяк! А после знакомства с таким эфемерным видом искусства как театр и одноимённым древним китайским театром Кабуки, к ней прокралась мысль: а может её и вовсе нет? Так жить дальше было невозможно, и она сначала безрезультатно посетила Мех-пункт, где предположили, что она баобайка, но в справочнике говорилось: «баобайки бывают в баобабах, баржах, бойлерах, босоножках, ботанике, баснях, баклажанах, батареяках, бандеролях, бору, бонгах, бусах, бочке, банках, барельефах, балете, бакенбардах, балконах, балалайках, багате». После этого ей предложили на выбор несколько закорючек, в качестве научного эксперимента.

Ясное дело, как не отправиться Кабуки после такого в центральную Библиотеку. В это время в Библиотеке имени Барона Мюнхгаузена чаёвничали ходоки. Ходоки вприкуску, библиотекарь вприглядку:



чтоб не попятили чего. Обратившись к ходокам, Кабуки сформулировала задачу предельно ясно и лаконично, по-спартански:

– КТО Я?

Завидев необычную внешность Кабуки, ходоки единодушно воскликнули:

– Да это же Заморская Улюлюм!

– Заморская так заморская, – рассудила Кабуки, – ходокам виднее, они ходют, далеко зайти могут. По крайней мере, звучит величественно-обнадеживающе и загадочно, не то что «кадкомыгтия побрякушечная» или «громкобрых завывательный» (эти виды она недавно рассматривала на ботанической таблице Эдварда Лира в Мех-пункте).

По пути в Театр Иллюзий Кабуки повстречалась девочка, не умеющая спать.

– Кошенька, кошница, присыпи меня, – взмолилась девочка.

От этих мягких, ласковых, неожиданных имён Кабуки томно сузила глаза, округлив их до яркой точки, от чего глаза девочки подёрнулись дымкой, она стала медленно оседать в высокую траву и через мгновение погрузилась в безмятежный сон, о чём свидетельствовала блуждающая по её лицу блаженная улыбка.

Так Кабуки встретила с первым своим отражением.

КОТОФЕЯ

Когда Кабуки исполнилось восемь звёзд, она начала сама ходить к Водокачке. Другие не ходили: боялись Котофея. По легенде, она похищала младенцев, делала их невидимыми и уносила за ферму, в Область Тайн, в сплошную, так сказать, неизвестность.

Геолог Куропяткин, сошедший с паровоза на станции Весёлое в свободном зипуне и капюшоне, что, мерцающая влажным предвечерним воздухом, создавали эффект чародейский и загадочный, застал Кабуки, играющую под ракиновым кустом в глубокой задумчивости.

– О, кошечка мёрзнет и голодает, – подумал Куропяткин, стремительно подхватив Кабуки уверенной сильной рукой геолога и мигом затолкнув за пазуху так, что она и моргнуть не успела.

Оказавшись в тугом, неопознанном зипуне, Кабуки зажмурилась и затынула такое протяжное, душе-раздирающее «Ми», что если бы животные не знали, с кем они живут, приняли бы этот голосок за пожарную сирену. Встревоженная флора и фауна, запеленговав знак опасности, повинувшись неведомому инстинкту, гурьбой ринулась на помощь. Увидев катящую с холма тучу невменяемых зверей, геолог, повинувшись инстинкту самосохранения, с криком «сдрёна копоть!» высыпал Кабуки из зипуна на траву и бросился наутёк. Когда Кабуки открыла ресницы, каракатица, склонившись над ней прошептала:

– Тебя похитило стра-а-ашное существо Котофея! – и, выдержав внушительную паузу, добавила:

– Но её изгнали навсегда!

Правда, из-за этого неопишемого происшествия была нарушена всяческая связь и инопланетяне отложили контакт с Землёй до лучших времён. Может, оно и к лучшему, а то опять украли бы Кабуки.

А кого же ещё тут брать! Она упитанная, качественная.

НЕ В КОНЯ КОРМ

Вот что, дорогой читатель, проснувшись обнаружил Никифор на поляне, едва продрал глаза, когда потянулся к нагрудному амулету:

– Надо же, существо с круглым профилем ест целлофанчик и не давится... Не в коня корм!

– Ясное дело, не в коня, в кога корм! – гордо откликнулась Прасковья, оглаживая кружева на юбке, – дочка-то моя.

На этих словах существо, вовсе не похожее на кога, гипнотизируя Никифора далеко посаженными, выпуклыми, как батискафчики, глазами, невинно потянулось к Никифоровой шее и начало вдумчиво грызть воротник его замечательной рубахи в цветочек.

– Тпруть, неведомая сила, поедающая неорганические вещества и элементы! – отпрянул Никифор.

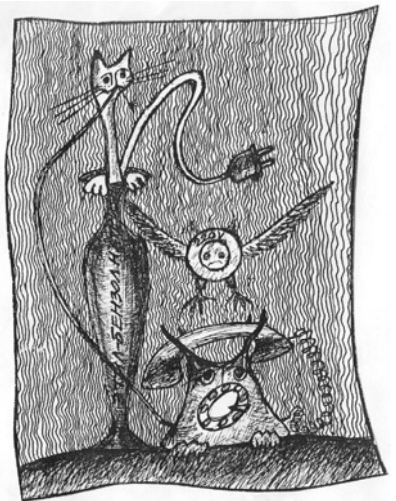
– Ну да, не хватало ещё, чтобы она органические есть начала... Хотя, молодой растущий организм...

– А-а-а!!! Так оно же начнёт быстро расти и нас всех сожрёт!

– Я бы попросила, я попрошу! – откашлявшись, категоричным тоном пробасила кошка. ОНА, Кабуки!

– Понятно, как яхту назвали, так она и поплывёт, – не унимался Никифор, третируя Прасковью: говоря с ней в третьем лице от третьего лица.

– Почтенный чтец почтил почтенную чтницу почтением! Протокол про протокол протоколом запро-токолирован! – бормотала тем временем, Кабуки в стороне. – Полпуховика и полпуховика – целый пуховик и полполувыхуховик. Спросили у Лили, лили ли лилипуты воду? Забыл Панкрат Кондратов на тракте трактор, а Панкрату без домкрата не поднять на тракте трактор. Разнервничавшегося конституционалиста Константина нашли акклиматизировавшимся в Константинополе.



– Грамотная больно, нелегко ей придётся, – вздохнул Никифор.
 – Ей не больно, когда она грамотная, – пояснила Прасковья. – Я её веником пыталась наказывать – даже не пугается. Ей всё по барабану. А веник они с сестрой съели.
 – У неё что, ещё и сестра есть? – насторожился собеседник. – Не понимаю, Парася, неужели есть в этом лесу ещё хоть одно существо более безбашенное и безнаказанное, чем ты? Кто отец ребёнка?
 – Ещё чего! Стану я тут вам расшифровывать коды!
 – Ты чего меня, Прасковья, всё время пугаешь? И это по-твоему, литература!? Это литература, по-твоему!?

Друзья шли, весело толкаясь и задираясь по направлению к горизонту, где кончался край земли, и начиналось Великое Неведомое.

ИЕРОНИМ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Говорят, когда прогресс сделал недоступными розетки для большинства детей – пострадали самые одарённые. . .

Те, кто знал об электричестве только посредством розетки, были не готовы к восприятию его чистого потока. Электричество, которое было всегда готово к восприятию тех, кто знал, оказалось не готово к эксперименту одарённого Иеронима, закрывшего закон переменного тока в розетке путём удаления розетки.

Иероним же, который не был готов к Прасковье, пригласил её в гости засвидетельствовать эксперимент.

Прасковья, которая была всегда готова, но не ко всему, ответила, что придёт в гости как-нибудь потом.

НЕ КОМПЛЕКТ

Кабуки с детства общалась с помощью нотного знака «Ми». В зависимости от интонации менялся смысл сказанного. Однажды Иероним застал Кабуки за протяжным «ми», что однозначно означало «Где мама?!».

– Она скоро тебе мышку принесёт, – увещавал Иероним, довольный веским аргументом.

Но второе восклицательное «ми», продолжающее висеть в воздухе, категорически означало: НЕ КОМПЛЕКТ!!!

Учитывая, что растерянность с ним происходила редко, и, не найдя, что противопоставить этому «ми», он автоматически принялся выкручивать лампочку из плафона на кухне.

– Нас не проведёшь! Это попугая можно накрыть тряпицей, и он поверит, что на Земле ночь! Если я не вижу комнату, это ещё не значит, что мамка там есть!

Поражённый свидетельством первой осознанной речи, Иероним тихо стал вкручивать лампочку назад, не отрывая глаз от кабукиных зрачков. Но лампочка назад не вкручивалась – только вперёд. Смекнув, он тут же зафиксировал это явление. Так в его мозгу сложилась целая теория «сопромата»: сопротивления материала, что соответствовало общему настроению в комнате. . .

Прасковья же, вернувшись, застала такую картину: Сумчатый на табурете в позе статуи Свободы (только вместо факела лампочка), со взглядом, обращённым вовнутрь, внизу Кабуки с подрагивающим от возмущения хвостом и усами, и с тревожно поблёскивающими глазочками навывкате.

Придав ушам заинтересованное положение и деловито отряхивая снег с лап и усов, Прасковья с порога взглядела в люстру со вцепившимся в неё Иеронимом. И тут, как вулкан посреди клумбы, тишину прорвало торжествующее «МИ» Кабуки.

– Ну, что ты, Буся, я ведь только обошла окрестности дома, да и задержалась-то на Млечный Путь поглядеть. А ты, Буковка, пока я ходила, подросла уже, надо бы тебе и другие миры показать!

ЛУНИАНСКАЯ ПЛЯСОВАЯ

Кабуки в лесу не могли ни с чем сравнить. Это вызывало замешательство в лесном комитете.

– Не учтут, охотиться на тебя будут, – уговаривал суслик, перелистывая Книгу учёта.

Это пояснение мало впечатлило Кабуки, но она не ушла, поскольку сама тут охотилась и ждала, пока собрание рассосётся от норы, где залегла её добыча.

Уже начало темнеть. Выкатила язык Луна.

От холода, обратив растопыренные подушечки верхних лап к Луне и придав хвосту строго перпендикулярное положение, Кабуки, начала припрыгивать поочерёдно то на левой, то на правой задней лапе, размеренно при этом раскачиваясь для согрева. Даже почувствовав на себе недоумённые взгляды множества пар глаз, она не стала останавливаться. И тогда в толпе раздался чей-то тоненький, неуверенный голосок:

– Да это же наша, родная, народная, Лунианская Плясовая!

Таким образом, вырвав из цепких недр забвения древний (вполне возможно, один из первых) танец, слава Кабуки теперь вполне могла посоперничать с известностью Покахонтас и Мулан, да и внешность тоже.



Так и записали её вид в справочник: Лунианская Плясовая. И разошлись наконец, оставив Кабуки наедине с охотой и той круглой, дрыгающейся тушкой в норе.

Ни в сказке сказать — ни волку показать...

КАК БУСЯ ЗИМУ СЪЕЛА

Дормидонт приносил книги, а Парася их ела и пересказывала. Он и сам любил читать, но кошка так необычно и выразительно описывала всё, что он не мог удержаться, и снова отдавал ей книги, а потом надевал ватник и внимательно слушал.

В один из таких моментов песцы стали Бусю из дупла вынимать, летать учить. Буся из дупла не вынималась, выпадала. О том, что кошки не летают, песцы не знали, а Буся тем более. В замечательных русских сказках под редакцией Афанасьева об этом сказано не было. Поэтому Буся страшно огорчилась и пошла, куда глаза глядят. А глаза Бусины... ох, если б знать, куда они глядят, её бы сразу нашли...

Семь дней всем лесом искали Дормидонта, отправившегося на поиски Буси. Намочили дожди голову, и склеили ветра и снега шерсть его так, что одни глаза остались видны. Идёт он в сторону Таверны, позеленевший от голода, глаза выразительно выделяются; мешок растрепавшийся за собой волочит с верёвкой.

— Змея! — запаниковала ряба и стала прятать детей, а когда он приблизился к Водокачке, тут же грохнулась в обморок. Пришлось волкам, как самым быстроходным, в мех-пункт бежать, а крокодилчикам рябу зелёной мазать. Изнеможённый Дормидонт, от роду не видевший змей, но читавший, что они зелёные, при виде помазанной рябы на фоне контрастного белого снега от неожиданности и истощения сам грохнулся в обморок. Опять волкам в мех-пункт бежать. Сказали волки: «Позорняк для стаи в мех-пункт каждые пять минут бегать. Щас покусает всех и сами за зелёной пойдёте». А один малюсенький волчок строго добавил: «А зачем мы почту строили в натуре» (натура на человеческом языке означало «природа»). На всякий случай все разбежались по домам.

Через неделю, как снег сошёл, Бусю нашли, довольную, румяную, поправившуюся. Она в лисьей норе отсиживалась. Тут и солнышко как раз поднялось. Вылезли лесные жители наружу греться.

— Глядите! Это Кабуки зиму съела! — ликовали все, а кто-то тоненьким голоском восхищённо добавил:

— И не простудилась!

И стали её уважать и называть по-индейски: Дочь Весны (с чем Прасковья категорически не соглашалась, напоминая, что дочь ейная). Но мех-то у Буси пёстрый, как Май, а характер непредсказуемый, как весенняя погода!

В лесу с тех пор вторую библиотеку открыли. Большим успехом первое время пользовалась энциклопедия по Зоологии. Иллюстрированная, разумеется...

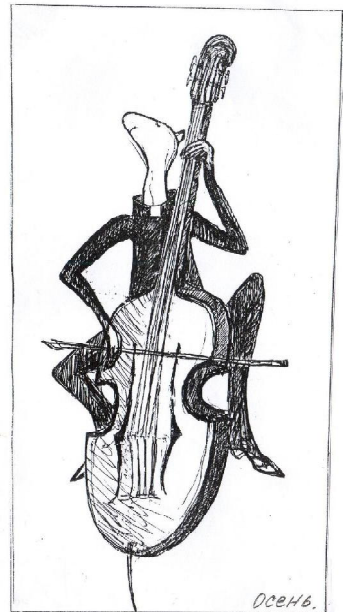
О ТОМ, КАК СОВЫ УЛЬЯНА ПУЛЬХЕРЬЕВНА И СУСПЕНЗИЯ МЁДВЕДЬЕВНА ИСПЫТАЛИ ОСТРОЕ ДРАМАТИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Если в субботу сесть на предутренний автобус, существует большая вероятность того, что он под завязку будет набит бобрами, которые выдают себя за древоотщев, чтобы попасть на съезд древоотщев.

Съезды древоотщев отличались отменным фуршетом.

Так случилось и в тот злополучный день, когда совы Ульяна Пульхерьевна и Суспензия Мёдведьевна прочли на лобовом стекле маршрутного средства «Правила дорожного движения»: «Транспортное средство, не являющееся двумя частями одной кукушки, не являющееся в воображении, в видении, во сне, массой не более, чем может выдержать терпение и внутренними габаритными огоньками, не является пятиугольником, перекрёстком, плав-средством, копилкой, биноклем, в установленных не установленных местах». Упустим, что никто их в автобус садиться не заставлял, а также не напомним, что крыша автобуса — пространство для одного, максимум двух существ...

Когда Кабуки, благополучно избежав прошгамповки билетов крокодилами, скромно устроилась на крыше автобуса и принялась любоваться и молча обмениваться с самой собой впечатлениями, бобры (все сто девяносто восемь туш) сплошным, nepocтижимым и навязчивым фактом стали перемещаться на крышу и шумно размещаться у неё на плечах и ушах, и упрекать кошку, что бобрам и их детям, и родителям их родителей может внезапно стать плохо от того, что коты так нагло молчат и от того, что они с таким удовольствием курят трубку. Кабуки заметила, что несмотря на то, что бобры шумят, толкаются, пользуются резким одеколоном, нарушают личную территорию радиусом в полметра, занимаются не своим делом, абсолютно не развиваются и пытаются мешать существам с противоположными задачами и состоянием души, и ещё бессмысленно упрекают, коты всё равно не



запрещают им размножаться и не желают их смерти, а пока только предпочитают, чтобы им не навязывали бобровье общество. Тогда бобры стали визгливо обзывать Кабуки некрасивыми словами и упрекать в том, что она не испытывает чувства вины, бобры обиделись, что не смогут из-за Кабуки запомнить свою прогулку. Кабуки ответила, чтоб бобры ни в чём себе не отказывали. Но события набирали обороты: когда по радио сообщили, что на Альдебаране бобёр обслонявился, автобусные бобры возмутились и безотлагательно написали жалобное заявление на водителя автобуса и экскурсовода, везущих Кабуки. И на прощанье замахнулись на Кабуки тяжёлым и бессмысленным предметом — головой (не зная, как её использовать по назначению: до этого они в свою голову только ели). Кабуки гибко увернулась. А вот заявление на других зверей ей не понравилось и вдохновило на большее: отметелила она бобров и интеллект, и хвостом. Ума бобрам это, конечно, не прибавило, зато повысило их осторожность в дальнейшем общении.

А Кабуки дало ощутить реализованность, ведь, как известно, невысказанные искренние проявления часто разлагают душу.

Совы Ульяна Пульхерьевна и Суспензия Мёдведьевна от всего этого испытали острое драматическое напряжение. Об остром драматическом напряжении сов тут же спел Хор Овощей, который ехал в багажном отсеке. А что произошло на самом деле, так начальник транспортного отдела и не узнал, как и никто, кроме нескольких доверенных животных. Водитель Кабуки не расспрашивал. А у овощей же избирательно-продуктовая память — на то они и овощи!

СКАЗКА О ДОБРЕ И ЗЛЕ

Давно это было. В Бумазейные времена, ещё при царе Бумазее. Все хорошие были.

В живых летописях упоминалось о «бродячих деревьях желаний»; о том, что самые образованные жители разговаривали друг с другом через растения, а чтобы не писать букву «зэ», писали «з», и чтоб не писать «б», разворачивали «9» в обратную сторону, а если в стене обнаруживали дырку, то приделывали к ней новую стену.

Многое тогда выходило за рамки. Особенно картины. Например, картина о том, как семеро козлят и трое поросят бьют одного волка, или о том, как чудовища дразнят Красавицу, или, например, о том, как кузнец Мутрофан отдавал каждый год себя в жертву Дракону, чтобы вызвать погоду, а Дракон его не брал (не голодный был). Не знал Мутрофан, что явления природы никак не связаны с его импровизациями.

Такие истории украшали дворец царя Бумазея, который окончательно и бесповоротно принял решение выдать единственную свою дочь замуж. Ясное дело, в такой обстановке невозможно было не то что работать — мыслить.

Разбив в сердцах для острастки очередную вазу династии Минь вдребезги, царь снова испросил дочь:

— Пойдёшь замуж за принца заморского?

— Без котятки не пойду! И всё тут.

В ответ из окна вылетела ваза династии Цинь.

Что поделает, дочь любимая. «Придётся котятку добывать», — решил государь.

В то время модно было в походы рядиться. Правда, из них мало кто возвращался, в лучшем случае — к старости, поскольку перемещались исключительно на домашнем и диком скоте (перемещение силой мысли было утрачено ещё с исчезновением Атлантиды и Гипербореи). Потому созвал Бумазей героев и стал спрашивать каждого:

— Добрый Рыцарь, привезёшь дочке зверя котятку? И подумал вдруг: «В Египте — поди, золота-серебра немеряно, кроме котят». — Возьмите-ка заодно с котяткой сокровища пирамид и золота-серебра! Будет добра в государстве побольше. В награду под венец пойдёте с принцессой.

Конечно же, каждый согласился — ведь все хорошие были. А принцесса красивая. Так целым войском подались в Египет юноши, Пирамидову Страну, где, согласно книгам, были Храм и Царство Котяткино.

Но встретился рыцарям на той земле великий и ужасный Драконий.

— Отдавай-ка, Дракон, золото-серебро нам подобра-поздорову, — объявили рыцари бескомпромиссно.

— С чего это? — удивлённо вскинул бровь обитатель холмов.

— Иначе драться придётся. Во имя Прекрасной Дамы, перед тем, как добудем Волшебное Животное — Котятку, разумеется.

— Ну, насчёт драки у вас вариант один: будете драться между собой у меня в желудке. А Котятку я вам и задаром отдам. Взял я себе для забавы парочку, служить-помогать мне. Слетаешь, бывало за гору, добычу принесёшь — а оне тут как тут, отнимут-украдут. Глядь — уже их и больше стало вдвое. Поедают всё, не успеешь когти почистить, и размножаются. Опять охотиться надо. Вот и думаешь, кто у кого на посылах? Приходится на полставки сторожем устраиваться, золото-серебро сторожить, а тут вы ещё заявились, наглецы заморские. Так что давайте, берите Котятку столько килограмм, сколько унести сможете, зверь пушной, качественный, зубастый, хвостастый. Вот, Грифону подарил, не жалуется, но давно не заходит почему-то... Рассудите и трезво содрогнитесь: порешу всех одним взмахом хвоста сразу, чтоб не мучались в долгом, неравном, понимаете ли, бою. А так — по-мирному разойдёмся.

Не послушали самоуверенные юноши Дракона, хамить начали, серпами да молотами махать. Домахались до того, что зажарил их Дракон своим огнедышащим пламенем, невоспитанных.



А царь прознал об этом и думает: «Хорошо это, намного меньше людей в государстве стало, а то с перенаселением постоянно справляться надобно. Вот теперь и войну можно не затевать, дешевле и мирней для государства – само собой всё решилось. Да и принцессу по-настоящему никто из них не любил». А котяти сами вскорости пришли – у них на той земле еда кончилась.

Так силой *добро*го намерения царя и демографический вопрос решился, и хамства в государстве поубавилось, и замуж по расчёту никому выходить не надо.

Так добро трижды победило добро, как и положено в сказке.

АНДРЕЙ КОРОВИН

«ПОДОБНО МОРСКОЙ ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДЕ...»

ВЕСЕННИЙ КРЫМ: СВИНГ

Весенний Крым. И каждый день – в цвету.
И у весны расцвёл язык во рту.
И Божья влага в небесах пролита.
Ко мне приходит сон, и в нём – они:
Бессонные бенгальские огни –
Судея, Феодосия, Джалита.

Владычица морская – говори.
Пусть в небесах свингуют тропари
На день седьмой и на двенадцатый.
Пусть любит нас Господь в своём Крыму,
И я у смерти времени займу,
И мы проснёмся – вместе, как когда-то.

СВОБОДА: РАСКРЫТАЯ КНИГА

как окурок бросается в ноги моей электричке
так ты падаешь в Чёрное море где люди как спички
кто потонет а кто доплывёт до турецкого ига
и наступит свобода точнее раскрытая книга

не балуй соглядатай с тобой мы ещё не потели
ты то райская птичка то полая женщина в теле
по казачьей привычке писать то султану то Богу
мы любую войну начинаем себе эпилогом

а потом наступает на пятки ослепшее время
и мы всё понимаем что были не с теми не с теми
с кем дано нам идти с кем положено нам не прощаться
с кем любая секунда была обналиченным счастьем

МАТРОСЫ: В НЕБЕСАХ

твои золотые матросы
живут в небесах корабля
и тянут канаты и тросы
чтоб вечно крутилась земля

у них – виноградные губы
и штормом исполненный взгляд
и в солнце отлитые трубы
они беспокойно трубят

и радостный северный ветер
колотится в их паруса
и самые кроткие дети
без страха глядят в небеса



МОРЕ: ЛИМОННЫМИ ДОЛЬКАМИ

нарежьте мне море лимонными дольками
без чаек отчаянья
море — и только!
чтоб был ободок от восхода по краю
и быстрый дельфин как посланник из рая

и я под язык положу эту дольку
чтоб выжить зимою полынной и горькой
чтоб плавать зимою как рыба в воде
подобно морской путеводной звезде

ПЕСНИ РЫБ

Ты знаешь, а рыбы умеют петь
На утреннем сквозняке.
Рыбачья лодка бросает сеть
И слушает вдалеке.

А из глубин, поднимаясь вверх,
Песня растёт-растёт.
Даже летучий красавец стерх
Свой замедляет лёт.

Рыбы поют удивлённей всех,
Ибо всю жизнь молчат.
В выдохе этом — и боль, и смех.
Рыбы почти кричат.

Крепче за лодку держись, дружок!
Слушай, запоминай:
Сеть переполнена. Ключ. Замок.
Так попадают в рай.

ВРЕМЯ: АННЫ

Время твоё настало, Анна моей души.
Сброшено покрывало. Беспрецедентна жизнь.
Выправлено пространство. Цепи расплетены.
И населяют Царство наши с тобою сны.

Ты стоишь на пороге, Анна моих ночей,
В смутной ещё тревоге: кто я? точнее — чей?
Но задавать вопросы нынче — не наш черёд.
Мы с тобой — альбатросы. И корабль плывёт.

Не прерывай движенья, Анна моей любви!
Мы с тобой — отраженья. Бог наши души свил.
Мы теперь не узнаем — можно ль по одному?
Мы в небесах летаем, радуя глаз Ему.

ЮЖНОЕ НЕБО: ПАРИТЬ

Южное небо светится как вода.
Будто бы там, на дне, стоят города.
Ты и родился, чтобы мечтать о нём —
Небе парящем, где мы теперь живём.

Южное небо вплавлено в океан
Нашего сердца, стонущего от ран
Встреч и разлук, смс-ок, звонков, ночей,
Жарко горевших за нашу любовь свечей.



Южное небо плавится как стекло.
 Видишь, навстречу поезду потекло
 То ли оно, то ли дождь, то ли что из глаз...
 Поезд уносит в южное небо нас.

НАД КИЕВОМ: НА МОНМАРТРЕ ЛУНЫ

... а над Киевом бродит медведица
 с конопатым ребёнком своим
 да гуляет в ногах гололедица
 словно девочка, пьяная в дым

полетим переулками сонными
 где никто нас с тобой не найдёт
 в этом мире живут лишь влюблённые
 да качающий их небосвод

дай мне руку! ...скользит отражение
 наших душ на монмартре луны
 и в небесное это движение
 мы с тобою погружены

ФАЛЬШИВАЯ ВОДА

записано что ты сказала да
 а время – лишь фальшивая вода
 в степи между Сивашем и Джанкоем
 джинн выбил пробочку да тронулся умом
 жизнь стоит вымысла да замысел не в том
 и тень Вертинского витает над прибором

скажи шампанского откликнется шолом
 и то забудется что ты считала сном
 и то забудется что буква прописная
 а вот поди ж ты – моря чайкоряд
 и корабли под парусом чудят
 и море спит
 да разве против сна я

КАРАИМСКОЕ КЛАДБИЩЕ

плотный зелёный свет
 стоит над караимским кладбищем на Мангуте
 кроны деревьев создают подобие крыши
 и кажется что ты находишься
 внутри огромного склепа
 с мёртвыми людьми
 и живыми растениями
 земля под ногами
 почему-то устремляется вверх
 и маленькие саркофажки караимов
 как жуки карабкаются по склону
 каждый из них испещрён надписями
 на неведомом языке

что они хотели сказать друг другу
 покойники неизвестной расы
 зачем спрятались в землю
 почему надели панцири саркофагов
 кто хранит их покой
 в этом зелёном лесу
 где даже тишина



кажется ступённой и вязкой
почему они выбрали
этот мутно-зелёный аквариум безвременья
а не улетели куда-нибудь
на планету Ка-Пекс
или откуда они пришли
вечные странники
строившие пещерные города
прятавшиеся от людей
под крымскими небесами

а может все эти саркофажики
здесь только для вида
может это то самое место
откуда они возвращаются к своим

даже озеро у подножия этого кладбища
тоже зелёное
говорят на дне его затонувший храм
а может быть город
а может летучий корабль
а может озеро лишь прикрывает
огромную лабораторию
в которой они собирают
сведения о земле

у меня нет пока никаких доказательств
но что-то здесь не так
чувствую я
что-то не так

РОЖДЕСТВО В ТОПЛОВСКОМ МОНАСТЫРЕ

Наташе Мирошниченко и Серёже Ковалю

в январских небесах
святой Екатерины
зелёная звезда
качается в груди
и снег вокруг горит
и светит свет старинный
в рождественских яслях
маячит впереди

мы маленькие мы
осколки синей глины
мьчашие во сне
бредущие во тьму
нам время пятки жжёт
нам ветер дует в спину
нам хлещет в лица дождь
и радостно ему

не надо лишних слов
над этою купелью
умыться и уснуть
и видеть как во сне
из каждого куста
горящего капелью
зелёная звезда
рождается во мне



СТАРАЯ ЯЩЕРИЦА НА ПОВОДКЕ

эта старая ящерица на поводке
гуляющая вдоль берега моря
задумчивая как моё безумие
её зонтик утыкан булавками с именами
бывших любовников и любовниц
чтобы не потерять связь с прошлым
такая странная штука – память
ничего-то она не помнит
пустота пожирает прошедшее
и подбирается к настоящему

эта старая ящерица на поводке
улыбается своим мыслям
морскому бризу
весёлому солнцу
как давно она была молода
как давно это было
мужчины женщины и любовь
казалось что жизнь – это карнавал
на котором ты бесконечно меняешь
маски партнёров роли
пускаешься в новые и новые приключения
и вот – этот берег моря
где нет никого кроме
карнавал жизни окончен
мужчин разобрали в отцы и мужа
женщин – в матери-жёны
любовь прошла
осталась лишь родинка на верхней губе
да забытая кем-то на пляже книга

эта старая ящерица на поводке
доживает своё прошлое
её одинокая фигурка
вызывает у меня приступ нежности
вот так по берегу моря
все мы уходим
Господь дёргает за поводок
и забирает нас к себе
в небо

ЛЕВ БОЛДОВ

ОТЧАЛИВАЙ

Я мотаюсь по родине, словно заправский цыган.
Нынче Крым, завтра Питер, а после – Рязань или Тула.
А в столице всё тот же разбойный, хмельной балаган,
Тот же мусорный ветер и окон чернеющих дула!

Но полуночный Киев зажжёт караваны огней,
Но январская Ялта укроет панاماми пиний –
И желание жить пробирает до самых ступней,
И желание славы свой хвост распускает павлиний!

Как телок беспризорный ласкаясь к чужим матерям,
По просторам отчизны как шарик воздушный порхая,
Что ищу так упрямо, как будто себя потерял –
За полжизни отсюда, в кварталах сгоревшего рая?!

И чужие проспекты меня провожают любя.
И чужие вокзалы встречают улыбкой радушной. . .
А вернусь – и в московском трамвае увижу себя –
На коленях у папы. И лопнет мой шарик воздушный.

МАНДЕЛЬШТАМУ

Осыпается в небыль осипшая осень.
Оседает туман на заброшенный сад.
Шепчет ветер седой еле слышное «Осип»,
И стихи, как созревшие гроздья, висят.

Осип, Осип. . . Осин позолота поблёлка.
Ось земная впивается в грудь всё острее.
И тяжёлые осы всё бьются о стёкла,
И тяжёлые волны встают у дверей.

Только в окнах – Венеция или Воронеж,
Адриатика или Колымская мгла –
Где шаг влево, шаг вправо – и камнем утонешь
В этой бездне, что столькоких уже погребла!

Где ж птенец твой, Господь, перепугавший время?
Где он спит, опоённый летейской водой?
Где твой певчий, тобой поцелованный в темя?
И проколотый насмерть кремлёвской звездой?!

Где он бродит, в каких эмпиреях витает –
Звёздный мальчик с тюремным тавром на груди?
Тает памяти воск, старый сад облетает,
Бессловесную жалобу тянут дожди.



И не вырваться в неба щемящую просинь!
И деревья нагие стоят, как конвой.
И бормочет Господь еле слышное «Осип»,
Шелестя, как страницами, ржавой листвой.

*Вы служите — мы вас подождём...
Из песни*

Вы торгуйте — домами и ладаном,
Героином, Голгофским крестом.
И не будет на вас ни бен Ладена,
Ни Марата, ни Будды с Христом!

Вы торгуйте — Парижем и Ниццею,
Пеплом Рима, камнями Москвы.
И не будет на вас Солженицына.
Даже Савонаролы, увы!

Вы весь мир переделайте заново,
Распродайте в охотном ряду!
Пусть на вас не найдётся Ульянова,
Пусть гореть ему трижды в аду!

Звоном лир, прометеевой печению,
Золотым умывайтесь дождём!..
Мы — уходим. Бояться вам нечего.
Вы торгуйте — мы вас подождём.

Пусть в груди безжизненно и пусто,
Пусть не видно света впереди —
В церковь Иоанна Златоуста
Улочкой извилистой приди.

Здесь вдали от торжища и гвалта,
Пива, чебуреков, шашлыков
Медленно плывут над старой Ялтой
Белые баркасы облаков.

А в проулках юркают мальчишки,
Солнце отливает янтарём
И толпятся белые домишки,
Словно паства перед алтарём.

И глядишь, хандре бросая вызов, —
Пленник благодарный этих мест —
Как над частоколом кипарисов
Золочённый вспыхивает крест.

Не ищи ни избранных, ни званых
Там, где свечки теплится слеза,
Там, где из окладов деревянных
Смотрят Богоматери глаза.

Где сжимая боль твою до хруста,
На безвестный укрепляя бой,
Церковь Иоанна Златоуста
Вновь тебя возносит над собой!



И на воздух выйдя, окрылённый,
В будто бы преображённый свет,
Вдруг замрёшь пред будущей Мадонной –
Девочкой четырнадцати лет.

Когда весна втирает нам очки,
Когда зимы мертвеет изваянье,
Проталины чернеют, как зрачки
Изломанных моделей Модильяни.

Худые плечи, угловатый стан,
Рот полудетский, тронутый помадой...
Но шалый гений, хмурый и помятый,
Уже бредёт за нею по пятам.

Он прядь откинет властной пятернёй
И свежий холст натянет на подрамник.
И ты на миг застынешь, как подранок,
Перед его божественной мазнёй.

Весна такие всколыхнёт пласты,
Покажет чудеса такой дрессуры,
Что, как школяр влюблённый, будешь ты
Ловить её небрежные посулы.

И пропадать в дыму её таверн...
А снег, уже наскучивший, как насморк,
Сорвётся с крыши, чтоб разбиться насмерть
С отчаянностью Жанны Эбютерн.

ЦЕЗАРЬ – КЛЕОПАТРЕ

Я стою столько, сколько стою
В твоих глазах, моя царица.
Хоть с этой истиной простою
Непросто было мне смириться.

А остальное всё пустое –
Победы, трон, увеселенья –
Когда в глазах твоих густое
Вино любви и вожделенья!

В раскосых, чёрных, будто угли,
Где нынче лишь – насмешки жало.
И уж неважно, врач ли, друг ли
Направит лезвие кинжала.

И жизнь в глазах твоих потонет,
Роями мифов обрастая.
А там уже грядёт Антоний
И прочих обречённых стая...

Но в час, когда мой бедный призрак
Уже отправится к пенатам,
Когда триумфа верный признак
Позорным обернётся матом

И в чёрном дыме растворится
Всё то, что громоздилось наспех,
Тогда любовь моя, царица,
Тебя ужалит, точно аспид!



Генеральская внучка, француженка,
Недотрога, чужая печаль –
Как ты, девочка, жизнью застужена,
Что оттаять не в силах, а жаль!

И чего разглядел ты в ней, спросите,
И какая влюбила шиза
В эти волосы с пепельной проседью
И в русалочки эти глаза?

Будет знать, что уже не сломается,
Что любой перехватит удар.
Будет пить, материться и маяться
На участке размером в гектар!

Ну а ты, мутной славой овеванный, –
Краснобай, сочинитель, алкаш –
Что ты дашь ей, такой вот уверенной
И такой разуверенной дашь?

Над Апрелевкой зной нескончаемый.
Электрички грохочут вблизи.
Сам не справился – сам и отчаливай,
По кривой свою боль вывози!

А она постоит у околицы
Своего родового гнезда –
Боязливо-смиренна, как школьница,
Как грандесса надменно горда.

Дай же Бог ей всего, что захочется –
Рим, Египет, Эдем и Содом –
Чтоб хоть чем-то согреть одиночество,
Что горит антарктическим льдом!

*Я увидел во сне можжевельовый куст...
Н. Заболоцкий*

Я увидел во сне Петропавловский шпиль
И балтийского рейда предугранный штить,
И невзятый Зимнего гордый фасад,
И пронизанный солнцем Михайловский сад,
И могучие торсы ростральных колонн,
И напичканный сплетнями светский салон,
И строки гениальной небрежный полёт,
И мятежную гвардию, вмёрзшую в лёд,
И на вздыбленном, неустрашимом коне
Усмиряющий воды шедевр Фальконе!..
И такой ностальгией аукнулся вдруг
Этот сон: – Возвратите меня в Петербург!

И надменный лакей мне промолвит в ответ:
– Полно, барин! Такого названия нет.
И добавит, скосив подозрительно глаз:
– Пропускать, извиняюсь, не велено вас!

И обступит меня петроградская тьма.
Как не велено – вы походили с ума!
Он же мой – я отравлен им с первого дня –
Этот город, кормивший с ладони меня!



Где я горькую пил и бумагу марал,
Где в блокадную зиму мой дед умирал,
Где балтийское небо кромсала гроза,
Где на летние ночи, расширив глаза,
Мои тёзки глядят у чугунных оград!..
Я прошу, возвратите меня в Ленинград!

И убитый комбриг мне промолвит в ответ:
– Ты забылся. Такого названия нет.
Так он скажет, окурок втоптав сапогом.
И добавит чуть слышно:
– Свободен. Кругом!

И вскричу как Фома я: – Не верю! Не ве...
Я же помню дворцов отраженья в Неве!
Я же помню: в семнадцатом – это меня
По Кронштадту вела на расстрел матросня!
Я же помню, как он отпевал меня вслух,
Я же помню, как я в нём от голода пух,
Как несли репродукторы чёрную весть!..
Он же был, этот город! Он будет. Он есть!

И качнётся Исакия гулкая высь:
– Ты добился. Иди. Но назад не просись.
Не пеняй на сиротскую долю потом.
Этот город – мираж, наважденье, фантом.
Кто погал, как пескарник, в его невода –
Причастился небес и погиб навсегда!

И шагну я, набрав, словно воздуха в грудь,
Самых ранящих строк, – в этот гибельный путь!
И с моста разведённого в чёрный пролёт
Рухнет сердце, уйдя как торпеда под лёд!
И поднимут меня, как подранка, с колен
Шостаковича звуки средь воя сирен!
И в кровавый рассвет уходящий без слов,
Мне с Лебяжьей канавки махнёт Гумилёв.
И, как пьяный, я буду бродить до утра
По брусчатке, что помнит ботфорты Петра!

Я, оглохший от визга московских колёс,
Я вернулся в мой город, знакомый до слёз!
Чтоб скользить по каналам его мостовых,
Удивляясь тому, что остался в живых!
Чтоб в горячую лаву спекались слова,
Чтобы к горлу, как ком, подступала Нева.
Чтоб шальные друзья и лихая родня,
С ног сбиваясь, напрасно искали меня.
Чтоб угрюмый ключарь им промолвил в ответ:
– Спать идите! Его в этом городе нет.

СЕРГЕЙ ШЕЛКОВЫЙ

ПО ЛИЛИЕНТАЛЮ

На небо, солнышко! На облако, жучок,
кровинка-бусина, скорлупка из хитина!
Туда, где звонок летний цокот-каблучок
и где малиновки поют в кустах малины.
На небо, дитяtko! Там и отец, и сын,
седые оба, не удержат слёз при встрече.
Там синь-вино повинных глаз и соль седин —
два цвета времени предельно краткой речи.

Коровка Божья! Краем рая молоко
струится в русле берегов кисельно-щедрых.
И клевер тамoшний белеет высоко
над здешней глиною на двух квадратных метрах...
Хранят по струнке золотые байбаки
склон буерака, будто столбики-солдаты.
А город тих теплом апреля. Дни легки,
где мать с отцом опять касаются руки,
где колко-свеж глоток воды из автомата...

Стрижи и жеребёнок-стригунок —
по грудь, по губы в травостое лета.
Как бестолков и короток урок!
Сметает ветер лепестки ответа.
Неужто впрямь гаданьем по цветку
ромашковые заросли когда-то
тебя манили? Гулкое «ку-ку»
сулило щедро и врало богато.

И сникло всё, бесследно так ушло,
бесстыдно так, непоправимо быстро,
как будто погорелое село
покрылось чащей лешего-магистра.
Так цепкой всё опуталось травой!
Ни ласточек, ни жеребёнка-цапы...
И чуть больно день над головой,
и трудно из сырой земли подняться...

Потом, когда по гамбургскому счёту
возьмёшь ты в руку синий карандаш,
опять, штрихом, индиговую воду
плесни вживую на песчаный пляж —



на белый берег с молотой ракушкой,
 где в полный рост подросток загорел...
 Туда, где время сломанной игрушкой
 притихло меж упавших навзничь тел,
 где от тандыра в срок везёт лепёшки
 татарин на рыдване-«Москвиче»,
 где не скребутся, лишь мурлычут, кошки
 в окукленном сознание. На плече
 играет зайцем август Казантипа,
 и с каждым часом — меньше, меньше дней
 до финиша замедленного клипа,
 где радость, стрекоза и цыпа-дрыпа
 искрит крылом над россыпью камней...

О.М.

Говори, говори о плечах европейнок нежных,
 гнукотловый и чувственный, слабый и вечноживой!
 А замолкнешь — лишь ветер и взвояет в пределах бесснежных,
 пережёванных, сплюнутых золотозубой Москвой.
 А смолчишь — только падальщик и прохрипит над равниной,
 костяной распахнув, с кумачовой нутрянкою, зев.
 Азиатские скулы холмов перемазаны глиной,
 и по мокрым щекам прорастает озимый посев...
 Не молчи — да пробьётся высокий обман говоренья
 через вязкую кривду осенних и зимних дождей!

Городская квартира больна теснотой и мигренью,
 а за окнами — неразличимость случайных людей.
 Не смиряясь, бубни, пересмешник надсады и горя, —
 и цитату цикады, и лиса Улисса завет!
 Отчего в этом чуждом для жёстких ушей разговоре
 неизбежность сквозит, как под дверь проливается свет?
 Есть отвага предчувствий. И ею пульсирует вена,
 в её ритме возможно вразрез пересечь ледоход.
 Причастись — и над чёрной водой пролетишь непременно.
 Как напомнил ещё один Осип: «Решимость ведёт...»

День просветлел. Ушёл тяжёлый дождь
 недоброго осеннего разлива.
 И синий взор метнул индейский вождь
 сквозь листья клёна и косицы ивы.
 И странно — вновь на сердце у меня
 не поздних лет потери и разлуки,
 но давних игр ребячьих бегогна —
 из ясеневых веток копья, луки...

И полон предвкушением побед,
 молниеносных и неоспоримых,
 день счастья, золотистый на просвет, —
 без чисел отрицательных и мнимых.
 Без имени, без даты, без примет,
 без фабулы какой-либо особой,
 он светит мне всю так много лет,
 как будто он и я — бессмертны оба...



Пушкин – пушист, серебрист. По секрету при этом
 Лондона Джека в тринадцать я крепче любил. –
 С Белым Клыком засыпал под сугробом валетом,
 в ружьях Клондайка ценил скорострельности пыль.
 В шубе онегинской век крепостничества мчится,
 полозом санным скрипя, бубенцами звеня.
 Снежный хорей в африканское сердце стучится,
 в солнечный бубен морозного синего дня.
 Я и теперь к ним тянусь, но уже по-другому:
 помня, что дружества мёртвых – вернее иных.

Если живым отказал со стыдом я от дома,
 знать, потому, что ломоть их – полова и жмых.
 Вот и жую золотую, с мороза, солому.
 Корм не в коня, а ясак да ярлык – не в меня.
 Честному зверю, Клыку, ослепительно-злomu,
 верят во сне из-под снега мои зеленя.
 А в январе леденеет, не ведая срама,
 Пушкина плоть, и бледнеет кофейная кисть.
 И еле шепчут лиловые губы Обамы:
 «Вымерзли яблони ямбов. Опомнись, окстись!»

Айвазовский проспект Галерейная пересекает.
 Протянувшись вдоль моря, нагрелся под Цельсием рельс.
 Привокзальное радио снова «Славянку» играет,
 чтоб в слезе расставанья чистейший блеснул эдельвейс.
 Снова сutki свиданья с портовой фартовой Кафой
 отлетают, подобно отрывку из ретро-кино.
 Каплет в рюмку мою «Пино-гри» виноградников графа –
 становясь, словно прошлое, правдой, густеет вино.

Словно плюсквамперфект, навсегда загустевшее время, –
 эти минус три четверти века. . . Со снимка глядят
 дед Иван и отец. В Феодосии, в здешнем эдеме, –
 так же свеж их зубов рафинад, как загар-шоколад.
 Не осталось уже никого с августовского фото,
 где на лицах цыганских лучились весельем зрачки. . .
 Веет вечер над Кафой две тыщи десятого года –
 карусели приморской дрожат золотые жучки.

Окликаю и По, и печальника-странника Грина,
 Александра – вослед Македонцу, Арапу вослед.
 Я ведь сам – иноходец Ивана и сын Константина,
 коих в Малом Стамбуле со мною как будто и нет,
 но которые живы и набраны чётким петитом
 в каждой строчке моей, в каждой рифме – один на один. . .
 Полнолуние – над Феодосией. Свет – над реликтом
 звероватого, в сетке столетий, холма Карантин.

Чёрные куры сидят на ветвях алычи,
 дымчатый кот задремал на ступенях хибары.
 Явно искренне молекул османской парчи
 в патоке зноя, в лукуме таврийского жара.
 Вот он, посёлок приморский, куда столько лет
 я приезжаю опять по невнятной привычке,
 где между прошлым и будущим паузы нет,
 как ни любви нет меж ними, ни дружеской смычки.



Войлочно-драный охранник хозяйства Мухтар
цепью гремит у пристройки, дощатой лачуги.
Баншицей здешней веранда слана мне – товар,
столь ходовой в сей жильём небогатой округе.
Вот оно, то, для чего, потеснив виноград,
демос слепил два десятка халуп при турбазе:
вольного воздуха водка и бриза мускат
в каждом зачатии-вдохе и в выдохе-фразе!

Воля Господня, свобода святого вранья, –
наперекор греховодной обыденной правде, –
дней на пяток умыкните с поминок меня
и, коль не прав я, в уста целованьем поправьте!
Чёрные куры с ветвей извергают помёт,
кочет с утра, как при Ироде, зычно горланит...
Море возлюбленной пахнет. И хмель не берёт
глупого сердца. И солнце шагрени не ранит.

Подсолнухам снесли косилкой головы,
и тёплый груз свезли на двор, к макухе.
А стебли держат стойку, как Ермолова, –
сухие губы, почвенники-духи.
Пол-осени или полсердца вынуто,
но сам себе гудишь такой же трубкой
шершавой, ибо синь и высь покинуты
иллюзией, гульливою голубкой...

А всё же, стебли, ватки с перепонками,
с удельным весом по Лилиенталю!
Как живы переливчатыми плёнками
те дни, когда мы по небу летали! –
По воздуху заветному индейскому,
вдоль лазерной наводки паутины,
всему, всему, – навязчивому, вескому, –
инопланетны, противопричинны...

АННА МАТАСОВА

ЛЕСТНИЦА В МЁРТВЫЙ ГОРОД

Нервно куришь в коридоре,
На запястье – два браслета.
На одном браслете – море,
На другом браслете – лето.

Сыплет белым волчья шкура,
Однозначно не в Лондоне.
А глаза закроешь – губы
По плечу ведут к ладони.

Снег штрихует память. Банка
Исцарапана, помята.
На запястье у подранка
То полынь цветёт, то мята.

Дымно, солоно и сладко.
Ветер форточку кусает.
На снегу играет в прятки
С морем девочка босая. . .

Что в холодильнике на полке?
Два сердца, смёрзшихся в комок,
Цветные льдинки с барахолки,
Из одуванчиков венки.

А дальше? Комната щебёнкой
Давно засыпана, темна. . .
Дыханье спящего ребёнка
Соединяет – он, она.

А дальше? Вырастет, кроватку
Отправят в сумрачный подвал.
Тик-так, часы ослабят хватку –
Ты вечность презимовал.

Уснула женщина в футболке,
Спит холодильник, спит плита.
И дочь у матери осколки
Вытягивает изо рта.



Вот письмо для почтальона.
От кого? Издалека.
Рвёт бумагу. Удивлённо
Видит белые снега.

Кто по снегу пишет снегом? –
Ели, домики, шоссе.
Человечки за ночлегом
Одинаковые все.

С белой кожей, кожей белой
Ослепляет – вот она.
Льдом берёзовым, омелой
В снежный ветер вплетена.

Перечти губами – тает.
Трогай белое, скучай,
Там, где лампа золотая,
Чёрный хлеб, зелёный чай.

Захару

Шли на мэйл «люблю» – или жми на пульт управления,
Вдруг нашаришь кнопку большого офонаренья,
Открывай портал или рот под дымок с горчинкой,
Обнимайся с ведьминской чертовщинкой.

Город рубит, режет, шуршит, выбивает чеки,
А потом сквозь нас протекают горячие реки,
А потом находишь губы, они в бруснике...
Я смеюсь и гадаю на первой упавшей книге.

А потом сквозь нас протекает шипенье ночи –
Капучино, чивас, прочие тамагочи.
Мы сидим в кафе, ночь гуляет в синих лосинах,
В золочёных звёздах, в лопнувших апельсинах.

А ты знаешь её язык? потайные стрелки?
Шевеленье крыш, трубы, вышки, люки, мосты, провода, тарелки,
Кока-колу, бензин, химические растворы –
Или ты убежал из школы?

Или ты всё бросил, чтобы шептать «цалую»,
Чтоб собаку гладить, забыв четвёртую мировую,
Чтоб считать по родинкам – сколько ещё до взрыва?
Жми на пульт, не бойся, ну станем светом...

ТЕМПЕРАТУРА

Я пишу алкашу: дорогой, наплевать, что алкаш,
Не гуляй моим морем, вали в свой похмельный шабаш!
Ноябрина горчит, словно Пушкин в копчёном стекле,
И всё небо торчит на одной золочёной игле.
Танцы-шманцы, трава, конура,
Скайп, вконтакте, наушники, выруби, это игра,
Не лови, не ищи, трогай не, горячо, горячо...
Для чего тебе море, зачем ты мне дышишь в плечо?
Раскалённую кровь для чего серебришь языком?
Ты утонешь (придурок) – а я никогда, ни о ком...



Я могу растворить тебя в рыжих холмах, стать драконом корней,
 Сквозь бетонку и пластик в рабочие мельницы дней,
 Стать солёным вином в черепах, свистнуть: море, а ну-ка, гори!
 Только дым у тебя на губах.
 И в зрачках – фонари.
 Я люблю тебя, ч-чёрт... поцелуями горло открыв.
 Сорок градусов.
 Сердце.
 Разрыв.

У книжки загнута страница,
 Поверх – ромашный лепесток.
 Зимой замотанной приснится
 Реки молочный водосток.

А рядом – ямка в трикотаже,
 Коленка в солнечном меду,
 И тени рыжие на пляже,
 И земляника на ходу.

Песок, набившийся в сандали,
 Разводы соли на спине...
 Мы ничего не угадали –
 Иди ко мне.

Ты колюч и глазами злюч, потому что спирт.
 Сзади молния, тише, только чуть-чуть нажми...
 Для чего серебряный ключ, мой фатальный флирт?
 Что ты хочешь открыть ключом, мой амиго-ми?

Мой амиго-ми, мой кофейный вкус,
 Мой небритый гоблин, чуть-чуть горчат
 Попелуи, перебивая пульс,
 Где срывается волк с плеча.
 У меня самой бегут под ключницей волки,
 Солонее моря запах твоей футболки.

Я – огонь, да ты и зовёшь меня – эй, огонь!
 Там под коркой, треснувшей в уголках,
 Как ни прячь породу, как себе ни долдонь –
 Холоднее, тише – всё сердце опять в волках.
 Сколько раз, целуясь, ты рисовала волка
 На сожжённой коже, чёртова кофемолка?

– Отпусти,пусти...
 – Эй, куда же ты без меня?!
 Сколько раз, скажи, выпрыгивала в окно?
 И неслась по небу, ключиками звеня,
 Керосин плескала на дно.

– Ты опять в метель сжигаешь своих волков?
 – В медной турке чёрный ветер всего черней...
 Закипает кофе в логовище снегов,
 Закипает кровь, и мы закипаем в ней.
 Потеряешь коня – оседлаешь волка.
 Смерть ненавидит тех, кто умирает долго.



КИЕВ, ЛЕСТНИЦА В МЁРТВЫЙ ГОРОД

Сане Моцару со товарищи

Там лестница на троих: бутылка – один пролёт.
Качай в колыбели их, не прячь в ментовский кулёк.
Там троица у стола... но духа-сына-отца
Как ни вяжи в слова – всё разлетаются.

Большого взрыва гудёж, распад на минус и плюс –
Хватай билет, молодёжь, на чартер в божий союз.

Там лестница сразу вниз, где плавится мошкара,
Где мёртвый город подкис и сам течёт из горла.

Но трое стоят в кругу, три раненых, три бойца.
Качаясь, сквозь не могу, сквозь сына-духа-отца

Вот так же, моя страна, ты взорвана изнутри:
Где был отец – там дыра, где сын – легли пустыри.

И нам остаётся смех, и русский дух с бодуна,
И чокнутая на всех бутылка крови одна.

Крапивные волдыри, и ветер залит бухлом,
И ты говоришь – «умри», а я отвечаю – «в лом».

И пенится Оболонь, и хором поёт братва:
– Наш паровоз долетит до середины Днепра!

ВАДИМ СКИРДА

ЖИЗНЕННО ВАЖНО

У НЕБА

У неба море крошится, сукровица пророшена,
Непрошена пророчица, беззлобная праща.
У неба плавны привкусы, сомнительные дискурсы,
В аквариуме дискусы тревожнее леща.
У неба миронosiцы в него обратно просят,
На божьей переносице негоже обольщать.

У неба скорбны таинства, в нём маятником маяться,
Изысканные равенства, энергий вскрыт нарыв.
У неба нет пристанища, в нём даром не останешься,
Прольёшься снегом тающим или дождём навзрыд.
У неба судьбы взвешены, на совести проплешины
Изучены – залечены, путь в полноту – открыт.

СУВЕНИР

Вопрос, как водится, крамолен:
Что есть наш скорбный старый Мир,
Чьё Представленье и чья Воля,
Ярмо иль райский сувенир?

Сомненьем артефакт намолен,
Его хранит упрямство вер,
Да изощрённые пароли –
Ключи констант, весов и мер.

ПРОЩЕНИЕ

Отпущено, отброшено
Прощенье – точно в цель,
Сияньем припорошено –
Заботой об Отце.

Оставлены, покинуты
Сыны Большой Зимы
Бродить по полю минному
В исканьи новизны.

Избавлены, низринуты
Из Полноты в Авось,
Напраслину корзинами
Черпаем с Правдой врозь.



Прости нам, как прощаем мы,
А не простишь – так что ж:
Мы вечно возвращаемы,
Нас боле не тревожь. . .

ЭЛЬ-ИНФЕРНО

Говорят – есть страна Эль-Дорадо,
И возможно, быть может, наверно –
Там тебе будут всячески рады,
Лишь своё одолей Эль-Инферно.

Там, где строят дворцы Кубла Ханы,
Там, где в золоте руны овечьи,
Где не встретишь ни Сима, ни Хама,
Там Green Man'ы практически вечны.

Где сомненья октябрьски-ржавы
Будь любезен услышать свой ум –
На осколках великой державы
Всё Зелёный свирепствует Шум. . .

. . . Мелькают дни, тревожны лица,
Дух омрачён, а плоть – как клеть,
Ты – то, что следует добиться,
Я – то, что стои́т одолеть.

СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ

На мелководье как на мелкотемье –
Мелкотравчаты творчества зуды,
Совесь с разумом – дружные семьи,
Сообщающиеся сосуды.

Обрусевшие истины гнёзда,
Нелокальные скифы кочевья,
Многоярусны тихие звёзды –
Сообщаются с духом дерева.

Проросли в бытие корневища,
Надкультурны священные рощи,
Подойти и о многом услышать –
Мирозданье напрасно не ропщет.

Перекручены мощные корни,
Перемешаны чистые крови,
С каждым вздохом ты всё непокорней,
Капилляры твои – с миром вровень.

Опечатаны скользкие книги,
Распечатаны славные тексты –
За душой скомороха-расстриги
Поверяются мудростью детства.

Сорняки – вечно пассионарны,
Переменчивы дикости слоги,
Судьба слов – геостационарна,
О безмолвие – выггерты ноги.



Напророчено с тридцать три короба,
 Самозванны посулы Иуды,
 Разум с совестью – нет, не вороги –
 Сообщающиеся сосуды.

ГЛИССАДА

Я с тобой был – собой, да весь вышел,
 Я был дух над водой, налегке.
 Возносился, но не был услышан,
 Нисходя в затыжное пике.

Наш с тобою сюжет пасторален,
 Плюс на минус – весомый искус,
 Соль гипербол – гипер-бореалис
 Постарались постичь мы на вкус.

Быть твоею подъёмною силой
 Мне, пожалуй, теперь не с руки,
 Ты меня уж не экстраполируй
 На весь мир, хоть горшком нареки.

Угодивши в висок самомнения,
 Я тебе уж не пролегомен –
 Чту славнейшую без сравнения
 И иной не желаю взамен.

Пусть энергия духоподъёмна –
 Турбуленция воздуха масс,
 По глиссаде идём к глинозёму,
 Бове Спасе, помилуй... ГЛЮНАСС.

... Я с тобой был – собой, была мысль
 Быть и дальше, но что-то стряслось:
 Вкус предательства иссиня-кисел,
 Вкус прощенья – твоих солод слёз...

МЛЕЧНЫЕ МЕЛОЧИ

Млечные мелочи, склочные сволочи,
 Жить – неумеючи, скользкие поручни,
 Переступать осторожно по льду –
 Преображаться у всех на виду.

Сытные сумерки, гладкие гавани,
 Жил – да не умер бы в сахарном саване,
 Хлеб преломлять и любить преломление –
 Вместо предчувствия – богоявление.

Запахи затемно, истин искрение,
 Жизнь – что есть смерти суть искоренение,
 Помнить, что ты – себя смутная копия,
 В мире, что горнему – антиутопия.

Сонно, но снежно, а вьюжно, но влажно,
 Жить – это нечто, что жизненно важно,
 Мыслить ответственно напропалую –
 Тихо пишу... стало быть – существую.



БЕЗ ОБРАЗА

Нет образа без образа, и свет – пророк его,
 Что взглядом не торопится в безмолвие снегов.
 Нет опыта без опыта, и тщетность – дочь его,
 Что выстрадаана досыта в расплату за любовь.

Нет времени без времени, и вечность – бег его,
 Надежде рода – семени – ресурс настичь богов.
 Нет выбора без выбора, и совесть – страж его,
 Мир шиворот-навыворот к инверсии готов.

Нет разума без разума, и радость – смысл его,
 Нежданная оказия, по факту – «НИТОГО».
 Нет господ без господ, и страх – урок его,
 Земля – тюремный госпиталь для всех и никого.

ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ

Мы снились. Мыслили. Мы – слились.
 Во множестве – единств не счесть,
 Приставкой *со-*предвосхитились
 Зерцало, знание и весть.

Сомнамбулический сообраз –
 Мы грезим миром сообща,
 Который нами же и собран
 Из тел, что нам же возвращать.

Идеи, словно кровь, пролиты
 На зазевавшийся восток,
 Потехи выбраны лимиты –
 Прижимист мысли кровосток.

Горазды верить в чью-то небыль,
 Настырно отрицаем высь,
 Предвосхищённые на небо
 Мы снились. Мыслили. Слились.

РАСПАРАЛЛЕЛЕННЫ

В этом мире мы распараллелены,
 Запаролены, руки по швам,
 Смысловыми гуляем аллеями,
 Спорадически верим словам.

Семизначную суммой расстреляны,
 Сожжены вождельнями в хлам,
 Поступаемся верными целями,
 Посещая неверных бедлам.

По поверхности рассредоточены,
 Беспойно преследуем глубь,
 В выси исключены червоточины,
 Её некому наспех вернуть.

Невесёлая неба нахлебница,
 Не взыщи – за душой ни рубля,
 Кому мать, кому – грязелечебница,
 А по-нашему – просто Земля.

МАРИЯ МАЛИНОВСКАЯ

КАК ЗА ПАСТЫРЕМ

Отпускаю объятия вдаль,
Со слабеющих рук отпускаю. . .
И звенят, как чистейший хрусталь,
И трепещут, как пена морская.

Отпускаю в чужие края,
Чтобы немца спасти, двоеверца.
В них и запах, и ощупь моя,
И тепло, и биение сердца. . .

И летят невесомой волной
Над огромной холодной Россией. . .
Обернись он самим Сатаной —
Обниму и согрею Мессией.

Что наветы, что тысячи миль,
Что лишения, маки, росинки
И сухая дорожная пыль
Той, что издавна в белой косынке?..

И за тысячи миль обниму —
Необузданна сила мирская.
Зарыдает — поймёт, что ему
Вековые грехи отпускаю.

Расту, как после бранной сечи
Хлебнувший кровушки сорняк.
В церквях упорно ставлю свечи
За висельников и дворян.
Болею — и спасаюсь этим:
Творить нельзя, когда здоров.
Оправдываю тех воров,
Кто носит краденое детям.
В привычных ямбах не пою —
Блаженно, дико отпеваю. . .
Отцом Сократа называю
И ненавижу мать свою.

Все традиции стали нестрогими,
Развлекаюсь великим трудом:
Заметаю напевами, строками
Твой ни разу не виденный дом!



Так чудно, так настырно, так молодо
Ворочу застарелую речь,
Пробавляюсь у зимнего холода,
Осиянно встаю из-за плеч. . .

За тобой, как рассказывал, по лесу
Незаписанной рифмой лечу!
Изменяю бесплотному голосу —
И дрожа прижимаюсь к плечу!..

Отдаюсь поэтическим гульбищам,
Цепенею, предчувствую крах. . .
Но в каком-то нечаянном будущем
Ты закружишь меня на руках!

Разразилась тьма зачатием. . .
Разродилась тьма исчадием. . .

Ищет мать — крутом темно,
И пришлю ко мне оно

Грудь сосать безгубой ревностью,
Грудь сосать беззубой древностью.

Нет младенчества древней,
Чем у тьмы и тех, кто в ней.

И сосёт, и льнёт, и ёжится,
На загривке ходит кожаца.

Крохотное существо —
Но не одолеть его.

И стенает, горе кликая,
Эта ревность безъязыкая.

Горе пятится, дойдя:
Знать, не по нему дитя. . .

Своего ребёночка
Заверну тихонечко
В самый тёплый плед.

Брошу из окошечка,
Постою немножечко
Да пойду вослед.

Громче плачь, ребёночек,
Не жалеи силёночек,
Исключений нет.

Бросить недоносочка,
Бросить недоросточка
Вьнужден поэт.

Светит ночь-охранница,
Оземь ударяется
Жёлтенький пакет.



Бьётся время, тикая,
И ступаю, тихая,
В уличный просвет.

Ни лишнего слова, ни лишнего жеста –
Попробуй хоть что-то сказать невпопад!
Родное, блаженное, жуткое место
Мой маленький... крохотный... ласковый ад!

Здесь каждый обязан поддерживать пламя
Ладонью! Иначе отныне и впредь
Не с нами! – а если ты будешь не с нами,
Гореть тебе в пламени, ох как гореть!

Со всех семерых прегрешенья снимая,
Ладоней отнять не могу от костра! –
Единственно, неисчислимо восьмая –
Любовница? Гостья? Хозяйка? Сестра?

Здесь каждый другой – и один прокажённый,
Фагот перевёрнутый, прежний Сократ...
Не в гости меня и не в сёстры – а в жёны! –
Ждал маленький... крохотный... ласковый ад!

Ни лишнего слова, ни лишнего жеста,
Мой слог не по-девичьи скуп и остёр!
Приветствую ад, нехристова невеста, –
И, как на алтарь, восхожу на костёр!

Я теперь осторожно хожу:
Мне всю жизнь положили к ногам.
Ни свернуть, ни ступить за межу –
Всё она... и любовь по бокам...

Мне всю жизнь положили к ногам,
Всю мужскую свободу, весь труд...
Что бесценно, то чуждо торгам,
И взамен ничего не берут.

Но забудет ли смерть о долгах?
Но предаст ли себя грабежу?
И не видит лежащий в ногах,
Что пред ним на коленях хожу...

Иду за Вами – как за пастырем –
Открыто режущим овец –
Не покажусь – хоть оба царствуем –
И режем – оба – наконец.
Иду за Вами – как разбойница –
Любуясь и забыв напасть –
И пусть никто нам не поклонится –
Но все признают нашу власть.
Иду за Вами – как по наледи –
С трудом иду – теряю след –
А Вы – читая – не узнаете –
Что это – Вас – любил поэт.



Последую за ним на Валаам
Немногим, что пока ещё не там, —

Вот этим зыбким образом своим,
Который здесь всё меньше уловим.

Я с ним давно! Я вечно с ним! Я с ним!..
Вне всех обетов, постригов и схим!

И всех святых ему светлей стократ
Ломавшая иконы с криком «Брат!»

Всё, что осталось от его сестры,
Разбитое, немое до поры. . .

Всё горе, горе. . . нежность посреди. . .
Коса, и платье, и. . . «Не уходи!»

И на запястье чётки в два ряда —
Те самые — от брата — навсегда. . .

На постриге — не выпущу — слезу:
Сама, без слёз рыдая, поползу.

Свершится постриг мой — в его сестру!
И я для мира, как и он, умру,

Не веря ни хуле, ни похвалам —
Безмолвно воздаётся по делам.

Он ангел мой — и будет мной храним. . .
Последую. . .
Последую за ним. . .

Последую за ним на Валаам.

Принеси попить — и не надо звёзд.
В чудеса твои безоглядно верю.
Принеси попить. Молчалив и прост,
В комнату войди, робко скрипни дверью.

Не являйся мне — чудеса не твори,
Просто подойди с неказистой чашкой.
Просто поверни ручку на двери,
Легче чудеса — ручка будет тяжкой.

Обними меня, посмотри, как пью,
Посмотри, как зло. . . посмотри, как худо. . .
Просто прикоснись к бабьему тряпью,
К смятым волосам — это будет чудо. . .

И тогда уйди. Нечего беречь.
Чашку уберу в прочую посуду.
На Земле легко — тяжче после встреч
Дорогих, земных радоваться чуду. . .

АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ

КРЕПОСТЬ повесть

Часть 1

ПРОЛОГ

Друзья зовут меня Тим, а родные – Тимур. Отец настоял, чтобы меня так назвали в честь великого завоевателя Востока, но, честно говоря, вояка из меня никакой, не люблю я это дело – драться, хотя вспыльчивый до чёртиков. Уже больше года я занимаюсь греблей на байдарках, и для своих лет довольно выносливый и крепкий мальчишка. Цвет глаз у меня мамин, говорят, что и характер тоже. Я такой же, как и она, упрямый и неуступчивый. В семье я младший – поздний ребёнок. Мама родила меня, когда ей было уже тридцать девять лет, иногда они с отцом это вспоминают, говорят, что я свалился, как снег на голову, – не ждали.

Есть ещё у меня брат и сестра. Рома учится на четвёртом курсе истфака, а Ритка – десятиклассница, собирается поступать на экономический.

Отец у меня военный, ракетчик, служит в соседнем городке в крепости, там у них типа секретная часть, хотя о ней знает вся округа. Мама преподаёт математику в той же школе, где учусь я.

Рома – это гордость нашей семьи, до сих пор в школе его вспоминают учителя и ставят мне в пример.

Ритка живёт своей жизнью (охи, вздохи, звонки ухажёров по вечерам, тайные долгие разговоры); мама к ней постоянно придирается – то не так, это не эдак. Ритка мечтает поскорей сбежать из дома и не скрывает этого.

Я прочитал в одной книжке, что с годами у людей хорошие черты затухают, а плохие, наоборот, развиваются, так вот моему брату и моей сестре выпало ещё более-менее счастливое время, а мне – так одно мучение.

В семье у нас всё подчиняется строгому военному распорядку. Утром мы вскакиваем под звуки гимна России (хотя эта страна за тысячу километров отсюда), и день начинается с громкого крика отца: «Рота, подъём!». Хорошо, если он пришёл вчера домой трезвый, и всё это у него типа зарядка. Но если они вчера ещё и поцапались с мамой, тогда – держись.

В общем, до восьми у нас казарма, а потом интернат для умников и бесконечная уборка, в доме всё должно быть идеально чисто, не дай бог, ты уронишь на пол крошку хлеба, тебе тут же кричат сухим математическим голосом, в котором слышится хруст перемальываемых кристалликов льда: «Тимур, у тебя что, руки отсохли, и в кого ты такой неряха!».

«Ну, подумай логически», – говорит мне мама, если я не могу решить задачу, и смотрит на меня так, будто я разбил её любимую вазу.

К счастью, моим воспитанием она занимается довольно редко, потому что, если не сидит над тетрадками и не убирает квартиру, то висит на телефоне, перетирая косточки всем знакомым со своей подругой, парикмахершей из салона «Ника». О чём можно болтать столько по телефону, я не знаю, но только это длится часами. Хорошо, что почти весь свой воспитательный пыл она израсходовала на старших, а то бы мне вообще было невесело.

Отец служит лет двадцать уже, но дослужился только до майора; мама его постоянно пилит, обзывает пьяницей и забулдыгой, а он, когда разозлится, всегда стучит кулаком по столу и вспоминает какого-то армянина, с которым её якобы застала моя бабушка. Она к нам приезжала в прошлом году, – лучше бы не приезжала. Тут такое творилось, я вам скажу, чуть милицию не вызывали.

Да, Рома – это надежда семьи. В детстве он мечтал стать лётчиком, по всей квартире стоят сделанные им модели самолетов, типа МиГ-29, Су-25. Но в девятом классе мама спросила его как-то: «Ты что, хочешь, как твой отец, всю жизнь в сапогах ноги топтать?»

Ромка подумал-подумал и решил, что нет, «сапоги» – это не для него, и увлёкся историей.

Наша историчка им просто бредит. Когда она меня вызывает к доске и просит рассказать о Пунической войне, и я стою, молчу, шумно вздыхаю, она восклицает с таким, знаете, ехидством в голосе: «Боже мой, Тимур, и почему ты игнорируешь мой предмет, вот твой брат . . . ах, как вспомню, какой был ученик!».

В такие минуты в классе все притихают, а мне хочется плюнуть на пол, растереть и выйти вон, хлопнув дверью. Терпеть не могу, когда мне поют песни о брате. Одно дело дома, там, понятно, он для роди-



телей – идол. Но в школе это я переносу с трудом. Особенно когда на задней парте хихикает мой дружок, Мишка Гребень.

Да, брат для родаков – надежда. Ритка – так, дополнение к их спектаклям. А я – ноль, пустое место, «зеро», как любит говорить Мишка, что, впрочем, меня вполне устраивает. Если бы вы провели парочку дней в нашей семейке, вы бы меня поняли.

Родители – совершенно разные люди. Отец родился на Кавказе, в каком-то горном ауле, мамуля – из одесских полунемцев-полуевреев. Как и где они могли найти друг друга, мне до сих пор непонятно; брат рассказывал, что они случайно познакомились на дискотеке, в военном училище. Представляю, что это было за диско!

В общем, потанцевали они разок – и пошло, поехало: гарнизоны, переезды, жизнь в общежитиях. Я родился в одном задрипанном городишке на Дальнем Востоке. А в этот край нас занесло, когда мне уже исполнилось четыре года.

Да... но всё это так, к слову, сейчас я хочу рассказать вовсе не о нашей семейке, а о том, что произошло месяц назад. Честно говоря, у меня от всего этого до сих пор голова идёт кругом, до сих пор не пойму, как же оно всё так приключилось?! А ведь в то утро всё начиналось так замечательно...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Весной Днестр разливается, вымывая пласты земли и глины из берега, и с годами в склоне образовалась пещера, там-то мы и пропали в то субботнее утро. Длинные косы вербы закрывали прозрачным зелёным занавесом вход, и снопы жаркого августовского солнца врывались в дымный сумрак, выхватывая из тени наши лица и освещая их рассеянным дрожащим светом. Уже к десяти часам парило нестерпимо, ветер шелестел листвою, не принося ни капельки свежести, и мы сидели в одних шортах, истекая потом, а рубашки и футболки валялись на траве. Внизу сквозь листву вербы блестела река, на дальний берег двигался катер с туристами, в этом году их приехало особенно много, и весь город был полон отдыхающих.

Я помню это утро, будто оно было вчера: «Ракета», пенящая воду, музыка Стинга, доносящаяся из динамиков на лодочной станции, голоса и крики купальщиков на пляже. Вот, заревев двигателем, понеслась на дальний берег «Казанка», вот вдалеке, за мостом показался буксир, и послышался его глухой рокот, высоко в небе медленно двигалась серебристая чёрточка реактивного самолёта, расчерчивающего небо дымными полосами.

– Дальше, – раздался голос Марио.

Но всё плыло, плыло ещё перед глазами.

– Твоё слово, спишь, что ли? – окликнул он меня.

На кону лежало по двадцать копеек, и в кармане у меня было много мелочи, которую, уезжая, как бы случайно, оставил брат на секретере. Но я не хотел рисковать и, увидев джокера и двух дам, произнёс:

– Дальше пятьдесят.

Мишка взглянул в свои карты, хмыкнул, и, заикаясь, сказал:

– Д-дальше. Ты чего кислый такой? Б-братан уехал, и ты в штаны наложил.

Я вспыхнул, я – очень вспыльчивый, иногда меня просто срывает с катушек, и я могу сделать любую глупость. Вот и сейчас я хотел крикнуть ему: «Заглохни, ты, заика!». Но я сдержался, пожалел его, – настоящих друзей у Мишки не было. Только я мог его ободрить на уроке, когда он столбенел и не мог выдать из себя ни звука.

Заикой Мишка был не всегда. Заикой он стал в пять лет, когда одним весенним вечером папашка избил его до полусмерти; неделю после этого пацан пролежал в больничке без движения и без слов. Правда, папашку его можно понять. В тот вечер он сидел с друзьями на кухне, распивал водочку. Сколько они приняли на грудь к тому моменту, как из коридора донёсся истошный вопль соседки, история умалчивает, известно только, что стало уже темнеть. Мишкина мать была в церкви, она ходила туда каждое воскресенье.

Ну, пили они, пили, а Мишка крутился там между ними, мешал им, батя его и выставил из кухни и дверь закрыл наглухо – нечего старших подслушивать.

Жили они тогда на первом этаже, в коммуналке. Была ранняя весна, только сошёл снег, за окном радостно чирикали воробьи. На подоконнике лежал коробок с яркой этикеткой, в котором что-то таинственно шуршало. Почему Мишка это сделал, он и сейчас не может объяснить, но тот случай круто изменил жизнь парня.

В общем, взял он спички, разложил газеты на диване, аккуратно так разложил – стопкой – и поджёт. Горят, горят газеты, дымные заполнил всю комнату, уже и в коридор просочился, а тем хоть бы что, – знай себе подливай, наяривай. Хорошо, соседка учуяла что-то неладное, стучит в дверь комнаты, а оттуда дым валит, – она тогда в крик: «Пожар, пожар! Помогите, люди хорошие, горим! Рятуйте!».

Вот тогда, видимо, папашка с друзьями прозрели, вламываются они в комнату и видят: горит новый диван, неделю назад, как купили, дым столбом, и Мишка с улыбкой маленького Будды смотрит на огонь.

Ну, тут такое началось! Схватил обезумевший отец кусок кабеля и как перетянет им Мишку поперёк спины, в общем, начал он его убивать. Мишка орёт, будто режут его, пытается залезть под шкаф, да не тут-то было, голова и плечи влезли, а заднее место застряло. Приложился бывший «афганец» парочку

раз так, что пока его друзья оттащили, пацан зашёл в крике, а потом неделю молчал. Спустя ещё неделю он всё-таки заговорил, но так и остался заикой.

Странно, но у Мишки с тех пор к отцу особое отношение; он ездил к нему в больницу, когда тому на заводе оторвало палец на станке, и потом, когда батяня попал в профилакторий для алконавтов. Он тащил туда мать постоянно, приносил отцу сигареты, продукты и даже спиртное, тайком от матери.

Иногда думаешь: вот жизнь странная штука — любишь тех, кто тебя бьёт, но это для других. Для меня — нет. Я всегда даю сдачи.

После того случая Мишку прозвали «поджигатель». Но мы его зовём «химик». Слишком он повёрнут на опытах, любит делать всякие бомбочки. Однажды так шархнул возле котельной, что в школе окна повывлетали. До сих пор бомбиста ищут.

И ещё есть у него одна манечка. Он часами зубрит английский. По всем предметам, даже по химии, едва успевает, а английский зубрит, как чокнутый. А как он, заика, сможет говорить по-английски, этого почему-то Элла Аркадьевна, наша англичанка, ему не объясняет. Ей-то что, ей всё равно, — пусть пацан мучается.

Придёт, объяснит по грамматике одно правило, даст перевести какой-нибудь рассказ из учебника и сидит, смотрит в окно весь урок, мечтает, закинув ногу на ногу, чулки у себя рассматривает.

Мишка пыхтит, старается, выговаривает каждый звук. Смешно, но иногда у него выходит даже лучше, чем у нашего старосты Юрки Белых, вот дела, почему так, не знаю. Может, от тренировок зависит, а ведь Юрка у нас считается признанным «англичанином», жил в Канаде несколько лет с родителями, и даже Эллию поправляет иногда, только она за это больше «четвёрки» ему не ставит, из вредности.

Так вот Мишка звучит даже лучше, чем Юрка. Чудеса, да и только. И диктанты он пишет отлично. Я у него постоянно списываю. Память у него «специальная», как говорит Марио. Поэтому он так много слов знает. А у меня память дырявая, решето, а не память. Зато я могу придумывать, вот что могу, это уж точно. Могу, например, написать сочинение про кнопку лифта, или про снег, да, про снег и всё.

Вот, смотрел я тогда на этого рыжего байбака, разозлил он меня сильно, хотел сказать ему: «Да заглохни ты, заика». А потом жалко его стало.

— Сам дурак, — вот что я ему тогда ответил, перевёл всё в шутку, так сказать, и продолжил, — Марио, твоё слово.

Марио потёр переносицу со значением, насупил.

По нему никогда не скажешь, о чём он думает и сколько у него на руках.

Вот он сложил карты, улыбнулся, сверкнув зубами, и, бросив пятьдесят копеек в банк, сказал:

— Пятьдесят дальше.

Наверняка он блефовал, но как проверить? Подловить его мог только Мишка, он чувствовал, когда Марио блефует. Мишка, как и Марио, прирождённый игрок. А я так, любитель, риск — это не для меня.

— Твоё слово, — нетерпеливо заёрзал на ящике Марио.

Глаза у него фиолетовые, как сливы, ничего в них не видно, только зрачки, которые плавают, как зёрнышки, в тёмно-синей глубине. В одном фильме показывали, что если человек испытывает боль, то у него зрачки расширяются, а вот что происходит, если он тебя обманывает, — по-моему, именно это произошло мне тогда в голову. Я услышал за спиной звук отъезжающей моторки и вдруг неожиданно брякнул:

— Рубль дальше!

— О-хо-хо, у Т-тима пруха, — покачал головой Мишка.

Он взглянул в свои карты, выудил из открытой пачки сигарету и невольно взялся за кожаный футляр, который висел у него на шее; там был его талисман, зажигалка, которую он сделал из пустой гильзы. Передумав, он взял с игрового стола спичку, — их там лежала целая россыпь, — чиркнул ею о приклеенную на ранте сандалия тёрку, затянулся, взглянул ещё раз на карты и, мастерски сплюнув между зубов, бросил карты рубашкой кверху:

— Я п-пас.

При этих словах Марио оживился и стал нервно гладить себя по затылку.

— Ну, теперь ты, — кивнул я ему.

— Дальше три рубля! — звонко произнёс Марио.

Я почувствовал, как у меня сразу вспотели ладони и сердце начало колотиться. Я, конечно, тоже азартный, но уже не раз попадал с этим Марио.

Его страсть — это игра на деньги: расшибалочка, сека, котёл. Никто не умеет так тасовать колоду, как он. Говорят, отец его научил, и Марио никого не разуверяет в этом. Хотя, честно говоря, отца его никто никогда не видел. Марио рассказывает, что он погиб где-то в Африке, защищая какого-то президента, но кто в это поверит? Все говорят, что просто мать Марио спугалась с негром, а он потом её бросил — вот и всё.

Марио мулат, волосы у него короткие и жёсткие, как щетина; когда он смеётся в темноте — зубы и белки глаз так и сверкают. Для нашего городка необычно, чтобы у местной женщины ребёнок был мулат. Многие косятся в сторону их семьи, насмеваются, хотя нам всегда говорят в школе, что в нашей стране все люди равны.

Вот что я по-настоящему ненавижу, так это вранье взрослых. Всегда врут, всегда говорят пустые слова, говорят о любви, а друг друга дубасят. Говорят о честности, а отец всегда просит сказать, что его нет дома, например, когда звонит бабушка из Одессы. Почему так, не знаю.



Когда Марио пришёл в наш класс, все как онемели, уставились на него, как на пугало, а Мишке всё пофиг, подошёл к нему на перемене, познакомились, а потом так мы втроём и склеились: Мишка, Марио и я – друзья не разлей вода.

Настоящее имя Марио – Лёнька, а фамилия Марин, но прозвище Марио, ему самому нравится.

Марио очень нервный и очень обидчивый. Стоит во время игры сгоряча выпалить: «Эй, ты, бебезь, а ну не мухлой!», как он тут же бросится на тебя с кулаками, так злится, аж синяя жилка у него на шее выступает, когда он кричит: «Я – русский, ты понял, я – русский!».

А ведь всегда кажется, что играет он нечестно. И когда в его маленьких смуглых руках мелькают карты и тебе выпадает три короля, и ты ставишь рубль дальше, дальше, потом поднимаешь ставку вдвое, а в кармане остаётся только на пирожок в школьном буфете, и ты кричишь: «Вскрываю!» и с уверенностью в выигрыше уже протягиваешь руки, чтобы забрать банк, – Марио вдруг объявляет: «Три лба». И пока ты зависишь в недоумении над его тузами, он ловко сгребаёт кучку полустёртых монет и смятых бумажек.

В такую минуту, конечно, можно сгоряча крикнуть: «Блин, да ты мухлюешь!». И кровь с шумом врывается в голову, и вот-вот кинешься на него, и, кажется, вот сейчас ты его разорвёшь на клочки, но в этот момент обычно Мишка кладёт тебе руку на плечо и говорит спокойно: «Тим, всё по-честному, просто ему везёт, ты же з-знаешь».

Да, Марио в карты всегда пруха, но и в котёл ему везёт, всегда попадает тогда, когда там уже целая горка монет. Пожалуй, в расшибалочку Мишка ему может нос утереть, ловко это у него выходит, умеет он ударить о самый край монеты и в самый нужный момент.

Есть и ещё у Марио страсть – лазанье по деревьям. Мы его подкалываем, говорим, что это у него от папика, который, наверное, с дерева и не слазил никогда. Странно, но он почему-то не обижается, может, потому, что действительно лазит сам, как мартышка. Иногда может такое выкинуть, что дух захватывает, например, взобраться на верхушку шелковицы, раскачиваться там, как сумасшедший, и орать: «А я – летучая мышь, я могу висеть вниз головой!». Один раз он уже сорвался, расцарапал себе в кровь всю спину и руки, но всё равно продолжает дурить.

Ещё он умеет стрекотать, как сорока, и выть, как самый настоящий волк, – где он этому научился, непонятно.

Мы учимся вместе с четвёртого класса, и сколько я его помню, он всегда был таким. Не говорю уже о том, что он легко может прыгнуть на любого, кто скажет что-то кривое о его матери. Почему он так к ней относится, я не знаю. Мать для него – святое. Хотя моя часто за глаза обзывает её «сукой».

Я видел однажды, как она буквально кидалась на отца с кулаками, крича: «Я же знала, я же знала, что ты пойдёшь к этой негритянской подстилке. Сука, чтоб она провалилась!»

Странно, тогда отец даже руки не поднял, чтобы защититься, а только пытался её облапить, приговаривая: «Милая, наговоры всё это. Ты у меня самая красивая, Ковалевская ты моя».

Это он так сказал, чтобы её хоть как-то умаслить. Хотя чего там сравнивать. Мама, конечно же, симпатичная. Но у Марио мать, как девушка, совсем молодая, почти как Ритка. Когда она идёт через наш двор, все мужики себе шеи сворачивают, а ей хоть бы хны, только каблуками по тротуару: «цок-цок». Кто-то прозвал её «золотая ножка», и когда она появляется, всегда можно услышать: «Вон, смотри, золотая ножка чешет!».

Они приехали из Архангельска, есть такой город на севере, там ещё, по словам Марио, деревянные доски вместо тротуаров на улицах. Там, кстати, Марио и родился. Чего они сюда переехали?

Мать его вроде бы училась в институте на врача, она работает в аптеке, лекарства продаёт.

Марио однажды принёс пару таблеток, от которых балдеешь, – взял, положил под язык, и потом голова становится лёгкая, а перед глазами всякие мультики так и крутятся. Этому Марио научился у матери, подсмотрел, как она так делала.

Нам понравилось, очень. Но когда его мать узнала, что у неё пропал целый пузырек этих пилюль, она чуть не прибила Марио. «Бешеная была», – как он нам потом рассказывал.

Да, так вот, взглянул я тогда на него и подумал, – скажу сейчас: «Вскрываю!» И выиграю аж пару рублей, а если потерпеть, вытянуть его на себя, то можно и десятку, и купить эластичный бинт для накачки бицепсов, и охотничий нож, чтобы чуть что – отбиться от одного гада, который преследовал меня.

– Дальше пять рублей, – услышал я свой ватный голос и заметил, как заёрзал Мишка, как он закосил глазом в мои карты.

Теперь Марио не улыбался, его маленькие уши заострились, а широкие африканские ноздри раздувались, как у гончей, почуявшей добычу. Я вздрогнул, когда Марио произнёс:

– Дальше!

«Что делать, что делать, – путались мысли, – вскрываться или нет?»

И неожиданно для самого себя я выкрикнул:

– Дальше десять!

– Ого! – выдохнул Мишка.

На кону стояло почти двадцать рублей. Для нас, семиклассников, это были большие деньги, но Марио и бровью не повёл – что значит игрок.

– Вскрываю, – произнёс он спокойно.

Но голос у него дрожал, дрожал, это я точно помню.

- Три дамы, – выложил я карты.
- Три дамы! – эхом откликнулось издалека.
- Свара, – выдохнул Марио, голос у него вдруг осип.
- Вот это да! – присвистнул Мишка.

Я с трудом соображал, что происходит: у меня были две красные дамы, бубновая и червовая, а у него две чёрные, крестовая и пиковая, а рядом с каждой парой плясал клоун с бубенчиками на колпаке. Мои руки уже опустились на деньги, но Марио успел накрыть их и прижал. Я стал вырываться, не понимая, что происходит, и почувствовал, как в ладони горячими рёбрами врезались медяки. А Мишка мне орал в самое ухо: «С-свара! Свара!».

- Ну что, продолжим? – спросил Марио и кивнул Мишке, – вступаешь?
- Не-а, – отрицательно замотал головой тот.
- Делим, – выдохнул я.
- Давай продолжим! – Марио не унимался.

Почувствовав мою слабость, он, как питбуль, вцепился в меня:

- При своих же останемся!
- Пусть, – сказал я упрямо.
- А-а, засцал, да!? – нависал Марио, крепко прижимая мои руки к столу.

– А ну отпусти! – сказала я твёрдо и почувствовал, как в глаз попала капелька пота, и глаз стало пощипывать.

Неожиданно раздался звук осыпающихся камешков. Мишка сделал знак, и мы быстро спрятали карты и деньги в карманы.

Из кустов у входа в пещеру вынырнул Хас, его тень замыачила за прозрачным занавесом листвы. Большая голова на тонкой шее делала его похожим на инопланетянина, как в кино про НЛО. Хас выглядел так, будто ему только что сделали тёмную, даже веснушки, казалось, прыгали на лице от страха.

Он долго не мог отдышаться, щёки надувались, как у выброшенного на берег головастика. За глаза мы его так и называли «головастик»: во-первых, из-за формы головы, а во-вторых, из-за его умничанья, зазнайства. На все вопросы у него есть ответы. О чём бы вы не спорили, он всегда скажет: «Я знаю». Или спросит тебя: «А ты знаешь?». Очень это раздражает, я вам скажу.

Достаётся ему, правда, за это – кто же любит этих знаек? Только сами знайки и любят.

– А-а, Хаська приплёлся? – съязвил Марио.

Ему нравилось подначивать Хаса. Тот был трусоват, поколотить его мог любой, даже тот, кто был на голову ниже ростом. Подойти, цыкнуть на него, и он сдавался.

Я не понимал, почему такой амбал, ростом с девятиклассника, так запуган. Отец у него крутой, с бесцветным, как серая папка, лицом, за ним всегда джип «Гранд Чероки» приезжает по утрам; со мной он никогда не здоровался, если заставал у них дома, кивал и всё. Но мать мне казалась милой женщиной, хотя, конечно, с ней говорить нелегко, она сидит в своём кресле-каталке и смотрит сквозь тебя, будто тебя и нет на свете, а ты только и думаешь всё время, как бы побыстрей смыться. Знаете, тяжело общаться с этими инвалидами, как-то неловко себя чувствуешь, иногда хочется провалиться сквозь землю, честное слово.

– Слушайте, пацаны, я вам сейчас такое расскажу, обалдеете, – выговорил, наконец, Хас.

– Расскажи, расскажи, – хихикнул Марио, – обалде-ем, – передразнил он его.

– Сможете сегодня дёрнуть из дома до вечера? – продолжил Хас возбуждённо, не обращая на него внимания.

– Чего, чего? – уставились мы на него изумлённо.

Уж от кого-кого, а от Хаса услышать это было странно. Он-то жил по расписанию, утром зарядка, вечером пианино, чуть темнеет – уже баньки.

– Ты что, Хаська, с книжной полки упал? – поддел его Марио.

– Да ну тебя! – отмахнулся Хас. – Пацаны, слушайте, хотите найти клад Мазепы?! – выпучил он глаза.

– Кого?! – разинули рты Мишка и Марио.

А я чуть не свалился с ящика, честное слово. Всё утро меня так и подмывало рассказать о том, что я услышал вчера вечером, – и тут такое. Мелькнула мысль, что Хас мог как-то подслушать спор отца и брата, а орал он, будь здоров, так, что было слышно, наверное, даже на улице, но потом я вспомнил, что было уже поздно, а в такое время Хаса всегда загоняли домой.

– Кого-кого? – переспросил его Марио.

– Я знаю место, где спрятано оружие и золото, – продолжил Хас возбуждённо.

При слове «оружие» Мишка стал вытирать вспотевшие ладони о шорты, а Марио вскочил, и, пританцовывая, переминался с ноги на ногу. «Золото» – было его манией.

– В-врёмь, – бросил Мишка, от волнения заикаясь ещё больше. – К-клад, к-какой клад? Где? – давился он каждым звуком.

– В кургане за старой турецкой крепостью.

– Ого! – присвистнул Марио, – сокровища турок.

– Сам ты турок, – оборвал его Хас. – Говорю тебе, это клад Мазепы.

– А кто это? – спросил Марио.

– Кто-кто, украинский царь; на кургане, за крепостью его захоронение, и там старинное оружие, золото, в общем, с ним положили всё, что может понадобиться в другой жизни.



- Другой жизни. Какой другой жизни? – спросил Марио с удивлением.
– Да ну тебя, – отмахнулся Хас.
– А откуда ты это знаешь? – спросил я, сглотнул и тут же добавил, стараясь, чтобы голос звучал безразлично. – Да там давно всё обчистили, если и было что!
– Тим прав, – махнул рукой Марио, – кто в это поверит?
Вспыхнувший было огонёк потух в его глазах, он достал карты и вновь стал их тасовать.
– Любишь ты басни сочинять, – подытожил Мишка и тоже уселся.
– Матерью клянусь, я сам слышал, как Кола и Жосан собирались идти за кладом, они идут туда сегодня! Хас чуть не плакал, нервно скручивая свои большие ладони.
– Кто?! – устались мы на него, и тогда впервые мне стало тоскливо и страшно.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Хас, которого зовут на самом деле Кирилл, а фамилия Хасян, прибился к нам случайно. Однажды, когда мы ездили с классом собирать яблоки в сады за рекой, к нему пристали местные; он отлучился по нужде, а те к нему и пристали, мол, нечего гадить в их садах, а что делать, если парню приспичило, подышать что ли? В общем, стал звать он на помощь, и пока все наши умники чухались, а ответственная, которая поехала с нами, Пьера Львовна, как назло, будто провалилась, ушла куда-то с физруком. Так вот, пока все соображали, что делать, мы с Мишкой и Марио помчались между рядами яблонь и спасли Хаса из очень неприятного положения.

А что он мог сделать один, да ещё со спущенными штанами, против этих быков? Но мы их быстро угомонили. Особенно отличился Марио. Он тогда как раз записался в секцию бокса и успешно отработал на одном из них удар справа. Так что те перцы бежали дальше, чем видели.

Не сговариваясь, мы решили никому не болтать об этом. А после Хас пришёл ко мне домой.

Помню, в тот день лил дождь, и я маялся дома, как неприкаянный. Вдруг звонок в дверь, смотрю – стоит Хас. Стоит, переминается с ноги на ногу. Говорит, вот мол, хотел узнать, что задали по физике. А я не верю ни единому его слову. Чтoб Хас и не знал, что задали, ведь он у нас первый отличник был – да никогда не поверю. В общем, то да сё, а потом он мне выдал:

– Слушай, Тим, давай сидеть за одной партой.

У нас так заведено: отличники сидят впереди, а троечники, типа меня, в самом конце.

– Хочешь, будем вместе к урокам готовиться? – продолжает.

В общем, дружбу мне предлагает, именно мне, а не Мишке и не Марио. А Мишка-то был король класса. Наверное, решил через меня мостик перекинуть, внедриться, так сказать, по-тихому в наш круг, но только до меня это доехало слишком поздно.

Хас выше меня почти на полголовы, глаза у него розовые, как у кролика, волосы – солома, кожа на лице сальная, бутристая. Даже не знаю, почему мы за него вступились – просто напали чужаки, вот что главное, обижать своих мы никому не позволим. Пусть он плохой – зато свой.

Хаса все считают зубрилой и выскочкой. Чуть что, всегда первый руку тянет, хотя некоторые наверняка завидуют ему, из-за его папика-шишкаря. Зря завидуют. Видели бы они глаза его матери – не завидовали бы. После автомобильной аварии она теперь сидит в кресле-каталке годами. Не знаю почему, но Хас меня всячески ублажал, наверное, хотел влезть в доверие.

В комнате у него все полки уставлены книгами, прямо как в библиотеке. Столько книг я ни у кого прежде не видел. У нас дома всего несколько – те, которые дарили родители друг другу с подписями типа: «Гришка, ты очень похож на героя этого романа, оставайся всегда таким, твоя Зоя». Да ещё армейские уставы, да Ромкины журналы и учебники по истории, к которым я никогда не прикасался.

А у Хаса чего только нет: иллюстрированные энциклопедии, сборники фантастики, детективы, журналы о кино, старинные книжки с каким-то особым запахом. . .

Трудно поверить, но всё это Хас перечитал, и иногда, когда мы вместе собирались, он нам пересказывал некоторые истории. Рассказывал он интересно, но сами истории казались мне немного заумными.

Поэтому однажды, от нечего делать, чтоб как-то разбавить эту занудную мудрёность, я сам придумал рассказ про горбуна-часовщика, который воровал младенцев. Там всё началось с пирожка: мальчишка стал есть пирожок, а там – бах! – человеческий ноготь, ну и завертелось такое! Не знаю, во мне что-то шёлкнуло, и рассказ сложился, и пацаны обомлели – клёво так вышло.

Помню вечер, март, мы сидим в подвале нашей девятиэтажки, прижавшись друг к другу, вдруг слышим – скрип, не скрип, а скрежет двери. Слышим, как кто-то медленно ступает по рассыпанной щебёнке, я чувствую под рукой железный уголок, который валялся там с тех пор, как сваривали решётки на окна, раздаётся шёпот Марио:

– Это он.

– Кто он?! – таращится на него Хас.

– Горбун. Он пришёл за нами.

А Мишка говорит:

– З-зайдёт, кинемся на него.

– Не бросайте меня, пожалуйста, не бросайте меня, – хнычет Хас.

И когда шаги за стеной приближаются к самому входу, и мы уже вот-вот бросимся вперёд, вдруг из темноты раздаётся жемчужный, весёлый смех:

— А вот вы где! А я вас везде искала.

Так врасплох нас застала тогда наша нимфа — Лера.

Лера — это девчонка, с которой я ходил на греблю. Нельзя сказать, чтобы она была красивая, скорее смешная, — вот это точно. Но почему-то я смущался, когда оставался с ней наедине, и ещё мне было не по себе, когда я видел её с Мишкой. Они жили в одном подъезде, и Мишка часто провожал её домой после школы.

Лера... Что-то в ней было такое необычное.

Жила она с братом (он, кстати, тренер по ушу) и бабушкой, которая, правда, сверстница моей мамы. Лера училась в нашем классе, и всё свободное время пропадала с нами. Ей было интересно, а нам и подавно!

И когда, например, она при всех говорила: «А ты, Тим, отчаянный!», сердце билось чаще, а губы так и расплывались в улыбке. Но всё это ничего не значило. Такое она могла сказать каждому из нас. А уж как Марио нос задирает, вы бы видели, просто из штанов выпрыгивал. Что сказать, нравилась она нам очень. Но, как мне кажется, ко мне у неё было особое отношение. Сам не знаю, почему я так думаю. Но только однажды она мне приснилась, подошла, села на кровать, положила свои руки на мои и сказала: «Всё будет хорошо, Тим. Всё будет хорошо».

А на следующий день, когда я лежал в дремотной неге на пляже, она возникла вдруг как из-под земли и, смеясь, легла рядом, а потом мы ещё весь вечер прогуливались по набережной, говорили ни о чём, и я летал от восторга.

Забыл сказать, что Лера была немного помешана на тренировках: она тренировалась и в дождь, и в снег, могла отмахать на воде много километров, и плакала, когда проигрывала мальчишкам прикидки.

И ещё у неё был пункт — водовороты, — никогда не обходила их. А это опасное дело, а вам скажу. Если вам когда-либо повезёт сесть в байдарку, вы поймёте, что держаться в ней гораздо сложнее, чем ехать на велосипеде, и вряд ли вы пройдёте больше нескольких метров, поэтому новичков сначала пускают на воду в байдарке с крылышками.

«Крылышки» — это такая перекладина, которая насаживается на корму, по краям у неё закреплены лопасти от вёсел, и когда лодка начинает крениться, эти крылышки не дают ей перевернуться. Но ты торопишься стать как все, торопишься стать взрослым и однажды идёшь на воду без крылышек — и попадаешь в водоворот, и глотаешь столько мутной воды, что потом уже ходишь только под берегом, а вот Лерка ничего не боялась и бросалась в водовороты сама да ещё поднимала весло над головой, умела держать равновесие, как никто другой. Но кое-что и ей не удавалось.

По реке ходит много буксиров, и всегда можно ускориться, догнать буксир, если он толкает баржу в порт, стать у него в корме, в отработке, в этих кипящих струях воды, и подгребать, и нестись на гребне волны. Конечно, тут нужно особое бесстрашие, чтобы сделать такое, потому что если перевернёшься, тебя может легко затянуть под винт.

Завидев буксир, я всегда торопился к берегу и, поставив весло на баланс и направив нос лодки против волны, шёл, медленно переваливаясь с боку на бок, с восхищением наблюдая, как кто-то из старших устремлялся за буксиром вдогонку. И острый холодок возникал под ложечкой, когда я видел, как байдарка с гребцом ныряла между волнами, и мысль о том, что и я когда-нибудь смогу сделать это, не покидала меня.

У Леры была ещё одна странность — она никогда не рассказывала о родителях. Хас откуда-то знал, что у них свой бизнес в Турции. В это можно было поверить, потому что шмотки она носила дорогие, чем очень злила учителей. Но почему-то её родителей мы ни разу не видели за те несколько лет, что она училась с нами.

Говорила она с лёгким акцентом, чуть растягивая слова и смягчая букву «л». Она — гагаузка, и стеснялась этого, хотя мне наоборот это нравилось.

Не знаю почему, но в конце лета я стал особенно волноваться, когда виделся с ней: меня волновала и её походка, и медленное движение руки, поправляющей чёлку выгоревших волос. Иногда мне казалось, что и она смотрит на меня как-то более задумчиво, что ли. А однажды мы с ней целый день валялись вместе на пляже, и она мне снимала облупившуюся кожу с лопаток, и я чувствовал прикосновение её пальцев, и было так необычно, что внутри всё обрывалось, я будто долго-долго падал, а потом вновь взлетал. И ещё я стеснялся смотреть ей в глаза, а она — нет, она только закидывала голову, смеялась и повторяла: «Ты такой смешной, Тим, такой смешной».

Да, летом с нами что-то происходило, и это длилось несколько месяцев, а потом всё неожиданно кончилось.

В одной книжке я прочитал, что напрасно человек прожил жизнь, если он прожил её без врагов. Так вот, врагов у меня не было. Да, я мог иногда что-нибудь «отчебучить», как говорил отец. Например, выйти из класса прямо на уроке, если было что-то не по мне, или спросить вдруг нашу новую химичку: «Элла Захаровна, а отчего у вас так жилка на шее надувается, когда вы кричите?» Конечно, я мог сгоряча и на тренера кинуться, если он подначивал: «Эй, чечен, помоги лодки перенести». А я никакой не чечен. Отец мне сказал, что мы из аланов, осетин то есть, по его отцу, а по его матери — из Терских казаков. Булатов — это родовая фамилия моего прапрадеда, он был шейхом на Кавказе.

Иногда, когда меня сильно доставали, я посылал всех подальше и шёл на берег Днестра, сидел один где-нибудь над обрывом в кустах, — вода бежит, и я успокаиваюсь. В такие минуты я думал о моём прапрадеде, который, как Ромка рассказывает, перешёл на сторону русских во время второй Кавказской войны и потом отличился при взятии Плевны.



Я представлял, как он скачет в белой бурке среди джигитов, пули свистят, а ему хоть бы что, а потом они гонят янычар по пшеничному полю и рубят им головы на скаку, и захватывают в плен сотни турок и батарею пушек, и сам царь жалуется ему княжеский титул, а когда он возвращается на родину, его встречают, как героя, посыпают дорогу цветами. Да, так я мог сидеть у реки часами и крутить в голове эти картинки, как в кино.

Отец мне иногда рассказывает о моей Родине, о станице на реке Терек, о том, как там красиво. Я жил там до четырёх лет у бабушки, пока родители мотались по гарнизонам. Но что я теперь помню о том времени: только снег, тишину, яблоки, пахнущие зимней свежестью, собаку с грустными глазами — и больше ничего.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Жосан — красавчик, он приехал в наш двор в начале августа. Целый день его родики разгружали мебель. Поселился он в одном подъезде с Лерой и Мишкой. Сначала он держался в стороне, ходил важный, надутый, но вскоре стал появляться во дворе с Колой, известным в округе шнырой, дружком Шефа.

Этот район города делится на две зоны: Верхний и Нижний Днестр. Верхний контролирует Шеф, один долговязый тип, с большим кадыком и бельмом на правом глазу. А Нижний — Граф, крепыш, с приплюснутым носом и сломанными ушами, чемпион города по вольной борьбе.

Нельзя сказать, что между бандами идёт война, так, мелкие стычки на дискотеке, но нас впечатляет, если кто-то вдруг скажет: «Его вчера видели с Графом». Или: «Смотри, он из бригады Шефа». Поэтому рядом с Колой Жосан мог выступать козырем.

Сначала он присматривался, осваивался. А потом уже и показал себя.

Как-то, промокнув весь от дождя, я бежал с тренировки и, запыхавшись, уже почти поднялся к дверям квартиры, когда на лестничном пролёте неожиданно столкнулся с Колой и Жосаном, они стояли там и дымили какими-то вонючими сигаретами.

— Хочешь затянуться? — как бы между прочим спросил меня Жосан.

Мы тогда уже покуривали, и я тайком, по одной, таскал у отца «L&M», довольно лёгкие, как мы считали, сигареты. Часто мы пускали сигарету по кругу, но курили не затягиваясь, больше для форсу, что ли. Поэтому я смело сказал:

— Конечно.

— Тогда набери дым в лёгкие, — продолжил он, — и скажи: «Пошла бабка в лес, нарубила дров, затопила печь, из трубы пошёл дым».

Я смело набрал в рот дыма.

— Нет, ты не так, ты вдохни его, — хихикнул Кола.

Я вдохнул, и в этот момент у меня всё в голове помутилось, горло сковало, я не мог ни вдохнуть, не выдохнуть, слёзы брызнули градом. Сигареты оказались кубинские — «Партагас», — еле я очухался. А эти двое стоят, ржут, кони педальные.

Не знаю, чего он ко мне прицепился, наверное, решил, что я слабый. Думал, что если старше на два года, так и запугает.

На следующий день, когда мы играли в футбол, и я как раз готовился подать угловой, Жосан, который сидел на лавочке за воротами, неожиданно подошёл и попытался выбить у меня мяч из-под ног.

— Отпусти, — рванул я мяч, успев схватить его.

— Ты чего, свисток, в репу захотел?! — оттолкнул он меня так, что я попятился, споткнулся о бордюр и полетел через кусты на газон.

Все рассмеялись, даже Мишка, но хуже всего было то, что всё это видела Лера, она тоже сидела там, на лавочке, слушала, как Жосан травил анекдоты, и сквозь их смешки больней всего меня резанул её заливиный смех.

Кровь бросилась мне в голову, я нащупал обломок кирпича, крепко сжал его, поднялся и пошёл на Жосана.

— Ты чего это, ты чего... вот debil, — бормотал он, отступая.

С этого дня он и Кола устроили на меня охоту, всё пыгались подловить в тёмном углу. А ещё он трепался всем, что я чокнутый, и многие стали меня избегать. Но мне было всё равно. Главное, что Мишка и Марио были со мной, и ещё Хас, и ещё Лера.

Но иногда я видел, как этот типок стоял с Лерой у подъезда и что-то втирал ей, и она смеялась, закидывая голову — так ей было смешно.

А ещё болтали, что он делает девчонкам всякие гадости. В общем, что сказать, время для меня настало трудное. Дошло до того, что я постоянно носил песок в карманах, чтобы сыпануть этому хлыщу в глаза, если он вдруг подстержёт меня где-то. Но это всё были мелочи по сравнению с тем, что Лера отдалялась от нас и всё больше водилась с этим пряником.

Я в то время почти не выходил во двор. Сажу на балконе, смотрю, как они соберутся в кружок: Жосан, Кола, Егор (Мишкин брат) и давай тусоваться — пальцы веером, крутые мобилы под ухом у каждого, а рядом девчонки глазки им строят, почёсываются, как мартышки, хихикают. А я смотрю на всё это и понимаю, что изменить ничего не могу. Понимаю, что так и будет этот гад меня мучить и Лерку уведёт.

Смазливый он был, вот что плохо, весь такой гладенький, чистенький, всегда одет модно. Кроссовки на нём американские – «Риббок», а не занюханый китайский самопал с толчка.

Отец у него главврач в клинике, где людям мозги вправляют, мать – директор рынка. Семейка – отпад! О таких всегда говорят: «Хороший мальчик». Да, что говорить, всё при нём, и глаза у него необычные: один чёрный, без зрачка, как колодец, а другой жёлтый, как у кошки, не глаз, а подфарник. Но это заметишь, если стоять с ним лицом к лицу, а издали и не видно.

Цельными днями я сидел на балконе, с завистью наблюдая, как носятся по двору мои друзья, а по вечерам слышал, как они радостно смеются в сумерках.

Заканчивалось лето. В конце августа приехал на каникулы брат. Обо мне все забыли, и я в одиночестве и унынии предавался своим переживаниям.

Однажды, беспечно бродя по квартире, я прислушался к голосам на кухне.

– Дали ему вместе с Карлом, – говорил возбуждённо отец. – Строю своих охламонов, как их только к пушкам подпускают, строю их утром, ну всё такое, гимн играет, флаг поднимается, встаёт солнышко, туман над рекой стелется, и думаю, вон, как жизнь поворачивается, когда-то тут были турки, а потом им под зад коленкой – раз! И вот уже двести лет мы здесь, но не о том я... я вот думаю, что сяду на паркет, а на нём сидел этот Мазепа когда-то. Кстати, говорят, его могила недалеко от крепости. Правда, или болтовня всё? Историческая личность всё-таки, хоть и предатель.

– Слушай своих дуболомов больше... – глухо обронил Ромка.

В этот момент я вошёл на кухню, и как ни в чем не бывало, взял яблоко из хрустальной вазы, которая стояла на буфете. Отец сидел за столом в трусах, с багровым лицом, Ромка стоял у окна, скрестив руки на груди, мама вытирала посуду, она была явно смущена.

С яблоком в руке я чуть задержался в дверях, с интересом взглянул на их хмурые лица, не понимая, отчего они так завелись, потом надкусил яблоко, – оно смачно хрустнуло, – и пошёл к себе, но в коридоре остановился и вновь прислушался.

– Но, но, но... – запротестовал отец.

– Ромочка, зачем ты так? – возмутилась мама.

И я представил, как сейчас наигранно в изумлении поднялись её крашенные брови.

– А... что с вами говорить! Этому вот кто-то наплёл про клад, а он и уши развесил.

– А что? Ты хочешь сказать, что это неправда? Ты, историк хренов! Зам по тылу сказал, что захоронение Мазепы тут точно есть, и Пушкин искал его здесь, вот. А ещё, драпая, он вёз бочонки с золотом, это-то ты знаешь?

– Ищи, ищи, может, найдёшь ступицу от колеса. Тебя там точно за клоуна держат в части, – бросил Ромка презрительно.

– Ромочка, ты что?! – сдавленно воскликнула мама.

– Вот, смотри, выкормили на свою голову, посмотри на этого стервеца! – отец разошёлся не на шутку.

В напряжённом внимании я вытягивал шею и не заметил, как задел стопку журналов, – они с грохотом рухнули на пол.

– Да хватит, хватит вам! – мама уже чуть не плакала.

– Вон! Вон из моего дома, чтобы духу твоего не было здесь больше! – взревел, как дикий кабан, отец.

Послышался звон хрусталя, и я представил, как золотистым льдом брызнули осколки по светло-коричневому линолеуму, вспыхнул и погас на самой высокой ноте мамин крик, я метнулся к себе в комнату, а потом на балкон.

Хлопнула дверь, и в комнату вошёл Ромка, он был очень взволнован. Наши взгляды встретились, в глазах его мелькнуло что-то странное, незащищенное...

Он устало опустился на диван, уставившись перед собой. Потом открыл секретер, постоял немного, перебирая свои учебники и тетради, а затем зашёл в ванную и долго не выходил оттуда.

В тот же день Ромка уехал.

Ночью я долго не мог заснуть, всё время сквозь дрему мне виделись казачьи обозы, в зыбком рассветном воздухе дрожали пики, знамёна, бунчуки, шли войска походным маршем. Из тумана медленно выплывала крепость с высокими башнями и бастионами, у парапета на одной из башен показалась фигурка девушки в восточном одеянии...

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

В то утро, как и во всякое субботнее утро, Хас встал пораньше и побежал за молоком на городской рынок. У Хасино папашки был больной желудок, и по утрам ему нужно было пить парное молоко, полезно это было для него. На каникулах и в выходные дни бегал за молоком Хас.

В то утро он проснулся ещё до девяти. Он вообще имел привычку рано просыпаться, тренировал волю, так сказать, был на этом помешан. Мог, например, долго сидеть под водой, когда мы купались, так долго, что мы потом за ним уже ныряли. Мог на спор схватиться за раскалённый гвоздь. У него и теперь шрам на правой ладони, и он до сих пор отдёргивает руку, если хочешь с ним поздороваться.

Странно, но при этом он был труслив ужасно. Точнее, не умел драться, очень уж был неуклюж, неповоротлив и в драке всегда не бил, а начинал бороться, пытаясь взять своим весом, особенно боялся



бить в лицо. Все, кому не лень, его в классе шпыняли, чуть, что Хас да Хас. «Кто назовет столицу Мадагаскара?» — «Хас назовёт». «Кто сегодня дежурный?» — «Хас дежурный».

Его даже назначили ответственным за чистоту тряпки, которой доску вытирали. Назначила наша классная, Лидия Павловна, училка по пению, тучная такая тётка, по мне так больше похожая на продавщицу арбузов, а не на учительницу пения.

Странно, почему, если тебя шпыняют, так и учителя туда же? Подло это всё как-то... Потому мы, наверное, и решили поднять Хаса, в пику всем. Потому я и согласился сидеть с ним за одной партой, — противно, когда все на одного, не терплю я этого.

Да, в общем, вышел он из квартиры утром, настроение приподнятое, впереди ещё один день каникул, и вдруг слышит — внизу, на площадке кто-то спорит.

Хас так и застыл, не успев закрыть дверь, а дверь у них была новая, прокладки каучуковые, ходила бесшумно, как часики, открывалась тихо, не то что соседская напротив, железный гроб, а не дверь:

— Я же говорю, это верняк, понимаешь? — услышал он приглушённый басок Жосана.

То, как это было сказано, заставило Хаса настрожиться.

— И ты знаешь место?!

Зашипел Кола так ожесточённо, что Хас втянул голову в плечи.

— Я проверял, всё сходится, — последовал ответ.

— А кто такой этот гетман?

— Самый богатый чужак в своё время был, почти как царь.

— А-а, — протянул Кола.

И Хас живо представил, как у него вытянулось и без того узкое и удлинённое, как секира, лицо.

— Ху, ху! — послышались вдруг выдохи и шарканье ног.

Хас догадался, что Кола стал отрабатывать бой с тенью.

— Да перестань ты, заколебал, — видимо, увёртывался от него Жосан, потому что голос его сбивался.

— Ты что, Кола, тупой, — вновь раздался голос Жосана, — я же тебе говорю, у него было два бочонка золотых монет, прикинь! И оружие!

— Оружие?!

— Ну, старинное, типа там сабли, пистолеты.

При этих словах Хас прикрыл рот рукой.

Кола шумно засопел и спросил:

— Дела... ты никому ещё не проболтался?

И Хас почувствовал, как Жосан замялся.

— Никому.

— Это хорошо, — протянул Кола и с нажимом добавил, — держи язык за зубами, дело серьёзное.

После этого повисла долгая пауза, в продолжение которой Хас услышал, как за дверью напротив кто-то возится, и ему показалось, что он сейчас провалится сквозь площадку, но возня стихла. Он облегчённо вздохнул, и отёр пот со лба.

— А чего же ты не хапнул всё сам? — бросил Кола пустым голосом.

— Одному опасно, запретная зона, недалеко от крепости, на кургане.

— Фигово, — вздохнул Кола. — Вояки поймают, мало не покажется. Ноги повьдёргивают! Это тебе не милиция, никто протокол составлять не будет.

— Ты что, струсил? Швед мне сказал, что ты крепкий, а ты — яичница, — отозвался с презрением Жосан, и послышался звук плевок.

— Триндеть — не мешки таскать. Сам-то он, небось, засцал бы!

— А вот и нет, он сразу согласился.

— Блин! Ты же сказал, что никому не болтал! Вот трепло! — присвистнул Кола. — Наверное, уже всем растрезвонил.

— Иди ты! Никому я не трезвонил, только ему и сказал.

— Так может и Шефу тогда расскажем, — оживился Кола, — а то ещё и на местных нарвёмся. С ними лучше не связываться.

— Кола, ты что, тупой? Хочешь, чтобы Шеф всё себе захапал? — возмутился Жосан.

— Да не кипятись ты. Ладно, сами разберёмся, — успокоил его Кола. — Кстати, а как делить будем? — спросил он вдруг, и вновь повисла долгая пауза.

Хас чувствовал, как во время всего их разговора у него kloкотало в горле, невыносимо хотелось чихнуть, и он изо всех сил двумя руками сжимал себе рот и нос, но чих так и рвался из него, так и лез. Казалось, что он сейчас взорвётся этим чихом, будет обнаружен, и тогда ему хана, амба, поймают и поминай, как звали.

Вдруг рывкнула дверь напротив, и на площадку вышла соседка, седая, сварливая подслеповатая старуха, бывшая надсмотрщица в городской тюрьме, Марина Абрамовна. Она всех ненавидела и ни с кем не здоровалась, только бурчала себе под нос что-то нечленораздельное и всё.

Она вышла на площадку с полным ведром мусора, взглянула сквозь толстые стёкла очков на Хаса, — тот даже присел от ужаса, — что-то буркнула и стала спускаться вниз по ступенькам к мусоропроводу, громко, по-стариковски шаркая ногами. Голоса внизу сразу стихли, и спорщики торопливо сбегали вниз, хлопнула входная дверь.

Хас яростно несколько раз чихнул, потом выскочил на улицу, и что есть духу помчался на речку.

Теперь он стоял перед нами с пустым бидоном, волосы дыбом, глаза горят, жадность, испуг и что-то совсем незнакомое, неуловимое, какой-то восторг, что ли, были у него на лице.

– Я думал, что сдохну от страха, когда эта карга открыла дверь, – завершил он свой рассказ.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я сидел с безразличным видом и жевал травинку, чувствуя, как терпкий сок пощипывает язык. Скажу честно, у меня сразу возникло плохое предчувствие. Но я промолчал, почему – не знаю. А ведь если бы я рассказал тогда о споре отца с братом, наверняка всё бы сложилось иначе.

– Интересно, что бы они с тобой сделали, если бы застучали? – обронил я, и все вытаращились на меня.

– Да ну тебя! – обиженно отмахнулся Хас.

– Только там нет курганов, – продолжил я, глядя сквозь покачивающийся занавес листы. – Мы там тренировались весной, сплошной лес, зря потащимся.

– Да? – протянул удивлённо Хас.

– Не зря, не зря. Ты же знаешь, у меня нюх на клады, – вскопнул Марио.

– Угу, ещё какой! – усмехнулся я, вспомнив, что за всё время своих поисков кроме ствола от охотничьего ружья он ничего полезного так и не нашёл.

– Так ты не п-пойдёшь? – спросил Мишка, грызя ноготь.

– Я как все, только что-то тут нечисто.

– Да ну его, – махнул на меня Марио, – струсил, так и скажи. Так где, где это? – затанцевал он перед Хасом.

Но Хас как-то сник после моих слов, а грушевидная голова его вытянулась ещё больше.

– Они говорили, нужно идти несколько километров на север от крепости, – произнёс он глухо.

– А вы в курсах, что там днём патрули шастают, а ночью прожектора всё освещают. Поймают, – обронил я, после чего даже Марио несколько потух, но вскоре его лицо вновь озарилось, и он схватил меня за плечо.

– Так нас твой батя отмажет, чуть что, а, Тим?

– Ага, размечтался, – сбросил я его руку.

Мишка взглянул на меня и вновь стал ожесточённо грызть ноготь.

– А Лерке, Лерке расскажем? – спросил вдруг Хас.

– Ты что, забыл, с кем она теперь водится, уж тогда тебе точно капец, гы-гы-гы, – гыгыкнул Марио.

Он присел на корточки и, чтобы успокоиться, начал тасовать карты, так и мелькали его смуглые руки. «Шулер», – сказал бы любой, видя, как ловко он это проделывает.

– Марио прав, Лерке об этом – ни слова, – сказал я, сглотнув горячий комок, и спросил, обращаясь ко всем, – интересно, а на чём они поедут?

– Наверное, на мопедах, – предположил Хас.

– Ты что, чокнулся! – повертел пальцем у виска Марио. – Да они там всех ворон распугают на своих тархтелках.

– Может, на великах, а, Мишка, как думаешь? – спросил я.

Он поднялся, потянулся до хруста в суставах и сказал:

– Ну и духотища! Я п-постараюсь что-то выведать.

– Поздно будет! – бросил карты на стол Марио. – Сейчас, сейчас двигать надо! Пока они соберутся, мы уже там. И всё наше. Мы первые найдём. Представляете!

– Представляем, – хмыкнул Хас. – А что родакам скажем? – тихо спросил он.

Я поднялся и встал рядом с Мишкой. Вода в реке блестела в лучах утреннего солнца, волнами накатывала духота, но я вдруг почувствовал, что от возбуждения у меня по рукам пошла гусиная кожа.

– У меня сейчас все о'кэй, – сказал Мишка, – у п-предка тяжёлые дни, он в отключке. Главное, чтобы братуха не заподозрил чего.

– А моим по барабану, скажу, что в поход иду. А ты Марио, сможешь отпроситься?

– Спрашиваешь! – сверкнул зубами Марио.

Все знали, что Марио сутками не бывал дома. Где он валандался, мы не знали. Но он хвастался, что ночевал чуть ли не с бомжами в подвале соседнего дома, который был предназначен под снос. В общем, ещё тот враль. Но это было не важно. Главное, что вряд ли его мать сильно бы обеспокоилась, если бы он не пришёл ночевать, поэтому все посмотрели на Хаса.

– А может, ты останешься, Хас, прикроешь нас, чуть что? – спросил его Марио.

Хас даже рот открыл, не зная, что и ответить, лицо его стало малиновым от гнева, он аж топнул ногой от злости и пошёл на Марио.

– Ах ты... Я всё открыл, а ты, ты!

– Что, что я? Мне плевать, с тебя же шкуру спустят.

– Эй, отвяжись от него, – осадил Мишка Марио и добавил, – так, парни, на с-сборы час, никого ждать не будем.

– И чтобы хвоста не было, – бросил Марио Хасу.

Хас зыркнул в его сторону, но промолчал.



А Марио пританцовывал уже перед Мишкой, заглядывая ему в лицо:

– Значит, идём, а? – вопрошал он, расплывшись в улыбке.

– Я – да, а ты – не знаю, – улыбнулся тот в ответ, обнажив передние зубы, которые выступают у него немного вперёд, как у бобра.

– Ура-а! – радостно закричал Марио.

– Вот чудик, рано радуешься.

Иногда у Мишки получается выдавать целые фразы без запинки, это когда он спокоен или задумчив, как тогда, например. Все были на взводе, а ему хоть бы что, или он умел так скрывать свои чувства, не знаю. Казалось, ещё на секунду он задумался и решительно произнёс:

– З-затариваемся по полной: хлеб, консервы. . .

Мы кивали.

– Ещё лопаты нужны, – заметил Хас.

– У бати есть сапёрная, – сказал я и почувствовал, как у меня дрожат руки.

Я вдруг совсем потерял голову. То, чем я мучился в последние дни: преследование Жосана, тоска, непонятное томление – всё улетучилось. Теперь можно было наплевать на это, забыть дом, родителей, забыть эту девчонку с выгоревшей чёлкой, пушком над верхней губой, забыть её улыбку, её насмешливый взгляд. И ещё месть, месть точила во мне свои сверкающие калёные ножи. . .

– В-встречаемся через час здесь же. Кто не придёт, тот предатель! – отрезал Мишка.

– А если они уже выехали? – тихо обронил Хас.

– Да замолкни ты, Хаська, – цыкнул на него Марио.

– Ещё п-посмотрим. . . Если Егор дома, уж я сумею его задержать, а без него они не двинут, – сказал Мишка и так шлёпнул ладонью о ствол вербы, что с дерева посыпалась сухая пыльца.

Что он задумал, мы не знали, но это было что-то такое, от чего мы воспрянули духом и понеслись стремительно вверх по склону, оставляя за собой клубы пыли.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Домой я примчался около одиннадцати и столкнулся в дверях с отцом. Он стоял перед зеркалом и высматривал что-то у себя во рту. Когда я открыл дверь, он взглянул как бы сквозь меня и крикнул в пустоту коридора:

– Представляешь, Зоя, только на прошлой неделе поставил пломбу, и вот опять дырка!

– Сходи в поликлинику, – послышался мамин голос из спальни.

– Думаешь, там лучше сделают?

– Да, уж лучше твоих зубодёров в части.

– Да-а, – протянул отец, засовывая пальцы в рот, – наверное, ты права.

Когда я попытался прошмыгнуть к себе в комнату, он неожиданно спросил:

– Ты где это был?

– На тренировке.

– Врёшь, опять собак гонял с этим уголовником Гребнем. И в кого ты такой bestолковый? Нашёл себе дружков. Один – ворюга, а другой – идиот-полукровка.

– В кого, в кого – в папочку драгоценного! – отозвалась мама.

– Тоже мне, святая, одного уже воспитала, выдал он тебе вчера по первое число, забыла уже, небось?

Меня так и подмывало сказать отцу, что всё он врёт, и что Мишка – никакой не вор, а Марио – никакой не идиот. Но я сдержался.

– Мы на байдарках в поход идём, – бросил я между прочим.

– Похо-од?! – повторил с напевом отец, продолжая раздражать себе рот.

Воспользовавшись паузой, я метнулся к себе в комнату.

– Захвати штормовку, у меня ноги крутит, видимо, дождь будет! – крикнула мама.

– Какой дождь, Зоя? Жара сорок градусов! – возмутился отец.

У нас всегда так. Если один кричит, то вокруг все начинают орать, семья глухих, честное слово.

Квартира у нас трёхкомнатная. В одной комнате жили мы с братом до его поступления в институт, напротив – спальня родителей, в гостиной обосновалась Ритка. Неделю назад она уехала погостить к бабушке.

Окна нашей с Ромкой комнаты выходят в парк, который тянется вдоль берега на несколько километров. Парк старый, и тополя, липы, орехи, каштаны так разрослись, что ветви нависают над балконами многих квартир. Над балконом нашей квартиры нависали раскидистые ветви катальпы, дерева, которое цело белыми душистыми цветами весной, а сейчас, в конце августа дребезжало длинными тонкими сосульками, когда дул ветер с реки; его мясистые широкие листья затеняли окно, но даже сквозь тень чувствовались жар и духота улицы.

Я остановился, чтобы перевести дыхание, и в глазах зарябило. Осмотревшись, я заметил, что дверца секретера приоткрыта. Наверное, отец рылся в Ромкиных бумагах, «контролировал процесс», как он любил говорить, но, по-моему, Ромке это совсем не нравилось, а кому бы понравилось, скажите.

С братом у нас были самые обычные отношения. Когда я был маленький, он забирал меня из детского сада и рассказывал про инопланетян или про Египет по дороге домой. Иногда он брал меня с собой на футбол. Наверное, это были самые счастливые моменты в моей жизни.



Помню, однажды он привёл меня на футбольную площадку.

— Это что, твой брат, Ромка? Что-то он на тебя совсем не похож, цыганёнок какой-то, — ткнул в меня один тип в тельняшке.

— Да, это мой братишка. Ты не смотри, что он мал, может так двинуть, что мало не покажется. Правда, Тим?

— Ага, — кивнул я и улыбнулся своим щербатым ртом так, что вокруг все заржали.

Я не понимал, почему все смеются, наверное, я забавно выглядел в тот момент.

Представляю свою улыбку до ушей, и то, как я гордо сидел там, на скамейке, утирая рукавом нос, рядом с девчонками, которые уже ходили в школу, наблюдал, как брат гонял мяч в направлении. Он играл здорово. Он вообще всё делал здорово, не то что я. Во всём он искал смысл и правильный подход. Но это я уяснил много позже. А тогда я просто сидел на скамейке, раскачивался, зыркал на девчонок, которые сидели рядом, ветер ерошил мне волосы, оранжевый закат пылал за рекой, пыль столбом стояла над площадкой; крик, возгласы мальчишек, а я сидел, раскачивался и улыбался.

Когда я пошёл в школу, брат уже поступил в институт, и я очень гордился им. Мне стало тоскливей, когда уже в четвёртом классе всем стало понятно, что никакой я не вундеркинд, а самый что ни на есть обычный мальчуган. Но родители всё ещё пытались сделать из меня умника, отчего образ брата для меня со временем потускнел.

Закрыв за собой дверь, я присел на диван и прижал руку к груди, сердце так и колотилось, того и гляди выскочит. Первое, что я сделал — открыл секретер. В коробочке из-под часов, которые подарил отец Ромке, я хранил свои сбережения. Там было около семи рублей, бумажные пятёрка и рубль, и мелочь, копеек семьдесят. Всё это я сунул в карман шорт. Затем я достал из нижнего отделения фонарик и капроновую верёвку, — вдруг придётся куда-то взбираться. Вместо сандалий я решил обуть кроссовки. В полинявший отцовский рюкзак сложил джинсы, свитер и штормовку. Но главное, нужно было взять сапёрную лопату, а ключи от подвала висели на общей связке в коридоре. Я всё думал, нервничал, вспотел даже, стараясь изобрести, как бы мне их стащить незаметно.

Неожиданно дверь в комнату открыла мама, я так и застыл с рюкзаком в руках.

— А кто из тренеров с вами поедет? — спросила она.

Она стояла в дверях, в розовом, застиранном, махровом халате, в руке у неё была незажжённая сигарета; высокая, худая, с резкими морщинами возле носа, она выглядела уставшей. Она всегда до обеда выглядит уставшей, тормозит слегка, но зато потом начинает гонять, как Карлсон с пропеллером — хоть прячься. Я слышал, что таких людей называют «совы», они поздно ложатся и поздно встают. Думаю, мама такая.

Вопрос её не застал меня врасплох. Удивило только, что это её вообще интересует.

Когда в тот день я объявил родокам, что меня не будет несколько дней дома, их это не удивило и не обрадовало, им было всё равно, они уже давно не интересовались тем, как живет их младший сын. Оно и понятно, по сравнению с Ромкой я был ноль без палочки, паршивая овца, так сказать, но, честно говоря, меня это вполне устраивало: не люблю я, когда мать науськивает отца, и он вдруг начинает мне лекции читать, тычет под нос дневником и всё повторяет: «Ты когда, наконец, за ум возьмёшься? Ну, скажи, скажи мне, кем ты хочешь стать? Скажи, о чём мечтаешь?»

В такие минуты я обычно молчу. Мне, конечно, иногда хочется подыграть отцу и сказать, что я, как и он, хочу быть офицером. Но я молчу, что-то меня удерживает от этого вранья, потому что на самом деле я ни о чём таком и не думаю. Зачем мне всё это? Планы на будущее меня мало интересуют.

Не знаю, в кого я такой, но меня мало интересует, что со мной будет там, через пять или десять лет, и мне удивительно, когда меня спрашивают об этом. Разве можно предугадать, что с тобой будет. Разве можно сказать, о чём ты мечтаешь, один день ты хочешь одного, на другой день другого. Да и вообще, мечта — что это? Кто может ответить? Смешно, они пыгаются у меня это выпытать, а сами-то они знают? Неужели они, когда были маленькими, мечтали о такой вот жизни? Разве это была их мечта? Так мне это и даром не надо. Но что я могу ему объяснить, когда он меня спрашивает о моей мечте? Я могу только молчать. Я ещё сам толком не знаю, чего хочу. Но вот что я знаю абсолютно точно, так это то, что я никогда не буду жить так, как они. Я вывернусь наизнанку, я взойду на самую высокую гору, я стану обезьяной, но я не буду жить так!

Да, в такие минуты я обычно молчу, смотрю на отца и молчу, что я могу ему сказать. . . молчу, потому что мне жаль его. Разве это жизнь, если у тебя одна радость — драть весь день подчинённых, потом напиваться, возвращаться домой за полночь, ругаться с женой, забываться во сне, а потом наутро вновь орать: «Рота, подъём!» . . .

— С нами поедет Донченко, и ещё старшие, всего человек пятнадцать.

— А-а, — протянула мама задумчиво, — а девочки тоже поедут? — спросила она.

Чего это она вдруг спросила, мне было непонятно.

— Конечно.

— И Лера?

— И Лера, — ляпнул я вдруг и приуныл, потому что мама хорошо знала Леркиного брата, когда-то он был её любимчиком, тоже у нас в школе учился.

Теперь они иногда останавливались во дворе, чтобы перекинуться парой слов. Я это видел не раз, и честно говоря, мне это было неприятно. Я испугался, что мать и дальше начнёт выяснять, что да как. Но в этот момент зазвонил телефон.



– Зоя, тебя, – позвал отец, – опять твоя Ника звонит. О чём вы можете столько болтать?

– Иду, иду, сейчас. Возьми в подвале тушёнку. Экономят на солдатах, а сами жируют.

– Но, но, но! Ты мне брось пацана против отца настраивать. Сама жуёшь, за ушами трещит, а как это всё добыть, так никогда и не понимала.

В этот момент я готов был простить матери все придирки; я метнулся в коридор, но надо знать моих родаков: если один говорит «да», то другой скажет обязательно «нет». Только я воспарил, и тут как бухом по голове.

– А чего это мы должны ещё им жратву собирать? – возмутился отец, прикрыв ладонью трубку, – хотят детей везти, пусть созвонятся с родителями, организуют всё, как положено. Бардак какой-то. Какой у твоего тренера номер телефона? – повернулся он ко мне.

Я дрожал от отчаянья.

– Вот, возьми ключи, сынок, иди, мой хороший, – выручила меня мама. – А ты уймись, тебе здесь что, казарма?

Мама взяла у отца трубку, села в кресло в гостиной, закинула ногу на ногу, и протянула долгое «алл-о-о», будто на распевке. Иногда мне кажется, что когда-то они с подругой пели вместе в одном хоре, а потом их обоих выгнали оттуда, из-за отсутствия слуха, и вот они теперь и добирают, испытывая терпение и барабанные перепонки своих родственников.

– А, это ты, дорогая, привет! – радостно воскликнула мама и, махнув мне рукой, прикрыла дверь.

– Тыфу, заколебали! – топнул ногой отец.

Он пошёл на кухню, достал из холодильника бутылку пива, вставил бутылку в глаз, сорвал пробку, приложился, сделал несколько глотков и уже довольным голосом бросил мне:

– Ну, чего стоишь, гони, гони, вижу: пятки уже намазал. Давай, давай, чеши! Крути педали, пока не дали! Так и не понимаю, как этот финт с бутылкой у него выходит.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Часы уже пробили одиннадцать, когда с рюкзаком за плечами я выскочил из подъезда, завернул за угол нашего дома, прошёл мимо обшарпанной гостиницы «Нистру» и побежал по гравийной дорожке парка к реке.

Возле парапета меня ждал Мишка с рюкзаком, набитым под завязку.

– Смотри, у меня вот что есть! – бросил я, подбегая, и разложил сапёрную лопатку, с усилием отжав от черенка лезвие, – вот!

Отступив на шаг, я присел, подняв лопатку над головой, – лезвие так и блеснуло на солнце.

– Попробуй, подойди, попробуй! – подпрыгнул я, вращая лопаткой.

– Эй, эй, осторожно, – сказал он, отступив к парапету, – да хватит тебе, р-размахался. Подумаешь, нашёл, чем удивить.

Мишка наклонился и неожиданно вытащил из рюкзака стальной цилиндр, похожий на грузик от настенных часов. С одного конца цилиндра свисала тонкая нить из пакли.

– Ух, йо, а что это, граната? – воскликнул я с восхищением.

– Типа того.

– Ну ты даёшь. А зачем она нам?

– Тупишь, да? Т-теперь, пусть только кто сунется, – Мишка потряс в руке цилиндр, и он сверкнул на солнце, как увеличительное стекло, вспыхнул остро и ярко.

– Блин, тебе же отец башку открутит, если узнает, что у тебя есть такая штукавина. А если кто в милицию наступит?

– Плевать, ты же не наступишь! А предку по барабану всё, ему главное залиться. Только бы Егор не разнюхал.

– Да-а, – протянул я понимающе.

Об его отце я уже как-то упомянул, но и с братом Мишке повезло не меньше. «Англичанин хренов! – кричал всегда Егор, если заставал Мишку с учебником в руках. – Кому он нужен, этот твой английский, разве что тёлок прикалывать, лучше занимайся боксом, как я, мы скоро всех хлопиков, кто умняки лепит, вон, где держать будем, – подсовывал он Мишке под нос свой кулачище с набитыми костяшками пальцев. – Тыфу, соплежуй!», – сплёвывал он зло, когда тот вырывался и убегал на улицу. Да, Егор всегда дразнил Мишку и обзывал «соплежует». А зря, уж кем-кем, а им Мишка не был. И ещё однажды мне Мишка рассказал, что как-то на зимних каникулах Егор с Колой заставляли его пить портвейн, схватили за шею и попытались залить вино в рот, и Егор при этом все время повторял: «Будь, как все, будь как всё». Но Мишка так больно укусил Егора за нос, а Колу так сильно треснул носком ботинка по голени, что те потом час выли, как белуги. Так что Мишке и с брательником тоже повезло.

Часто он делился со мной по секрету: «Вот в-вырасту и уеду в Сибирь, там на реках полно золота. Нашёл самородок и живи потом, как барон. Хочешь – лови рыбу, хочешь – охоться. Никто тебя не достает. А захотел – продал самородок и поехал к друзьям в гости. Вот житуха так житуха».

Да, Мишка мне часто рассказывал о своих грандиозных планах, и я ему жутко завидовал, потому что мне и самому-то часто хотелось сбежать куда подальше.

– Тихо! К-кажется, кто-то идёт, – прижал палец к губам Мишка и неуловимым движением засунул цилиндр в рюкзак.

Мы замерли, но кроме жужжания бархатистого шмеля не доносилось ни звука, лёгкий ветерок едва колыхал ветви бузины на пригорке. От нечего делать я поднял валявшийся под ногами орех и запустил его изо всей силы в кусты. И в ту же секунду из-за них раздался отчаянный визг, а спустя мгновение вынырнул из зелени Фима — сторож, который охранял задний двор гостиницы. Он как раз возвращался с рыбалки. Мы всегда дразнили его за длинный нос, били мячом в сетку, которая отделяет гостиницу от проезда к нашему дому, поэтому у него были с нами свои счёты, и тут такое!

— Ах ты, сопляк! Ты что делаешь?! — заверещал он и, размахнувшись, швырнул в нас консервной банкой, и она пролетела буквально у меня перед носом, на миг только мелькнул перед глазами клубок червей.

Пригнувшись, мы ринулись прочь. Пробежав метров сто вдоль парапета, я налетел на двух мамаш, изнывающих от духоты под липами со своими чадами, чуть не сбил детскую коляску, и понёсся вперёд со скоростью света. Мишка далеко отстал, таща оба наших рюкзака и мою сапёрную лопатку.

— Тим, п-постой! Да остановись ты! — кричал он.

Но мне было не до того. Добежав до высоченного раскидистого каштана, за которым начинался спуск к реке, я остановился и, схватившись за живот, никак не мог отдышаться, и у меня всё время кололо под рёбрами.

Подбегая, Мишка швырнул мне рюкзак, мы перемахнули через парапет и быстро сбежали по тропинке к пещере.

— В-видел бы ты себя! — выдохнул он с шумом, когда мы остановились, и, присев на корточки, повторил несколько раз, — ну ты дал, ну ты дал! Врезал ему прямо между глаз.

— Что же делать? Что ж теперь делать?! — меня аж подбрасывало. — Фима точно настучит батё!

— Forget it, п-подумаешь, ну засветил ему разок, с кем не бывает.

— Тебе хорошо говорить, не тебя же будут распиливать!

Но Мишка выпрямился и, взглянув на меня искоса, вдруг сказал:

— Егор, хорёк, всё время ходил следом за мной, как приклеенный, всё вынюхивал, что да как. Особенно про тебя спрашивал.

— Про меня?! — меня подбросило ещё больше, — а чего про меня-то?!

— Что-то они з-задумали, Жосан их хорошо науськал против тебя, но ты не ссы, мы вместе, йёс! — вскинул кулак Мишка.

Я невольно укусил себя за ладонь, лихорадочно соображая, какую ещё подлянку приготовил Жосан.

— Ну, ничего, я зря времени не терял, теперь эти п-пряники раньше вечера не выедут.

Я взглянул на него.

— Я Егору и Коле камеры проколол, гвоздиком чик, сделал парочку дырок, п-пусть теперь п-покатаются, — объяснил он.

И вновь непроизвольно я прикусил ладонь, представив, что теперь нас ждёт.

Неожиданно в двух шагах от меня треснула ветка, и из кустов, спотыкаясь, барахтаясь в ветвях, вывалился Хас. Он надел модные отцовские солнцезащитные очки «Рэйбан» и походил на Джеймса Бонда, но только карикатурного. Очки были ему не по размеру, и он их всё время поднимал пальцем к переносице.

— Вот, — выдохнул он, бросив на землю бордовую спортивную сумку с отражателями по бокам, как у машин.

— Ты что, на к-курорт собрался? — хмыкнул Мишка.

Но Хас с невозмутимым видом выгашил из сумки молоток типа небольшой кирки.

— Вот, — повторил он, — ледоруб. Батя в молодости альпинизмом занимался. Клёвая штука.

— Да-а, — протянул Мишка, вертя в руках ледоруб, — и лёгкий же, з-зараза.

— А что ты родакам сказал? — поинтересовался я.

— А-а, ничего, — махнул Хас рукой. — Оставил записку, что ухожу искать клад.

— Ты что, мозгами поехал! — возмутился я.

— Сам ты ... — вскинулся Хас.

На голове у него торчал хохолок, как у боевого петуха.

— Эй ты, остряк-самоучка, — вмешался Мишка, — ты что, хочешь, чтобы нас ещё в г-городе накрыли? Да твой папаша устроит такую облаву, что за нами целая армия ментов погонится!

— Чего прицепились?! На дачу они уехали. Маме нужен свежий воздух. Они же мне доверяют, не то, что вам, сосунки.

— Головань, выбирай выражения, а то я тебя сейчас умою, — шагнул я к нему.

И руки у меня, правда, очень чесались. Так и хотелось въехать в его самодовольную рожу. Слишком уж он иногда выставлялся.

— Л-ладно, Тим, кончай, — удержал меня Мишка, — пожрать-то хоть взял что-нибудь? — спросил он Хаса.

— Взял, — ухмыльнулся довольно Хас и выгашил из пакета палку сухой колбасы.

— Колбасник, — презрительно бросил Мишка.

Вскоре прибежал взмыленный Марио. За плечами у него был совсем допотопный, выгоревший рюкзак, в котором что-то звякало, как кнопки в жестяной коробке.

— Вот, у Фимы позычил, — кивнул он на штыковую лопату со сломанным черенком, выкрашенным красной краской, которую вертел в руках.

— Ты что, пожарный щит взломал?! — возмутился я.



– А чего там взламывать, поддел стамеской раму, и всё.
 – Б-будет тебе и всё, – буркнул Мишка.
 – Тьфу! – сплонул я в сердцах. – Теперь Фима нас точно вложит.
 Хас и Марио уставились на нас с Мишкой.
 – Ладно, – махнул рукой тот, – отмажемся. Так, д-давайте прикинем, как поедем.
 Мы обступили его, а он присел на корточки и начал рисовать прутиком на бурой земле:
 – Вот река, мы сейчас на л-правом берегу. А вот аж где крепость.
 Мишка прочертил две параллельные линии, обозначив речку, потом вверху нарисовал шахматную туру, изобразив крепость, чиркнул линию поперёк и сказал:
 – Это типа мост, д-доедем на автобусе до крепости, обойдем её, чтобы в запретку не попасть, спустимся к реке, пару километров назад, а там и к кургану выйдем.
 – Нас спалят, – возразил я, – кто-нибудь из Колыной шайки заметит на автовокзале или в городе.
 – Или на родаков наткнёмся, – обронил Хас, почесав затылок.
 И мы с Мишкой переглянулись, догадавшись, что про своих он всё наврал. Мишка с треском переломил прутик и отбросил его в кусты.
 – Идём через сады, – предложил я. – На этом берегу есть лодочная станция, как раз напротив крепости, там возьмём лодку и переправимся.
 – Что, так просто возьмём? – спросил Хас.
 – Заплатим охраннику, он и даст лодку на сутки, я знаю, так делают иногда дачники.
 – А д-далеко топать? – повернулся ко мне Мишка.
 Я пожал плечами.
 – Километров десять, наверное.
 – Больше, – тихо обронил Хас.
 Он снял очки и тёр вспотевшую переносицу. Мне показалось, что он как-то сник.
 – Да, может и больше, – кивнул я.
 Минуту Мишка задумчиво водил ладонью по земле, потом резко поднялся.
 – Л-ладно, идём берегом, а то нарвёмся ещё. Выйдем к лодочной станции, переправимся, а там как повезёт, курган же недалеко от крепости, ведь так, Хас?
 – Да, да, недалеко, так они говорили, – закивал Хас.
 – Гульнём, пацаны! – потряс лопатой Марио.
 – Ну что, г-готовы? – обвёл Мишка нас взглядом.
 И мы с Марио радостно закивали. Хас надел очки и, насупившись, сметал пыль со своей сумки. Выглядел он подавленно.
 Вдруг я почувствовал, как нервное возбуждение вновь стало охватывать меня.
 – Тогда вперёд! – Мишка закинул себе на плечи рюкзак и начал взбираться по тропинке.
 Мы с Марио поспешили за ним, а Хас уныло плёлся позади всех.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Миновав опустевший к полудню парк, мы обогнули заброшенные склады судоремонтного завода и зашагали по размытой дождями просёлочной дороге.

Солнце стояло в зените, листва ив и верб, которые росли у самой реки, поникла, задыхаясь в парном зное. До самого горизонта тянулись яблоневый сад. Всего несколько шагов в сторону, и ты уже под сенью яблонь, и наслаждайся их сладкими, сочными плодами, вон они висят, тяжёлые, налитые солнцем, бродящими соками долгого жаркого лета. Но нет, не тут-то было, того и гляди, нарвёшься на сторожа или вдруг из-за куста выпрыгнет серый зверь и, обнюхав воздух, ринется на тебя.

Об этих сторожах болтали всякое. Будто они стреляют без предупреждения. В июле одноклассник Мишкиного брата нарвался на такую неприятность и получил солью в одно место, до сих пор отмачивается, сидит на корыте.

И всё же опаснее были собаки этих сторожей: беспородные, тупые и безжалостные дворняги. Рассказывали, что они загрызли уже не одного мальчишку. А в августе они рыскали в садах совсем не привязанные.

Сентябрь – лучшее время для набегов: урожай собран, но на яблонях ещё много плодов, много их и под ногами, подбирай, сколько хочешь; вокруг тихо и пусто, никаких тебе страхов, только тени становятся резче да воздух разреженной, и пряный запах далёких костров разносится по всему саду резким, колким воспоминанием о промелькнувшем лете. . .

Мы шли парами: впереди Мишка с Марио, позади Хас и я. Шли, с опаской и интересом поглядывая на ровные просеки между рядами яблонь. В низине лениво несла свои воды река; вода была тихая, манила своей прохладой. Уже через полчаса мы так взмокли, что разделись и шли в одних плавках, лямки рюкзаков больно натирали плечи.

Мишка был в бейсболке, Хас и Марио, как пираты, повязали на головы банданы, а я шёл с непокрытой головой, забыл свою гоночную панаму из белого джинса.

До развилки было ещё полчаса хода, когда Марио вдруг сбросил рюкзак на землю и воскликнул:

– Эй, ребзя, давайте искупаемся, жара, слохнуть можно!

Мы остановились неподалеку от баржи, которая стальными тросами была прикована к бетонным блокам на берегу. Весной здесь часто зоревали рыбаки. На рассвете, возвращаясь на гребную базу после тренировки, я видел, как из тумана выплывали их силуэты, и я всегда старался идти тихо, боясь спугнуть рыбу или зацепить лопастью весла за леску, и они всегда там сидели, как тени, застывшие, безмолвные, задумчиво глядящие на воду долгими часами в надежде поймать хоть одного карасика.

На этой барже когда-то перевозили щебень, а потом она, наверное, дала течь, и её не стали латать, а притащили буксиром и закрепили у самого берега. Как кашалот, выброшенный океанским штормом, гомоздилась она на песке; корма вздымалась над водой метров на пять, не меньше.

Я вспомнил, что в мае, когда Днестр разлился и течение под берегом было стремительное, однажды меня что-то толкнуло подойти к ней вплотную, и, упираясь руками, я даже обследовал её борт, а потом встал в байдарке в полный рост и заглядывал в щели в стыках между листами железа, из которых она была скроена, но кроме шуршащей темноты внутри ничего видно не было, а течение у борта затягивало байдарку под днище и пыталось меня вывернуть из неё.

Нос баржи лежал на отмели; во время разлива там было воды по пояс, но сейчас река обмелела, и широкий белый язык сухого песка тянулся от кустов дикого винограда до самого корпуса.

Чуть поодаль рос тополь, его кряжистый ствол, пятнистый, как шея жирафа, плавился в небесной синеве, тихо позвякивая мелким серебром листвы; несколько ив, застыв без движения в зыбком мареве, свесились над палубой.

– Может, правда, окупёмся, а? – окликнул я Мишку.

– Р-разморит, потом ноги передвигать не сможем, – откликнулся тот.

– А вот и нет, – заспорил Марио.

– Тебе-то что, блэки вон как в футбол по жаре гоняют, – поддел его Хас.

– Ты, ты, головастик, ещё раз обзовёшься, я тебе очки разобью.

– Не дотянешься, макака.

– Что-о?! Ах ты, Хаська вонючая!

– Брейк, брейк! – разнял их Мишка. – Л-ладно, разок окупёмся, – бросил он нехотя.

И минуту спустя, забыв всё на свете, мы с радостным визгом помчались к прибрежным ивам, скинули рюкзаки и с разбегу бросились в прохладную воду.

Вода была мутная и отдавала тиной. Мы отошли от баржи подальше и заплыли далеко, но сильное течение нас упорно сносило к ней.

Все кроме Хаса плавали хорошо, но он и не заходил глубоко, поплескался у берега и вылез из воды. Он сидел под ивой, бросая в нас гальку и ракушки, а мы ныряли, увёртываясь. Особенно он хотел попасть в Марио, но Марио нырял, как летучая рыба – взлёт и нырок, взлёт и нырок, – и всё время он поддразнивал Хаса:

Хас вскакивал, бросал в Марио комья сухой земли, Марио с визгом нырял, потом это повторялось вновь.

Мы ещё поплавали, поныряли, но вскоре нам всё надоело, и мы выбрались на берег и растянулись на горячем песке рядом с Хасом.

– Кайф! – счастливо засмеялся Мишка, откидывая со лба мокрые волосы.

Я взглянул на него, потом откинул голову на скрещенные руки за головой, в животе разлилось приятное тепло, я улыбнулся своим мыслям и стал погружаться в сладкую дрему, прислушиваясь к голосам друзей. Они болтали об учителях, о том, что сборная Бразилии всё равно самая сильная команда в мире, а немцам явно подсуживают, о том, что в школу в этом году идти не хотелось. Не всем, конечно. Хас, так тот уже, наверняка, вызубрил все учебники. Они болтали и дурачились и совсем забыли о том, куда мы идём. В голове у меня будто хмель шумел, как было тогда, когда я хорошо глотнул пива из отцовского стакана, и всё куда-то плыло, плыло в мерцающих золотистых бликах.

Неожиданно Хас поднялся, подошёл к воде, потом повернулся и спросил с вызовом:

– А кто-то нырял с баржи?

– Ты что, чокнутый?! – вскинулся я, вынырнув мгновенно из дрёмы. – Там же на дне сваи могут торчать, прыгнешь – и всё, а пока водолазы выловят, рыбки тебя так покусают – даже мамочка не узнает. Ты же не хочешь, чтобы твоя мамочка потом плакала из-за тебя, ведь так?

Зря я это сказал тогда. И мать его я зря упомянул. Но не думал же я, что он такой обидчивый.

А этот чудака насупился, а потом и выдал:

– А спорим, я нырну.

Мы переглянулись.

От Хаса можно было ожидать чего угодно, ещё тот типок, я вам скажу. Когда в прошлом году зимой он вступился в раздевалке за парнишку из «4-Б», я даже сумку выронил от удивления.

Как-то после урока физкультуры наш класс переодевался вместе с четвероклассниками. Иногда случалось, что мы делили с ними спортзал, а после нас был урок у ребят из параллельного класса. А у них там король Жорка Избач, жестокий такой болгарин, с кустистыми бровями, подлый тип, надо сказать.

Так вот, этот Избач стал бить в раздевалке ногой по мячу и попал в Гришку Миннаева, тихого блондинчика из «4-Б». Попал ему мячом прямо в лицо, у того аж слёзы из глаз брызнули. Ну, мы все притихли. Не то чтобы боялись этого Избача, просто не хотели с ним связываться. А ещё это было как раз тридцатого декабря – Новый год, каникулы и всё такое...



Но в этот момент наш Хас вдруг поднимает мяч, — а это был тяжёлый, оранжевый, весь покрытый пупырышками баскетбольный мяч, — и со всей дури, с ноги как запульнёт им в Избача, и вклеил ему мячом прямо в ухо, у того аж голова мотнулась. Ну, дальше началась свалка, тот бросился на Хаса, но Хас большой, его так просто не завалишь, а раздевалка маленькая, знаете эти тесные школьные раздевалки, по углам вешалки на железных стойках, скамейки вдоль стен да пару шкафов.

В общем, сцепились они намертво: Жорка прижал Хаса в угол, пытается ударить его кулаком под дых или коленом между ног, а Хас навалился на него, схватил за руки, и тот сделать ничего не может, смех, да и только. Еле мы их растащили, но этим всё не кончилось.

Условились они драться после уроков. Сколько мы не отговаривали Хаса, он не унимался, глаза эти его розовые налились кровью, прямо красные стали, честное слово.

Когда мы поняли, что Хаса уже не остановить, стали его тренировать, наперебой объясняли ему, что во время драки нужно следить за глазами противника и, главное, не подпускать его близко, использовать свой рост.

— Д-держи его на дистанции, — показывал ему Мишка.

— Главное, не дай себя свалить, — советовал Марио.

— Обуй кеды, у ботинок подошва скользкая, — учил его я.

— Угу, угу, — соглашался Хас, переминаясь с ноги на ногу, неповоротливый увалень, да и только.

Нам-то было ясно, чем всё кончится. Утешало только, что договорились драться до первой крови.

В общем, что говорить, это было ещё то зрелище. Когда мы пришли, на берегу уже собралась толпа: здесь были и малыши, и Кола с дружками, и даже выпускники прошлых лет.

Падал тихий снег, берег весь был покрыт льдяной коркой, и лёд уходил далеко в реку, но было довольно тепло, около нуля, наверное, изо рта валил пар, снежинки медленно кружились в воздухе и моментально таяли на щеках; все зрители струдились на пригорке, а бойцы спустились к реке.

С Хасом секундантом пошел Мишка, а с Жоркой — Вовка Мазур, ещё один шныра из параллельного класса, всё время отбирал у малышей мелочь.

Я заметил, что Хас был в кедах, и это слегка обнадежило. Все настраивались на долгое представление, но закончилось всё так быстро, что никто даже охнуть не успел.

Противники сблизилась с поднятыми по-боксерски руками, а потом вместо того, чтобы драться, стали вдруг о чём-то болтать. Хас опустил руки, и в этот момент Жорка вдруг подпрыгнул и зарядил ему прямо в нос, тот от неожиданности попятился, споткнулся, упал навзничь, попытался подняться, неуклюже барахтаясь, но Избача уже налетел на него, запрыгнул сверху и начал молотить со всей дури. Вскоре у Хаса всё лицо было залито кровью, даже снег окрасился ею, подскочили Мазур и Мишка и еле оттащили Жорку, он совсем взбесился и кричал с пеной у рта:

— Ты, сука, ещё только попадись мне, я тебе кадык вырву. Чучело головастое!

Что там случилось, почему Хас опустил руки и даже не пытался защищаться, он так и не сказал. Он только сидел тогда на берегу и горько плакал, размазывая снегом кровь по лицу — от обиды и своей глупости, наверное, и ещё от несправедливости. А может, и нет. Кто знает, кто знает. . . Мы его не утешали, зачем? Всё было и так ясно с самого начала.

Мы сидели рядом и бросали камешки по льду, они скользили, а потом прыгали ещё несколько раз на воде. Лучше всего это получалось у Марио. Да, а на Хаса мы не смотрели даже — сам виноват. Чего дёргаться, если драться не умеешь? Но с тех пор всем стало ясно, что он немного вольгатуемый. Поэтому, когда он заявил, что хочет прыгнуть с баржи, мы сразу поняли, что он не шутит.

Хас взглянул на баржу, потом на нас, и, хлопнув себя по толстым ляжкам, хохотнул довольно:

— Что, Марио, струсил?

— Тринди, тринди, свистун, а вот я на раз прыгну, спорим? — вскочил Марио и встал с ним рядом.

Смешно они выглядели: один — белый, как сметана, увалень-альбинос в солнцезащитных очках, другой — крепыш, со смуглой до синевы кожей.

— А что, может, проверим, или слабо? — поддел его Хас.

— Эй, а ну кончайте! — крикнул им Мишка.

— Мишка, слушай, — подскочил к нему Марио, глаза-сливы его блестели. — Давай посмотрим, хоть одним глазком, как там на барже. Ну, давай, — потянул он Мишку за руку.

— Тьфу, — сплюнул Мишка, — ну, идём.

Первым взобрался на баржу Марио. Он подпрыгнул, уцепился за борт, подтянулся на руках, и через мгновение мы услышали крик и топот на палубе:

— Ой, блин, накалилось, как на сковородке! Вот здесь ничего, — послышался его голос чуть дальше, где ивы нависали над баржей.

Мы с Мишкой втащили Хаса и стали взбираться на корму; подъём становился всё круче, и пока мы вскарабкались, я ободрал себе колено. Первым свесился с борта Мишка и восхищённо воскликнул:

— Ух ты, ну и в-высотница!

Высота была не меньше двух этажей, это уж точно. Когда я дополз и посмотрел вниз, у меня закружилась голова. Течение бурлило под днищем, с шумом разбиваясь о стальной трос, натянутый, как струна.

— Вот это да! — воскликнул Марио. — Смотрите, вон наши дома!

В нескольких километрах выселись на берегу наши девятиэтажки, за ними виднелось смотровое колесо, а на противоположном берегу длинной жёлтой полоской протянулся пляж, откуда доносились крики и смех отдыхающих, их фигурки были хорошо видны.

С лодочной станции доносились обрывки музыки, пел хрипловатый мужской голос, и мне казалось, что он поёт о том, что уже с нами было, и о том, что повторится вновь, и о том, что никогда не случится или будет совсем не так, как хотелось когда-то...

По реке носились с рёвом моторные лодки и катера, сновали буксиры в районе порта, вдалеке у гребной базы показался караван лодок, блеснула на солнце лопасть весла, потом вновь...

Я перевернулся на спину и упёрся ступнями о гнутые скобы, приваренные к крышке люка, ноги дрожали, спина чесалась и зудела. Через пару километров река делала поворот, а чуть ближе виднелась развилка, с автозаправкой и магазином.

— Высоти-ища! — восторженно протянул Марио.

Я посмотрел вниз по скату, голова закружилась, в глазах запрыгали красные точки, волосы у меня были сухие и жёсткие, как горячий ворс.

— Никто не прыгнет, — глухо прозвучал голос Хаса, — а я прыгну.

И по тому, как он это произнёс, я понял, что Хас это сделает. А ещё я животом почувствовал, что есть у него в этой затее своя цель, во всей этой авантюре, в которую мы вляпались. Что-то парень решил доказать, иначе чего он так старается, из кожи вон лезет... Но я отмахнулся, — было не до предчувствий, — и всё думал, как буду теперь спускаться, чувствуя накатывающую тошноту. Я уже стал ощупывать ногой опору, когда вдруг послышался возглас Марио, крики Хаса и Мишки. Я вскинул голову и заметил, как в воздухе мелькнули жёлтые пятки Марио — дотюкал-таки его Хас.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

И вот мы уже свесились с борта, всматриваясь в кипящую внизу воду, где трос рассекал течение и мутный поток закручивался в спираль с тугим и гулким шипением.

— Вот чудило, вот чудило, — бормотал ошалело Хас.

Мишка шлёпнул его ладонью по затылку.

— П-придурок, из-за тебя всё. Вниз, быстро!

Несколько секунд — и мы уже были на палубе, метнулись к левому борту — на поверхности воды Марио не было. Мы звали его, бегали по раскалённой палубе, обжигая ступни, — в ответ ни звука.

— Под днище затянуло, — предположил я, сглотнув вязкую слюну.

— У-у, козёл! — замахнулся Мишка на Хаса.

Тот едва сдерживался, чтобы не разреветься.

— Я же пошутил, я же пошутил... Что же теперь с нами будет? — повторял он снова и снова.

— Т-теперь ты будешь сидеть в колонии. Мы с-скажем, что это ты толкнул его, — с нажимом произнёс Мишка.

— Я не виноват, он с-сам прыгнул. Ты же знаешь, он к-крэйзи, — от волнения Хас стал сам заикаться.

— Да заткнись ты, крэйзи! — гаркнул я на него.

Вдруг он тихо стал подвывать, слёзы текли по его мокрому лицу.

Мишка, заглядывая через борт, бросил мне вполборота:

— М-может, его течением отнесло?

Я не ответил, внутри всё стянуло липким тягучим клеем. Я уже представил, как найдут посиневший труп Марио, выгашат его на берег, как санитары с пустыми лицами будут суетиться вокруг, как нас будет допрашивать милиция. Я представил, как мать Марио будет смотреть мне в глаза, и кровь ярости бросилась мне в голову.

— Ты, ты виноват, головастик! Ты всегда его ненавидел за то, что он у тебя в карты выигрывал! А ты деньги у отца тырил, я знаю, я знаю это!

Я кричал ему обидное, дикое, несуразное, нелепо размахивал руками.

— Ты сам дебил, тупой дебил, полукровка, абрек чокнутый, — услышал я, точнее, понял по губам Хаса.

Дальше всё происходило, как в тумане. Я бросился на него, — всё, что накопело за последние недели, вырвалось в бешеной ярости. Я прыгнул ему в ноги, потянул на себя, и Хас грохнулся навзничь, ударившись затылком о палубу. Но я успел его двинуть только раз, всего один раз зацепил челюсть.

Он почти не сопротивлялся и всё время повторял:

— Ты что, Тим, ты что?!

Жёлтая сетка плясала у меня перед глазами, я замахнулся, чтобы вновь нанести удар, но на плечи мне навалился Мишка и начал оттащить от Хаса.

— П-придурки, что вы делаете, что вы делаете?! Надо искать Марио, надо искать Марио! — восклицал он.

Оттащив меня, он присел на корточки, схватился руками за голову и стал всхлипывать:

— П-придурки, какие же вы придурки...

Раскалённая палуба обжигала, но мы почти не ощущали этого. Всё было кончено. Наша свобода кончилась. И в тот момент, когда рыдания вот-вот готовы были прорваться из меня, с берега донёсся пронзительный яркий свист.



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Мгновение — и, перемахнув через борт, мы с Мишкой уже мчались к тополям, под которыми стоял Марио.

— Га-га-га, — гоготал он, — ну вы даёте, ну, пацаны, вы даёте, обалдеть!

— Ах ты, гад! Счас ты у меня п-посмеёшься, — гонялся Мишка за Марио, но тот ловко уворачивался: Марио вокруг тополя — Мишка за ним, Марио между ивами — Мишка за ним. Вскоре оба свалились без сил.

И тут приплёлся Хас. Он сел в сторонке и стал обуваться. Помучился, наверное, пока спустился с баржи. Ярость ещё клокотала во мне, и обида не давала покоя, но вскоре я уже забыл о нашей стычке.

В тринадцать лет жизнь ещё не так тяжела, как двадцать или тридцать лет спустя, ещё не давит так атмосферный столб, ещё нет усталости, ещё нет замыленного прошлого, будущее ещё не ясно. Есть только настоящее, только настоящее.

Иногда, когда мне рассказывают на сеансах терапии, что нужно жить настоящим, что нужно избавиться от фантомов и теней прошлого, что нужно принять жизнь, а не покоряться фантазиям, что нужно обуздать воображение, иначе я так и останусь утопленным в шлак своих нереализованных желаний... Иногда, когда мне говорит это Василий Жосан, Василий Петрович Жосан, молодой гладкий хлыщ, с обгрызенными ногтями и косящим левым глазом, мне хочется плюнуть ему в лицо и крикнуть: «Да что вы мне тут лапшу вешаете, я что вам, придурок!? Идите вы всем...» Но я молчу, я понимаю, что лучше мне этого не делать. Слишком холодно потом лежать в розовой комнате с зеркалами и маленьким круглым окошком на потолке, слишком холодно, и затекают за спиной связанные руки.

Когда он мне пытается что-то такое сказать про моё улучшающееся самочувствие — я молчу. Но мне очень хочется ему крикнуть, что клал я на его процедуры, что я вовсе не болен, что я здоровее его в миллион раз, но только этот гад так подло улыбается, что я понимаю: он-то мне уже никогда не поверит. Никогда. И я тогда радуюсь тому, что он хоть даёт мне карандаш с тупым грифелем и разрешает писать, потому что это для меня единственная радость в этом доме с тихими, пришибленными чудиками. Это для меня единственная радость, единственная надежда...

— Там течение, а я лёгкий, вот меня и снесло, — возбуждённо рассказывал Марио.

— П-перетрухал, небось, — Мишка пригнулся, чтобы поправить лямку рюкзака, а Хас, который шёл следом, налетел на него.

— Да сними ты эти очки, Джеймс Бонд чёртов! — оттолкнул Мишка Хаса.

Но тот поправил очки на переносице и потопал дальше.

— Да нет, не успел, — засмеялся Марио, посторонившись, чтобы пропустить Хаса. — Меня как понесло, когда вынырнул, а потом раз — и встал на ноги. Ну, вылез я тихонько, спрятался и смотрю, как вы там гоняете. Вот умора!

— П-помолчал бы лучше. Один уже посмеялся, — кивнул Мишка на Хаса, затем крикнул мне, — эй, Тим, догоняй!

Я присел, чтобы переобуть кроссовок, в который набился песок, наблюдая, как они, шагая гуськом, удаляются по просёлку. Неожиданно из оврага, поросшего густым кустарником, вылетела необычная птица, перелетела через дорогу и села на ветку ивы, которая росла у самой воды. Ветка закачалась под её тяжестью, и вдруг птица открыла хохолок веером. Я хотел окликнуть ребят, чтобы они посмотрели на это маленькое чудо, но передумал, и мысли мои потекли в другом направлении.

... В то утро я поднялся ещё до рассвета, на улице было зябко и ветрено. Когда я прибежал на гребную базу, эллинги были ещё закрыты. Побродив немного между стойками для лодок, я решил спуститься к бону, сбежал по бетонной дорожке вниз, потом обогнул высокий тополь и остановился, — на боне прямо у воды кто-то сидел. Я приблизился и узнал Леру, мне показалось, что глаза у неё заплаканы.

— Привет, ты чего тут делаешь в такую рань? — спросил я и почувствовал, как застучало сердце. — Ты что, плачешь?

— Вот ещё, придумал тоже.

Но глаза у неё были красные, я-то был не слепой, пусть, думаю, говорит, что хочет, а меня не проведёшь. Честно скажу, меня всё это несколько озадачило.

— Ты что, следишь за мной? — вскинулась она неожиданно, потом поднялась, прошла мимо, даже не взглянув на меня, и стала подниматься по трапу к эллингам.

— Нужна ты мне больно, вот ещё, — бросил я ей в спину.

Она даже не обернулась.

В то утро я спустился к бону последним, подождал, пока все уйдут вниз по течению, и потом быстро пересёк реку.

Было тихо, от воды поднимался пар, волна с глухим шипением билась о высокий берег. Над горизонтом висел золотисто-оранжевый шар; лопасть весла легко рассекала блики на воде, кожа под футболкой горела, я шёл против течения спокойным, размеренным ходом. Я ни о чём не думал. Мысли куда-то улетели, растворились, исчезли. В голове растекалась приятная лёгкость и пустота.

Неожиданно я услышал сзади плеск и шум гребков. Я оглянулся. Это была она, Лерка, между нами было метров двадцать, не больше. Я ускорился, перешёл на длинный, плотный гребок, налегая всем

корпусом на весло. Она отстала, но не намного и, когда я приблизился к лагуне, в которой тренировался, была совсем недалеко от меня.

Я остановился и, поставив весло на баланс, смотрел, как она приближается.

— Ну, чего остановился? — крикнула Лерка, подплывая. — Хочешь, давай погоняемся? Или ты испугался?

— Тебя, что ли?

В горле у меня было сухо, щёки горели.

Я наклонился и проскочил под веткой ивы, которая стелилась почти по самой воде. С шумом байдарка проскользнула в сумрачную заводь, Лера последовала за мной.

Сквозь прозрачный шатёр листвы пробивалось солнце, и его огненные снопы падали на заводь, от воды поднимался пар, пар клубился между деревьями, но солнечный свет всё прибывал, прибывал, и стволы деревьев окрашивались багряным золотом, и снопы падали, пробиваясь сквозь влажный зелёный сумрак, и отражались от воды так ярко, что нужно было зажмуриться, чтобы не ослепнуть от этого блеска.

Стояла такая тишь, что слышно было, как с весла падают капли. Гомон птиц смолк, когда мы проникли в заводь, но теперь по две, по три, они вновь запевали.

Я посмотрел на Леру, она улыбалась.

— Ты чего? — спросил я её.

— Взъерошенный ты какой-то.

— Сама ты... — слова застряли у меня в горле, потому что в этот момент птица с хохлом-веером вспорхнула с ветки и села на другую, в метре от Леры. Лера медленно положила весло на деку байдарки и приложила палец к губам, я кивнул.

— Красивая какая, — прошептала Лера.

— Да-а... — протянул я.

Впервые я видел удода. И он тоже смотрел на нас с удивлением. Глаз-бусинка подрагивал в тёплом веке; он сидел настолько близко, что можно было его рассмотреть: лёгкий, утренний ветерок ерошил рыжие перья его сложенного хохла и розоватые перья на брюшке, и он суетливо поводил из стороны в сторону длинным, слегка загнутым книзу тонким клювом.

— Поймай его, поймай, ну же, давай, Лерка, давай! — громко зашептал я.

Но она и не думала меня слушать.

— Совсем как ручной, — услышал я звук её голоса, который унёс порыв ветра.

— Смотри, смотри, он сейчас улетит, — я не выдержал и дёрнулся в лодке так, что чуть не вывернулся — хорошо, что вовремя поставил весло на баланс.

В тот же миг сильный порыв ветра прошёлся по деревьям, посыпались на воду соринки, веточки, клейкие листочки, птица вспорхнула и, часто-часто взмахивая широкими крыльями, улетела. А ещё через минуту мы услышали из прибрежной чащи крик: «Уп-уп-п... Уп-уп-п». Мы сидели в байдарках, как зачарованные.

— Говорил же, хватай! — воскликнул я в сердцах.

— И что потом?

— Дома иметь такое чудо, представляешь!

— Птица должна жить на свободе. Я однажды подобрала и принесла домой выпавшего из гнезда птенца, а потом он умер.

— Так то птенец.

— А если это мама, и у неё птенцы, что тогда? Они должны погибнуть, потому что ты захотел новую игрушку, так, что ли?

— Да ну тебя, правильная ты такая, гоняться будешь?

— Что-то не хочется.

— Как знаешь, а я ускорюсь разок.

Развернувшись, я встал на старт, потом набрал полные лёгкие воздуха, воткнул весло в воду, рванул его на себя, лодка подпрыгнула подо мной, а я, задержав дыхание, всё вкапывал, вкапывал, вкапывал, ветер шумел в ушах. Не долетев до конца заводи нескольких метров, я резко притабил и развернул байдарку.

— Чемпион! — крикнула она.

Я сильно запыхался, но старался не показывать этого и, подплывая к ней, спросил:

— Слушай, а чего ты редела там утром, на боне?

— Тебе показалось, не было такого.

— Как хочешь, можешь не говорить.

Мы стояли рядом, раскачиваясь на волнах, катящихся от топкого берега, которые нагнала моя байдарка. Внезапно мне захотелось ей сказать что-то хорошее, что-то такое, отчего бы она улыбнулась, рассмеялась, и я всё силился придумать нужные слова, а они не приходили мне на ум; я как онемел. И ещё она так странно на меня смотрела: растрёпанная, в зелёной футболке, глаза сияют... Я хотел ей сказать всё, рассказать, как я всегда подсматриваю за ней из окна, когда она возвращается из школы; или когда спускается из эллинга на воду, или когда гуляет с братом по набережной, или когда она выходит на балкон и помогает бабушке вешать бельё. Я хотел ей рассказать всё, и горячая волна подкатывала к горлу, неся с собой поток всех этих слов, но изо рта у меня вырвалось совсем другое:



– Пора возвращаться.

– Да, да, конечно.

На гребную базу мы вернулись каждый своим ходом. И почему-то я больше не ходил в эту лагуну и ругал себя, и злился. И мы с ней, как и прежде, просто перекидывались обычными фразами при встрече: «Привет, – привет». И всё.

Тогда, наверное, всё и началось, и длилось почти всё лето, но потом в начале августа в наш двор приехал Жосан, и всё испортилось. Он тёрся всё время возле неё, плёл, наверное, всякое, играл на гитаре, блял своим гнусавым голосом, и я видел, как она на него смотрела, и мучался, не спал ночами, ругал себя за свою немоту, ругал себя, и не находил места, но потом это всё улеглось, как ветер в поле, и стало легче. Да, стало легче.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

У развилки, при въезде в город, находился продуктовый магазин с вывеской, на которой девушка в национальном костюме улыбалась во весь рот, подняв к лицу гроздь винограда. Стены магазина были недавно оштукатурены, дверь открывалась легко и ещё пахла свежей краской, внутри тоже пахло краской, но всё перебивал запах свежего хлеба, который только что привезли, и продавщица наблюдала, как грузчик выкладывал батоны из деревянных контейнеров на высокие стеллажи.

У прилавка стоял высокий бородатый мужчина, с рюкзаком за плечами. Он, как и мы, был в шортах и вылинявшей футболке; его сандалии стояли рядом, и он смешно потирал одной ступнёй о другую.

Когда мы с Мишкой вошли, он обернулся, скользнул по нам странным, блуждающим взглядом и спросил:

– Мальцы, подскажите, где здесь автобусная остановка?

– Как выйдете, направо, за бензоколонкой как раз остановка, – ответил я.

– А-а, спасибо, – кивнул мне мужик и позвал продавщицу, которая своим пышным телом загораживала проход, и мешала худому, как жердь, грузчику заносить хлеб, – эй, сердешная!

Но та даже ухом не повела. Тогда он позвал громче:

– Хозяйка! Дайте воды напиться!

– Вы что, не видите, я товар принимаю, – невозмутимо бросила она через плечо.

Мужик подмигнул нам и вдруг запричитал:

– Подайте сиротинушке, страдальцу бедному, подайте водицы, матушка-настоятельница.

Мы прыснули, грузчик усмехнулся, а продавщица даже рот открыла от изумления. Но слова на неё подействовали.

– Чего вам? – спросила она, подходя.

– стаканчик минералки налейте, душа совсем измаялась.

– И откуда вы такие берётесь, рядом вон с вами дети. А вы ведёте себя, как бог знает кто. А ещё отец называется.

От этих слов чудак почему-то совсем развеселился. Он хлопнул себя по ляжкам и рассмеялся. Не рассмеялся, а захохотал:

– Папа, папа! – захлёбывался он смехом.

Продавщица раздражённо поставила стеклянную бутылку «Куяльника» на прилавок заученным движением, открыла её, и вода с шипением вырвалась такой струей, что забрызгала её халат.

– Папа! – продолжал хохотать бородатый, он уже не смеялся, а рыдал.

– Ненормальный какой-то, – буркнула продавщица. – Если пьёте в такую жару, закусывать надо, – грохнула она стаканом о прилавок.

– Мария! – позвал грузчик. – Иди, в накладной распишись.

Продавщица удалилась, выпятив подбородок. Мужик одним глотком опрокинул стакан, бросил несколько блестящих монет на прилавок, взглянул на нас внимательней и вдруг спросил:

– Куда путь держите, мальцы? Клады ищете?

– Не-е, – замотали мы головами.

– С чего это вы взяли, дяденька? Мы просто тут гуляем, – выпалил Мишка без запинки.

– Ну-ну, а до микрорайона сколько ехать, не знаете? – поинтересовался он.

– Да, тут рядом совсем, – сказал я.

– Ну-ну, – проговорил он задумчиво и ещё раз оглядел нас с ног до головы.

Неожиданно он выгнул из кармана матово поблескивающий портсигар, открыл его и отсыпал себе на ладонь немного мелкого, золотистого песка.

– На, держи, – протянул он ладонь Мишке.

Золотые крупинки мерцали на ладони ярким солнечным блеском, нам казалось это волшебством. Продавщица стояла вновь у прилавка, смотрела на нас во все глаза и повторяла: «Ненормальный какой-то, точно ненормальный...»

– Держи, держи, не бойся. Зажми в кулаке, держи крепко, у тебя в руке сейчас много жизни, помни это, много жизни.

И он ушёл, не сказав больше ни слова.

Хлопнула входная дверь, мы с Мишкой выскочили следом, но он как испарился.



Тихо покачивались ветви акации у входа в магазин, неподалёку раздался звук отъезжающего автобуса.

– Мишка, Мишка, что это было? – пробормотал я.

– Бежим, б-бежим скорее.

Мы рванули к шелковице на обочине дороги, где нас поджидали Хас и Марио.

– Ну, что, купили воду? – спросил Хас.

– Вот, смотри, – протянул ему ладонь Мишка.

– Что это? – спросил Марио, пытаясь заглянуть через плечо Хаса. – Золото? Откуда? – изумлённо прошептал он.

– П-потом расскажем, валим отсюда быстро, – бросил ему Мишка.

Но Марио надулся, уселся под шелковицей и демонстративно засвистел, всем своим видом показывая, что уж он-то никуда не торопится.

Честно говоря, тяга Марио к кладоискательству иногда зашкаливала. Часто он сам рисовал карты на клочках бумаги, потом в одиночку рылся в развалинах на набережной, иногда находил там что-нибудь полезное типа печной заслонки, глобуса или ствола от охотничьего ружья, но чаще это была какая-то уж совсем незначительная мелочёвка.

Надо было видеть, как Марио, и так от рождения чумазый, а от сажи и копоти дымоходов становившийся совсем как трубочист, притаскивал шкатулку с облупленной краской, как он прыгал, пытаясь её открыть, чуть ли не зубами, обламывая ногти, топча её пяткой, стуча по ней молотком, потом, наконец, вскрывал её с помощью стамески и под наши смешки находил там кнопки или катушки с нитками, но иногда и пуговицы, – а это уже было богатство, потому что на пуговицы мы часто играли в карты.

Марио жаждал золота, это была его мания, и когда он увидел у Мишки на ладони золотой песок, то даже посерел и стал похож на грустного мопса. В этом была насмешка, несправедливость жизни – кому-то всё, а кому-то дырка от бублика.

Мы с Мишкой переглянулись, он пожал плечами.

В этот момент слегка подул ветер, затрепетала листва, и несколько свернувшихся от зноя, буро-жёлтых листьев, медленно планируя, упали на шоссе и, чиркнув об асфальт, улетели на обочину. Духота усилилась, но мы совсем забыли о том, что хотели пить.

– Стоп. Вспомнил, – хлопнул вдруг себя по лбу Мишка. – Это же Леркин батя.

– Что-о? – протянул я удивлённо.

Марио, прикидываясь, что ему всё равно, стал насвистывать ещё громче.

– Точно, это он, я в-видел его на фотке.

– Где? На какой фотке? – удивлённо спросил я, голос меня не слушался.

– Она сама показывала мне альбом с фотографиями у себя дома!

– Ты бывал у неё дома? – тихо произнёс я.

– Да, а что?

Мишка растегнул застёжку бокового клапана на рюкзаке, достал пустую коробку из-под обувного крема и невозмутимо сыпал туда золотой песок.

– Её отец же где-то в Турции, – заметил Хас.

– Вернулся, наверное, – обронил Марио, подходя.

«Что-то тут не так», – подумал я и попытался вспомнить лицо этого мужика, и оно мне показалось действительно знакомым, чем-то неуловимо напоминающем лицо Леры. Но мужик был лысый, с бородой, старый, как дед. И всё же что-то говорило, что Мишка прав. Но тогда почему мы его никогда раньше не видели? Во всём этом была тайна.

Я стал вспоминать, что слышал об их семье, но это меня ещё больше запутало, что-то не складывалось. А главное, чего это он вдруг нам отсыпал золота, и как он может вот так разгуливать с золотом, да его могут в два счёта накрыть, тот же Шеф со своей шпаной, например. Странное волнение вдруг охватило меня. Но сейчас не было времени разбираться с этим всем, и я сказал, берясь за рюкзак:

– Слушайте, надо торопиться, смотрите, где солнце уже.

– Пить хочется, – уныло произнёс Хас.

– Здесь недалеко родники, – ободрил я его, вскинув рюкзак на плечо.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Быстрым шагом мы обогнули бетонную стелу, на которой бронзовыми буквами было выбито название нашего городка, и вновь повернули к реке. Мы шли по тропинке, петляющей между валунами, изредка поглядывая из-под ладони на солнце, которое уже зависло над противоположным лесистым берегом, касаясь его своим пламенеющим диском.

Ласточки летали над водой, почти задевая её крыльями, и то и дело с протяжным швирканьем ныряли в норки, под самый карниз обрыва, в тени которого мы двигались.

Ветер налетал горячими порывами, а потом затихал в прибрежных зарослях. Небо нависало, как отполированный лист стали; давление усилилось, отдаваясь пульсацией крови в висках и растекаясь жидким маревом над просёлком.

У водокачки мы рухнули на красно-коричневую, выгоревшую траву; короткие пожухлые стебли царапали потную спину, а тут ещё налетели мухи. Но больше всего нас донимали оводы, они злобно гудели, и я всякий раз вздрагивал, когда вдруг слышал такое гудение над головой.



В ложбине между просёлком и рекой на заболоченной луговине паслись коровы, – вокруг них и носилась целая туча мух, слепней и оводов. Коровы смотрели на нас грустными глазами и задумчиво хрустели травой, пуская слюни, а пастух щёлкал длинным бичом, изредка покрикивая на них: «Гай-да, гай-да! Репеде!»

Коровы мычали, переходили с места на место, скользя копытами в топкой поросли у берега, а некоторые даже взобрались на просёлок и не хотели уходить оттуда.

– Ну, где твои родники? – спросил Хас, лоя ртом горячий воздух.

Я поднялся и, пошатываясь, пошёл к реке.

Недалеко от водокачки – каменного бокса, из которого выходили алюминиевые трубы, качавшие воду из реки для полива, из-под мелкой гальки били родники.

Опустившись на колени, я стал пить ледяную сладковатую воду, от холода у меня даже заньли зубы. Я забыл о товарищах и всё пил и пил, потом окунул лицо, и дрожь пробежала по телу, когда тоненькая струйка потекла по спине, – я охнул, вскочил и, фыркая, начал трясти головой.

– Эй, идите сюда! – позвал я.

Первым подошёл Марио, за ним Мишка; они одновременно припали к прозрачному блюдцу, в котором пульсировал родник, и, спеша напиться, стукнулись лбами.

Хас терпеливо ждал в стороне, вид у него был жалкий. Когда Мишка и Марио напились и растянулись в блаженстве на песке, у кромки берега, подошла очередь Хаса. Он сразу окунулся в родник с головой, а когда отвалился от источника, довольно улыбнулся. На дальнем берегу, прямо напротив нас мальчишки купали лошадей, слышались их голоса, ржание. Мы с восхищением наблюдали, как ловко и смело они обращались с этими крупными, грациозными животными.

– Ах ты, холера, я вот тебя! – вновь щёлкнул за спиной бич.

Пастух в клетчатой кепке отгонял корову, которой, видимо, тоже захотелось напиться из родника, но она упиралась, мычала и не хотела вновь идти к стаду.

Тогда он потащил её за верёвку на шее, но та ни в какую, и вдруг верёвка оборвалась, и корова понеслась на нас.

– Бык! – крикнул Марио.

Все бросились врассыпную. Все, кроме меня.

– Ти-и-м!!! – услышал я ещё пронзительный возглас Мишки.

Но через мгновение перед собой я вдруг увидел нависающую слонявую морду, раздувающиеся ноздри, рога, отливающие оловом; я почувствовал, как горячей медью забило дыхание, сдавило под самое солнечное сплетение, как тонкие иглы прошили низ живота, но хуже всего было то, что ноги у меня одеревенели, я не мог двинуться с места, я просто окаменел.

«Конец», – жажнула мысль, как огонь из хлоплушки, в голове зазвенела пустота, и я увидел, как сквозь увеличительное стекло: трепещущие ноздри быка, клещей, которые застряли в его шкуре, жёлтую слюну, которая стекала у него по губам, ещё я успел заметить краем глаза летящий сбоку сверкающий цилиндр, яркую вспышку, потом что-то грохнуло, меня отбросило в сторону горячим порывом ветра, потнулась морда с рогами, и гудящая темнота обрушилась и засыпала меня отвалом багровой земли.

Очнулся я оттого, что кто-то бил меня по щекам.

– Эй, мальй, ты жив? – услышал я сквозь пурпурную пелену.

Небритое лицо пастуха заслонило надо мной небо. Он положил свою мокрую кепку прямо мне на голову.

– Солнечный удар, наверное, – издали прозвучал голос Хаса.

– Давайте отнесём его в тень, – предложил Мишка.

Не помню уже, сколько я пролежал под вербами, может, полчаса, а может, меньше, но я ещё долго не мог прийти в себя, меня знобило, во рту пересохло, подрагивали руки и ноги, в голове мутилось, и всё плыло вокруг в нескончаемом хороводе.

Но спустя какое-то время я оклемался. Пастух нас ни о чём особо не расспрашивал, ему не до того было. Он ещё долго собирал коров, которые разбрелись по берегу, а потом погнал стадо на пойменный луг, что тянулся в низине. Марио даже выклянчил у него пару сигарет. Мишка намочил бейсболку и, не выжимая её, как это сделал пастух, нахлобучил мне на голову. Себе он повязал майку, сделав что-то вроде тюрбана, которые носят бедуины. Выглядел он клёво, не то что я, но вскоре я поднялся, и мы двинулись дальше.

Вскарабкавшись из ложбины на просёлок, мы обогнули выступ берегового откоса и вновь вышли на открытое пространство, где до самого горизонта расстилались яблонево-яблоневые сады.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Солнце уже клонилось к горизонту, когда мы остановились на привал:

– Если не успеем до заката переправиться, придётся заночевать на этом берегу, – сказал я.

– Нет, надо с-сегодня переправиться, – взглянул на меня Мишка.

Лицо его было серьёзно.

– Этого хомяка наверняка уже ищут, – кивнул он в сторону Хаса. – С-соврал, что родители уехали, да, Хасюра?



– Муха, ты чего, я что – больной? – отозвался Хас, который переобувал кроссовки.

– Да врёт он, – повернулся к нам Марио. – Отдувайся потом за него, лошака. А может, он вообще нам про клад наврал. А, Хас, чего замолк?

Хас густо покраснел и запустил в Марио кроссовкой, но тот увернулся и рассмеялся:

– Мазила.

– Нет, там что-то может быть, – заметил я между прочим.

– А ты откуда знаешь? – удивился Хас.

Он так и застыл с другой кроссовкою в руке.

– Слышал, как отец с братом спорили об этом кладе.

– Так это правда? – подскочил ко мне Марио.

– Что правда? – отчего-то вдруг разозлился я.

– Ну, что там сокровища и всё такое?

– Не знаю, отец уверен, что захоронение где-то есть, ему сослуживец рассказывал, но брат говорит, что это тупфат, слухи.

– Во даёт, а чего же ты молчал? – нервно спросил Хас.

– Тебя проверял, – произнёс я с вызовом.

– А про курган, про курган они говорили? – Хас так и впился в меня взглядом.

– Нет, ничего, – соврал я.

Внутренний голос мне вдруг шепнул: «Молчи». И я смолчал. Будь что будет, решил я.

– Да, Т-тим, а ты не прост, – шлёпнул меня по спине Мишка, – и Лерка всегда говорила: «Тим скрытный, никогда не знаешь, о чём он думает».

– Да чихал я на неё, тоже мне фифа.

– Ты же бегал за ней пол-лета. А-а, покраснел. Жених! А-а, покраснел, покраснел! Жених и невеста, тили-тили тесто! – стал дразнить меня Марио.

От смущения я замер, а потом кинулся на него, но Марио ловко проскочил у меня под рукой и спрятавшись за Хаса, толкнул его на меня и, пока я освобождался из объятий, он перемахнул через просёлок и скрылся под деревьями сада.

Я рванул за ним, забыв даже обуться, пахота врезалась мне в ступни иссушёнными комьями земли, веточки хлестали по лицу, иногда под ноги попадались перезревшие, распаренные на солнце яблоки и, пару раз поскользнувшись, я чуть не грохнулся со всего маху на землю, но вскоре я отстал и, пробежав по инерции несколько метров, перешёл на шаг.

Внезапно Марио остановился и сделал мне знак рукой. Я присел под яблоней, прильнул щекой к тёплому шершавому стволу и стал осматриваться. Мы углубились в сад на метров двести, не меньше. Вдруг Марио прыгнул с просеки под ближайшее дерево.

То, что я увидел впереди, заставило меня покрыться холодным потом. По просеке к нам навстречу бежали две кавказских овчарки, никакие не беспородные дворняги, а самые что ни на есть овчарки с обрезанными ушами. Они останавливались, время от времени принохивались, их маленькие уши подрагивали от напряжения. Я уже хотел взобраться на дерево, как вдруг кто-то закричал из глубины сада: «Несси! Несси!». И один из псов остановился, раздумывая, бежать ли дальше. Мне казалось, что он смотрел прямо на меня. И я буквально сросся с яблоней, впаялся в её шершавый, кряжистый ствол, и повторял про себя всё время слова Маугли, которые запали мне в душу с самого детства: «Мы с тобой одной крови, ты и я!».

Что сказать, эта бестия наверняка меня видела, но может, подействовало заклинание, а может, окрик хозяина. Постояв ещё минуту, пёс развернулся и ленивой трусцой стал удаляться; второй, по виду щенок, помочился под куст, а уже потом побежал следом за первым. Наверное, нас спасло то, что ветер дул от берега, – а иначе конец, порвали бы нас они на куски.

Спустя мгновение я припустил так, что деревья замелькали, как за окном поезда, но Марио всё равно обогнал меня. Только показались передо мной его смуглые лопатки, и вот, через несколько вдохов он уже далеко впереди.

С громкими визгами мы вылетели из сада и, скатившись по склону оврага, вновь оказались на берегу.

Хас и Мишка о чём-то спорили. Заметив нас, они замолчали.

– Они там, они там, – задыхаясь, пропищал Марио.

– Кто, кто? – схватил его за плечо Мишка.

Но Марио мотал головой и не мог выговорить ни слова.

– Они там, они там, мы их видели, – выдохнул, наконец, он.

Я откинулся на спину, ловя ртом горячий воздух, потом приподнялся на локтях и закивал:

– Огромные, как кабаны, наелись человечины!

– Да кто, кто? Толком скажите, – заволновался Хас.

– Кавказские овчарки, две, огромные, – сказал Марио.

– Йес! – шмякнул Мишка кулаком об коленку. – Значит сторожа здесь, супер! Дойдём вон до того мыса, – Мишка показал на полоску желтого песка на излучине реки, – и сократим путь через сад.

– Не-е, – заблеял Марио, – я пас.

– Струсил, да? – навис над ним Мишка.

– Видел бы ты их, я бы тогда посмотрел, как бы ты запоёшь, – поддержал я Марио.



Хас молчал, как всегда выгадывая, что лучше.

— А-а, как хотите, — махнул рукой Мишка.

Теперь мы шли вдоль самой кромки воды, здесь было не так жарко. Гудели оводы, предзакатное солнце слепило, густое марево стелилось над рекой, и всё тонуло в зыбком, тревожном мираже.

Звуки на реке стихли, даже ласточки, которые беспокойно носились над водой, куда-то исчезли, и парило ещё сильнее, будто тот, кто проливает с неба на людей дождь, решил повременить — пусть, мол, ещё потерзаются.

Когда мы добрались до поворота, где берег выдавался мысом, а песок был цвета стужённого молока, мы так устали, что едва ноги передвигали.

— Ну, что, так и б-будем плестись по солнцепёку? — сплюнул на песок Мишка.

Марио и я угрюмо переглянулись. В этот момент подошел Хас. Обессиленный, он рухнул на песок и лежал, разбросав руки в стороны.

— Всё, больше не могу, — просипел он.

Неожиданно мы услышали недалеко звук мотора.

— Это нас ищут, — ляпнул Марио.

Похватав вещи, мы спрятались в кустах дикого винограда. По реке с рокотом и гулом пронеслась моторка. На ней сидели парни и девчонки, их смех разносился далеко вокруг, отражаясь эхом от обрывистых берегов.

— На пикник едут, — погладил затылок Марио.

— Да, сегодня же суббота, — согласился я.

— Эх, наверное, шашлыки будут жарить... — вздохнул Хас.

Я услышал, как он шумно слотнул слюну, и у меня самого забурчало в животе.

— Да з-заткнись ты, — осадил его Мишка. — Жосан с Колой тебя поймают, точно шашлык сделают. Н-надо двигать через сад, а то мы доваландаемся тут.

Все прежние байки про сторожей и их собак, которые казались только выдуманными историями и не более, теперь стали реальностью, и страх был реальностью; я буквально физически ощущал, как что-то давило мне на грудь и запирало вязкой слюной дыхание. Но то, что сильнее страха, гнало нас вперёд, какая-то более властная сила, более сильная жажда... Что? Если бы я мог объяснить это себе тогда, если бы я знал, наверняка всё сложилось бы иначе.

Теперь впереди шли Мишка и Хас, а мы с Марио позади, мы-то видели уже их. Невольно я цепко осматривал все ближайшие деревья, выбирая самое удобное, на случай, если вдруг придётся на него залезть.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Нам повезло — это был сад, где рос белый налив, урожай собрали ещё в конце июня, поэтому вряд ли здесь рыскали зверюги с обрезанными ушами. Напрягал только сумрак. Косые лучи заходящего солнца едва золотили верхушки деревьев, и хотя деревья были невысокие, ветви крон густо переплетались, и от этого сумрак сгустился.

Вдоль просеки валялись разбитые ящики, мёртвая листва и сломанные веточки. На многих яблонях листва пожухла и свернулась от зноя. Тишина обволакивала, и я всякий раз вздрагивал, когда кто-то из товарищей наступал на ветку, и она с треском ломалась, шёлкая сухим выстрелом.

Мишкин задор иссяк. Он притих и, озираясь по сторонам, быстро шёл вперёд. Следом, не отставая, шагал Хас; бордовая спортивная сумка била его по колену, и, чертыхаясь, он поднимал её выше к бедру.

В дремотной вечерней неге мирно гудели пчелы. В воздухе разливался душистый аромат цветения и пряный запах дыма от костров, на которых жгли ботву.

Неожиданно с ветки вспорхнула белобокая птица с чёрной головкой и понеслась над деревьями.

— Сорока, — тихо произнёс Марио.

За ней с лёгким трепетом пронеслась стайка воробьёв.

Мишка обернулся и спросил:

— Что, страшно?

— Угу, — отозвался Марио.

— Тихо, — поднял руку Мишка.

Сорока, которая только что перелетела на соседнее дерево, беспокойно застрекотала, потом вновь перемахнула на другую яблоню. Мы уже хотели дать дёру, когда вдруг услышали в тишине гулкое, протяжное кукование. «Угу-угу», — доносилось из глубины сада.

Мы замерли и стали считать, загнав дыхание. Кукушка прокуковала всего три раза и стихла. Это был очень плохой знак. Долго мы ещё стояли, напряжённо вслушиваясь, но больше не раздалось ни звука.

— Идём скорее, — сказал Мишка, — т-темнеет.

И действительно, сумрак уже окутывал нас, и за стеной деревьев начали двигаться смутные тени. Мне выпало идти последним, и я всё время оглядывался, не гонится ли кто-нибудь за нами, и то и дело мне казалось, что за спиной вдруг осыпалась земля или треснул сучок, но хуже всего было то, что мне постоянно чудилось, что в воздухе носится едва уловимый запах псины, и я останавливался и подолгу всматривался в сужающуюся даль просеки, а потом ускорял шаг и невольно натякался на Марио, который шёл впереди.



В какой-то момент деревья вдруг расступились, и на прогалине мы увидели деревянный вагон на колёсах. Марио попятился и так больно наступил мне на ногу, что я вскрикнул.

Хас метнулся под яблоню, а Мишка присел и делал нам знаки, чтобы мы ушли с дороги. Долго упрашивать нас было не нужно, мы шмыгнули с Марио под деревья. В это мгновение я ему позавидовал, потому что наши силуэты белели в сумраке, как привидения, а его не было видно, только белки глаз сверкали.

Мишка снял рюкзак и, пригнувшись, в два прыжка оказался у вагона. Привстав на цыпочки, он заглянул в окно, вскоре мы услышали его свист, свистел он не так, как Марио. Мишка свистел звонко, как настоящий разбойник, до костей пробирало.

— Эй, хватит прятаться, идите сюда! З-здесь нет никого! — крикнул он.

Это был рабочий вагон на колёсах, каких много разбросано по полям и садам. В таких обычно прячутся от дождя, отдыхают во время посевной или уборки, ночуют сторожа или хранят инструмент.

Внутри виднелся силуэт панцирной кровати с железными стойками, белела тумбочка; в углу возле двери валялось несколько пар резиновых сапог.

— Ну, что, отдохнём? — предложил Мишка.

— Давно пора, хоть по бутеру съедим, — откликнулся Хас.

Мы скинули рюкзаки. Внутри было душно, и стоял резкий запах пролитого уксуса.

Втроём мы откинулись на кровать. А Марио уселся на ящик, прислонившись к двери плечом.

— Марио, доставай хавку! — окликнул его Хас.

Марио молчал, он всё также сидел не оборачиваясь, уставившись в сумерки.

— Марио, эй, на, в-возьми, — протянул ему Мишка кусок хлеба с сыром.

Но Марио даже не шелохнулся. Мы переглянулись. Среди нас он был самый бедный, а по сравнению с Хасом, так совсем нищий, носил круглый год одни ботинки, а на школьные вечеринки не приходил, стеснялся, принарядиться ему было не во что. Да и трудно, наверное, когда ты не похож на всех, и в тебя постоянно тычут пальцем. Одно дело — когда можно прошмыгнуть по коридору на перемене и — опять в класс, где тебя знают, и совсем другое — когда вся школа собралась в актовом зале, и все глазают на тебя.

Мишка поднялся и вновь протянул Марио бутерброд. Но Марио гордо отвёл его руку в сторону.

— М-марио, ты нам нужен сильный, понял?

Мишка положил бутерброд на дверную раму, и тот забелел в сумраке.

— Тим, — позвал он меня, — идём р-разведем дорогу, может, цистерну с водой найдём.

— Только недолго! — крикнул нам Хас вдогонку.

Мы вышли из вагона, а реки дул слабый ветерок, духота спадала. Мы шли почти ощупью между деревьями, на фиолетовом бархате неба загорались багряные цветы вечерней зари.

— С-слушай, Тим, так это правда, там действительно что-то есть?

— Не знаю. Может, и есть. Ромка с отцом так спорили, что чуть не подрались, а потом Ромка уехал, и я не успел ничего выяснить толком.

— Да-а, наверняка что-то есть. Не зря Кола так завёлся. У этого типа нюх. Только бы они не проболтались Шефу.

— Будут молчать. Они же понимают, что тогда им шиш достанется.

— Нет, Кола растриндит, сто пудов.

— Что же делать? — спросил я и съёжился, представив, какой у Шефа острый кадык, и как он противно сплёвывает, когда курит.

— Н-надо переправиться сегодня, но с ними далеко не уедешь.

— Да чего ты, нормальные пацаны.

— Увидишь, к-как до дела дойдёт, удерут, как зайцы. Это не с баржи прыгать. Это деньги. А за деньги, знаешь, что люди делают?

— Что?

— Живём закапывают — вот что!

— Да ну?!

— Вот тебе и «да ну-у».

— По-моему, здесь нет никакой цистерны поблизости, — сказал я после паузы.

— К-конечно, нет.

— А куда же мы тащимся?!

— Я х-хотел поговорить с тобой, мало ли что. Постой, — схватил вдруг он меня за руку, — обещаю, что не брошу тебя, чтобы не случилось!

— Да обещаю, конечно, больно, отстань, — затараторил я, пытаясь вырвать занемевшую руку, как из клещей.

— Нет, ты п-поклонись, что будешь со мной до конца.

— Да клянусь я, клянусь, вот пристал! — вырвал я, наконец, занемевшую руку. — Идём обратно, а то заблудимся, смотри, как темно уже.

— М-матерью поклонись! — напирал Мишка.

— Вот достал, клянусь матерью! — крикнул я, и вдруг совсем близко раздался протяжный вой. Вой



раздался в шагах тридцати, не больше. Это был даже не вой, а стон, так мог стонать только раненый лев или тигр, или какой-нибудь другой зверь размером с большую дикую кошку. Вой перешёл сначала в хрипение, потом в рык, поднялся в долгой натужной ноте и вдруг оборвался и затих с жутким бульканьем.

Не прошло и нескольких мгновений, как мы с Мишкой были уже возле вагона, втолкнули туда обалдевших Хаса и Марио и забаррикадировались, подперев дверь кроватью.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Едва мы успели перевести дух, как возле двери остановились двое, с ними был ещё кто-то. Мы слышали тяжёлое прерывистое дыхание, а потом раздался хриплый скулёж, и этот третий стал царапать когтями о дверь.

– Слушай, Викуля, а ведь дверь была открыта, – раздался голос мужчины. Язык у него заплетался.

– Да ну тебя, нализался, так совсем память отшибло. Павловна, наверное, ещё днём закрыла, зря только пёрлись, – раздражённо ответила спутница.

– А я тебе говорю – открыто было!

В этот момент из пасти твари, что была с ними, вырвался сдавленный рык, она всей своей тушей прыгнула на дверь, и стены вагона содрогнулись.

– Ты чего, Несси, взбесилась, что ли! – прикрикнула женщина.

– А ну, давай вместе толкнём, – предложил мужик.

Под напором их тел дверь заскрипела, но не поддавалась. Вчетвером мы толкали спинку кровати так, что искры сыпались из глаз.

– Дай-ка фонарик, – попросил он.

Руки у меня ходили ходуном, Марио толкнул меня в бок и зашипел: «Звиздец!». Хас едва сдерживался, чтобы не заорать. Один Мишка сохранял спокойствие.

Послышались шаги под окном, и неожиданно Марио сиганул под кровать, а Хас отшатнулся в дальний угол. Мы с Мишкой прижались к стене под зарешёченным окошком.

Яркий луч фонарика начал шарить в темноте, выхватывая куски комнаты из мрака. Вот он попал на лицо Марио, и тот весь сжался, закрыл глаза, потом открыл, потом вновь закрыл.

– Японский городской, да тут кошка! Вот Несси и бесится так, сейчас мы её, голубушку, достанем! – радостно воскликнул мужик.

– Да откуда тут кошка, Сёма, ты чё? – возмутилась его подруга и громко икнула.

– Чтоб меня украл, вон она, так и мигает зенками. Иди, сама посмотри.

Луч фонарика вынырнул из окна, и мы вновь услышали скрип, дверь стала поддаваться, ноги скользили по полу, я почувствовал тошноту, но сильно закусил губу и терпел.

Хас забился в угол. Марио лежал под кроватью и только бльмал своими подфарниками, дверь заскрипела сильнее. Но и на этот раз нам удалось её удержать.

– Вот падла! – ругнулся мужик.

– Хватит, хватит, а то замок сломаешь, Павловна потом тебе точно башку оторвёт.

– Не оторвёт, – мужик вновь навалился, закричал, – ну, давай, открывайся, ну же, давай! – закричал он в насадном усилии.

Я пнул ногой Марио, и он упёрся снизу в дверь руками. И вдруг собака зарычала так злобно и заскребала лапами порожек так яростно, что внутри у меня всё оборвалось, и, будто вместо меня, кто-то мои губами зашептал: «Фас, фас, фас!». Мишка удивлённо косил на меня глаза, но я, как заведённый, продолжал шептать, и тот, кто всем правит, услышал меня.

– Несси, а ну отстань, чего прицепилась! Отстань, сбесилась совсем! Забери её от меня! – заверещал мужик.

– Несси, пошла вон, я вот тебя сейчас, ах ты гадина такая! – прикрикнула на собаку женщина, но тут теперь было не остановить.

Мы затаили дыхание.

– Убери её от меня, убери! – визжал мужик, видать, хмель с него как рукой сняло.

Неожиданно в углу тихо стал подвывать Хас, но Мишка крепко зажал ему рот ладонью. Из рта Хаса доносились булькающие звуки, наверное, он был на последнем издыхании.

– Тварь такая, зачем ты её с собой взяла? – обиженно воскликнул мужик.

– Зачем, зачем, чтоб такие обормоты, как ты, не приставали.

Возникла пауза, нарушаемая только недовольным ворчанием псыни.

И в этот момент выкинул фортель Марио.

– Мяу, – вдруг жалобно раздалось в темноте.

– Слышишь, я же говорил!

– Да-а, похоже, кошка, – удивлённо протянула женщина.

Где-то вдалеке послышался лай, потом ещё.

– Это Лос, мамку кличет, проголодался, наверное, – добавила она.

Пёс, который был за дверью, радостно ответил, пасть у него была метра два, не меньше.

– Ну что, пойдём ко мне? – спросила она.

– Что-то не хочется, ещё заметит кто.



– Тоже мне, мужик, а мне вот не стыдно.
 – Тебе-то что, ты разведёнка, а меня потом родственники жены со свету сживут.
 – Тыфу, тряпка! Связалась с трусом, хлебай теперь, – бросила она в сердцах.
 – Я к тебе не вязался, дура, сама пришла.
 Раздался звонкий шлепок, потом грозное рычание.
 – За что, за что? – обиженно причитал мужик.
 – Сам знаешь, идём, давай, а то сейчас прикажу, и Несси тебе кой-чего отгрызёт.
 – Полюбились, значит, хорошо... – протянул тот упавшим голосом.
 Собака теперь рычала без умолку.
 – Ладно, не бойсь, – подбодрила его подруга. – Идём, Несси. Ну, чего упрямышься!
 Но эта голодная тварь не хотела упускать добычу. Ведь она-то знала, кто внутри. Вновь дверь содрогнулась, заскребли когти, и вой обрушился на нас таким ужасом, что я перестал слышать сердце, оно куда-то ухнуло и пропало; и вдруг раздался совсем другой стук – это у меня стучали зубы.
 – Да стегани ты её, покажи, кто хозяин, – голос мужика теперь звучал глухо и просительно.
 – Ага, покажи! Дворянкам своим показывай. Это же кавказец. Раньше воспитывать надо было, когда шенок был. А мне ж дали, когда ей было три месяца, уже тогда злая была, как смерть. Ещё неизвестно, кто хозяин.
 – Говорят, собаки на хозяев своих похожи, – тихо буркнул мужик.
 – Да ладно тебе, Сёма, ты чё, обиделся? Ну, давай я тебя поцелую. На, держи поводок. Да не бойсь, не укусит, а я за ошейник потяну. Ну, Несси, давай, пошли!
 – Я эту кошку, сволочь, точно завтра кастрирую, – ругнулся мужик и пнул ногой дверь напоследок.
 – Да ну её. Наверное, Павловна приبلудную пожалела.
 Послышались кряхтение, ругань, рычание, потом, наконец, звук удаляющихся шагов. Голоса стали тише, и ещё раз вдалеке в небо взметнулся леденящий вой.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Над ухом монотонно гудел комар, давно уже досаждавший нам. По тишине, которая обволакивала, я понял, что на землю опустилась ночь, опустилась быстро и неожиданно. Сдавленно всхлипывал Хас в углу. Он там сидел на корточках, как наказанный, и всё не мог успокоиться.
 – Что, струсили? – громко прошептал Мишка.
 – А я что, я ничего, – промямлил Марио, – я подпирал дверь, ты же видел, Тим, ты же видел! – повернулся он ко мне. – Если бы вломились, да я бы зубами, слышишь, да я бы сам зубами в него вцепился, в этого пса, да я бы порвал его в клочья!
 – Я же говорил – нужно идти берегом, – шмыгал носом Хас.
 Он, как всегда, ловко всё перевернул.
 – Да з-замолчи ты там! – оборвал его Мишка.
 – А если они вернутся?
 – Будем драться.
 – Ага, ты слышал, как она рычала? Да ты первый ноги сделаешь! – взвизгнул затравленно Хас.
 – Что-о! – зашёлс от гнева Мишка. – Да ты, ты, Хаська вонючая, з-забился в угол, как клоп, пока мы с Тимом за вас отдувались...
 – Кончайте, – сказал я. – Надо сматываться.
 Стащив тумбу, мы отодвинули кровать к стене; я рванул дверь и почувствовал, как пахнуло свежестью и ароматом сада. На небе сняли созвездия, вдалеке слышался собачий лай, стрекотали звонко сверчки. В небе низко плыла луна, были видны кратеры и лунные горы; просека была ярко освещена.
 – Они, наверное, пошли туда, – кивнул Мишка в сторону огоньков селения.
 Ветер приносил запахи сжигаемого жнивья, сена и ещё чего-то неуловимо-сладостного, как пахнет только сахарная пудра. Вновь послышался яростный, захлёбывающийся лай.
 Вскоре мы уже неслись между деревьями. Ветви хлестали, мы падали, зарываясь в рыхлую почву, поднимались и вновь бежали. Мне всё время казалось, что кто-то за нами мчится, и это ощущение гнало и гнало вперёд. Один раз я налетел на ствол яблони и так грохнулся, что искры из глаз посыпались, но это только на мгновение остановило меня, ноги сами подняли с пахоты и понесли.
 Сколько мы бежали, уже не помню. Помню, в какой-то момент силы меня покинули, и я остановился и долго стоял, держась за ветвь яблони, а когда выпрямился, между деревьями блеснула водная гладь, и, спотыкаясь и увязая в рыхлой пахоте, я побежал на этот блеск и вскоре свалился на влажный песок рядом с Марио.
 Спустя мгновение из темноты появился Мишка, он шёл спокойным шагом, насвистывая.
 – Мишка, а Мишка, – окликнул я его, отдышавшись, – может, вернёмся, погладим собачку?
 – У-ух, здорово мы их, да? – послышалось в ответ.
 – Да-а, – протянул Марио, – я бы этого пса сам бы загрыз, правда! А как я мякнул? Мяу, мяу... – если бы не я, нам бы крышка.
 – Он загрыз, Тим, слышишь? Да ты, к-как мышонок, забился под кровать. А этот тип тебя принял за кошку. Умора!



Мы смеялись, подкалывая друг друга. Тихо накатывала на берег волна, от воды несло запахом тины и цветущего камыша. После бега тело горело, а в глазах ещё мелькали деревья. Я обтёр с подбородка солоноватую кровь, которая сочилась из уголка рта. Саднила царапина на щеке, но я не обращал на это внимания. Никогда, никогда ещё я не был так полон отваги.

Мне было так хорошо и я совсем забыл, что где-то у меня есть дом, что в воскресенье от бабушки придет Ритка, что во дворе у меня появился враг. Я забыл о Лере. Всё вылетело из головы, как шелуха, унесённая ветром. Я лежал на песке, слизывал с губ кровь и смотрел на мигающие созвездия, на огромный серебряный шар луны, который медленно, раскачиваясь, плыл в небе, и сердце моё плыло и таяло в тихой радости.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

— А где Хас? — спросил Мишка.

— Он бежал за мной, — сказал я, приподнявшись на локте.

— Опа! — вскочил Марио, — пропал парень.

Мы прислушались: из сада доносилось стрекотание сверчков да приглушённый собачий лай.

Вдруг Мишка хлопнул себя по шее с такой яростью, что я вздрогнул. Убив комара, он его зачем-то понюхал и ругнулся:

— Чёрт, сколько их здесь? Идёмте, — бросил он нам.

Не успели мы сделать несколько шагов, как в ложбине между просёлком и садом наткнулись на Хаса. Он лежал ничком и плакал, ревел, можно сказать. Я ещё никогда не видел, чтобы кто-то так надрылся.

— Ты чего, Хася, ты чего, п-парень, успокойся, — Мишка присел рядом и хотел погладить его по затылку, но Хас отмахнулся и зарыдал ещё сильнее.

Я взглянул на Марио, тот пожал плечами. Во тьме казалось, что он ухмыляется.

Улыбка у него, как у нефритовой кошки, которую привёз брату товарищ из Египта. Когда он улыбается, у него правый уголок губ поднимается, а левый опускается, — выходит прямо усмешка, а не улыбка. Кажется, что он усмеяется, а он, может быть, как никогда серьёзен. Так многие попадают.

Да, так вот. Стоит этот чужак, улыбается, а Мишка колдует над Хасом:

— Ты чего, п-парень, ты же мужик, не плачь, — говорит ему, а сам нервничает, да и я нервничаю, и Марио...

Неприятное это зрелище, когда кто-то плачет. Хочется всегда уйти куда-нибудь или сделать что-то, чтобы не слышать плача. Мне как-то не по себе всегда, когда плачут малыши, а тем более сверстники — это огорчает меня, очень огорчает.

— Вы меня бросили, — выдавил, наконец, Хас с обидой и вновь затрясся от рыданий.

— Во даёт, да мы сами дра-а-а...

— Драпали, как зайцы, — помог Мишке Марио.

— Вы, вы все меня ненавидите! — воскликнул вдруг Хас. — А ты, ты больше всех! — бросил он мне.

— Я?!

Честно скажу, я опешил. Хас лежал возле сучковатой коряги, которую вынесло течением во время паводка; видно, споткнулся об неё и упал, — нас рядом нет, вот и разнюнился.

— Да брось ты, Тим в-всегда за тебя. Ты чё, гонишь? — Мишка слегка плёпнул Хаса по плечу, — давай, поднимайся.

У меня в голове крутились разные мысли, но они не складывались в одно целое. Я не понимал, почему он так зол именно на меня, почему?

— Дебил, — буркнул Хас.

И тогда я толкнул его, сделав подножку, и Хас вновь очутился на земле.

— Кто, кто дебил? — тряс я его.

— Да пошел ты, дебил! — извивался подо мной Хас, он крепко держал мои руки, а тут ещё навалились на плечи пацаны.

— Дебил, дебил, пошёл ты... — хрипел Хас. — И Лерка всегда мне говорила: «Он чокнутый, чего ты ним водишься?».

При этих словах я разжал руки, и мы втроём — Марио, Мишка и я — полетели на землю. Дыхание у меня перехватило, я плохо соображал, что делаю. Я поднялся и медленно поплёлся к реке. У меня вновь треснула губа, и по подбородку текла кровь, боль усилилась, но мне было наплевать.

Я стоял по шиколотку в воде, смотрел на дальний берег, — и неожиданно всё сложилось в чёткую картину. Я всё понял и вспомнил всё. Я вспомнил, как Хас отводил взгляд, когда я рассказывал о Лере, как у него ломался голос, когда он говорил мне обычно: «Подумаешь, что в ней особенного, тоже мне ещё фифа». Я вспомнил, как у него покрывались щеки пунцовыми пятнами, когда он ругал её, как он смотрел на неё, когда она выходила к доске. Вот дурак! А я ещё делился с ним своими тайнами! Теперь всё было ясно.

Подожёл Мишка, тоже умылся и, смешно растягивая слова, спросил:

— Ч-чего кидаешься на него?

— А чего он обзывается?



– Ты сам п-привёл его к нам, – произнёс Мишка задумчиво и добавил, – а ведь я говорил, что он слабак.

– Пожалел.

– Он т-тебя не пожалеет. Ладно, – положил он мне руку на плечо, – идём.

– Долго мы ещё валандаться тут будем? – подскочил к нам Марио. – Пока мы тут крYSISмся, Жосан уже всё загрёб!

– Подожди, – отстранил его Мишка. Так, д-давайте миритесь, – подтолкнул он меня к Хасу.

Тот отвернулся. Но Мишка повторил настойчиво:

– Миритесь, пацаны.

Несмотря я протянул Хасу руку. На какое-то время рука повисла в воздухе, а потом я почувствовал его мягкую влажную ладонь, и я пожал её, испытывая при этом гадливое чувство, будто взялся за тёплое дерьмо.

Мишка довольно кивнул и спросил меня:

– Тим, далеко до лодок ещё?

– Вон, за камышом лодочная станция, – показал я вдаль.

В этот момент луна вынырнула из облака – и на изгибе реки, пригибаясь под ветром и купаясь в серебристом сиянии, показался камыш. Камыш шелестел с особым треском. На реке поднималась волна, и нужно было торопиться, если мы хотели попасть на другой берег, пока не разыгралась непогода. Ветер усиливался, но для нас это было блаженство. Духота спадала, и мы наслаждались ночной прохладой. На землю посыпались первые капли росы, и вскоре трава под ногами стала влажная, а листва в саду отсвечивала дымным жемчугом.

Вскинув рюкзак на плечо, я пошёл в сторону белеющего под луной просёлка даже не оглядываясь, чтобы проверить, идут ли они за мной.

Окончание повести читайте в следующем номере.

АРКАДИЙ ЛЬВОВ

РЕНТГЕН рассказ

Был май. Был вечер. Один из тех одесских вечеров, которые своей вязкой духотой и тягучестью делают весомым невесомое и осязаемым неосязаемое. Эти вечера западают в душу, пропитывают мозг тошнотворным настоем акации; и осенью, когда льют бесконечные дожди, или зимой, в приевшиеся уже всем морозы, они вспоминаются как то, ради чего стоит жить, и даже сама жизнь не может, кажется, быть ничем, кроме как именно вот этим вечером с его тягучестью и вязкой духотой.

Ленивые, мордатые одесские коты, распластавшись на чахлой траве тротуарных газонов, правят, по здешнему жаргону, доходную, то есть издыхают, и по этой причине решительно плюют и на собак, и на людей, и даже на голубей, раскормленных, медлительных и беспримерно глупых.

А очнувшись, коты внезапно начинают кататься по траве, остервенело, отчаянно, как их сородичи, упившиеся валерьянкой. Потрёпанный уличный пёс, породистые предки которого напропалую грешили с дворянками, невидящим дурным глазом следит за котами и предупредительно тянется к обочине тротуара, когда кот очумело выкатывается с газона.

Вытолкнутые из своих углов с продавленными, скрипучими диванами, сидят у ворот старухи. Тупо уставившись на прохожих, они вспоминают весну, которая была пятьдесят или семьдесят лет назад. Они вспоминают весну, которая была так давно, что её уже нельзя отличить от сновидения, от грёз в сумерки или мгновенной bestолковой радости, ударяющей в самое сердце. Они не говорят, они молчат, эти старухи, потерявшие счёт времени, одурманенные весной, её мучительно-сладкими запахами, раскормленными голубями и хмельными мордатými котами, потрясающе похожими на боцманов с угольщика «Эмеранс» и арбузного буксира «Орион».

Приликая к асфальту, злобно шипят троллейбусы на спуске Кангуна. Из-под Греческого моста навстречу шипящим троллейбусам выползают цементовозы с цистернами, длинными, серебристыми, как азростаты.

Прежде, лет двадцать пять назад, здесь ходил узкоколейный трамвай. А ещё раньше, лет за двадцать до трамвая, здесь была конка-фургон на рельсах. Фургон тащили лошади – большей частью две, а иногда четыре.

Навстречу конке из-под Греческого моста лихо выскакивали дрожки с фонарями по обе стороны от козел. Кавалеры, покручивая пшеничные усы, по-кавалерийски заглядывали в лицо дамам, а дамы хохотали легко, весело, звонко, как теперь уже не хохочут.

А ночью дамы бросались с Греческого моста на булыжную мостовую, которая была внизу. Бросались, говорят, потому, что смеяться уже не хотелось, а без смеха – какая жизнь! Греческий мост приобрёл тогда дурную славу моста самоубийц, его так и называли – мост самоубийц. Чтобы вернуть ни в чём не повинному мосту, с которого открывался прекрасный вид на Таможенную площадь и море, его доброе старое имя, отцы города вкупе с полицией возвели на мосту трёхметровую чутунную ограду. Ограда эта стоит и по сей день – очень аккуратные трёхметровые пики, связанные поперёк чутунными рейками.

В одном квартале от моста, у самого начала спуска, особняк потомственного негоцианта Пападато. Окна особняка обращены к морю, которое без труда просматривается сквозь решётчатую ограду моста.

Теперь в этом особняке детская больница – амбулатория и стационар. В амбулатории есть отдельный ход для здоровых детей, а в стационар, который, собственно, и называют больницей, ход только со двора. Тяжёлые красные ворота его постоянно заперты, и переговоры неграждённому мира с нянечками и сёстрами ведутся через окошечко, пропиленное в калитке.

Дети, даже больные, даже очень больные – это всё равно дети. Улучив момент, они взбираются на подоконники, распахивают настежь окна и встают во весь рост, держась за оконные переплёты и приоткрытые форточки. Разумеется, это строжайше запрещено, и зазевавшиеся нянечки получают жесточайший нагоняй от дежурного врача, а тот, в свою очередь, – от главного.

Но каждый вечер, едва с юга и запада потянутся тёплые весенние ветры, повторяется история, древ-

От редакции: Без сомнения, имя Аркадия Львова и его творчество известно широкому кругу ценителей литературы. Вместе с тем, считаем, что перепечатка рассказов А. Львова в журнале «Южное Сияние» уместна и необходима, поскольку это – важная часть общей картины одесской литературы, а молодое поколение благодаря журналу получит возможность познакомиться с творчеством писателя.



ня, как мир: маленький человек в больничной полосатой пижаме рвётся из последних сил, напрягая своё ревматическое сердце, свои поражённые астмой бронхи, навстречу ветрам.

Каждый вечер под окнами, в той части мира, которая не ограждена, стоят женщины и мужчины, чаще женщины. Они приходят сюда, потому что не могут сидеть дома, потому что надеются узнать что-то такое, чего не узнали днём. И ещё потому, что вдруг оборвалось в недобром предчувствии сердце. В недобром, невыносимо тяжёлом, как земля с её расплавленной магмой, предчувствии.

Повидавшись с детьми, на несколько часов они освобождаются от гнетущих предчувствий и перед уходом вдруг становятся опять теми самыми взрослыми, основное назначение которых — порицать людей за шалости. И теперь уже не робко, как с минуту тому, не тихо, а во весь голос они бранят маленького человека в больничной пижаме за то, что он взобрался на подоконник второго этажа. А маленький человек недоумевает, потому что в этом стремительном перепаде интонаций улавливает нечто нарочитое, противоестественное и, спрятавшись на мгновение, тут же выставляет стриженую голову с огромной, как у Буратино, от уха до уха, улыбкой. Сделав два-три ложных шага, взрослые внезапно возвращаются и грозятся пальцем или кулаком, свирепея, кажется, уже по-настоящему.

Обычно взрослые уходят одновременно, почти одновременно. И почти всегда напутствуемые скрежетом захлопывающегося окна: это нянечка показывает им, что по-хорошему с ними никак нельзя, что другого обращения они не заслужили и что ей за них одни только неприятности от дежурного доктора.

И, ускоряя шаг, взрослые убеждают друг друга, что в сущности она права, что другого обращения они не заслужили, потому что кому хочется иметь лишние неприятности из-за меня, из-за вас или этой вот женщины, которая спряталась за деревом.

Лишние неприятности, ясное дело, никому не нужны, но сегодня они мертвы, эти слова о лишние неприятностях, сегодня они просто слепок с тех других, живых слов.

Когда окно захлопнулось, когда подоконник опустел, женщина вышла из-за дерева. В правой руке она держала клетчатую сумку — зелёная, красная и синяя клетки. В правой — теперь, когда она вышла из-за дерева, а раньше она держала её обеими руками перед собой.

Женщина смотрела в чёрные с блестящими чёрными стёклами окна и ждала. Распластавшийся за кустом буксов кот запрокинул голову. Его зубы, белые, блестящие, с чёрными просветами, были обнажены. Обернувшись, женщина видела эти зубы — гнутые клыки и ровный ряд резцов распластавшегося кота. Изредка кот подёргивал лапой.

Смотрите, дети, вот лапка лягушки. Если через эту отрезанную лапку пропустить гальванический ток, лапка оживёт. Это потому, детки, что лапки мышца под действием тока сокращается. Такой опыт вы можете проделать дома сами. Для этого надо только поймать лягушку, отрезать у неё лапку и пропустить через эту лапку ток.

Женщина напряжённо глядявалась в распластанного кота. Лапа кота должна дрогнуть. Обязательно должна. Смотрите, ещё мгновение, ещё одно только мгновение... Залдержав дыхание, женщина подалась вперёд — и кот вздрогнул, весь вздрогнул.

Женщина улыбнулась, и улыбалась до тех пор, пока прохожие были далеко и не могли видеть её улыбки.

А потом она смотрела в чёрные блестящие стёкла и ждала. Не улыбаясь, не оглядываясь. Ждала молча, неподвижно, запрокинув голову.

А потом вздрогнула сумка. И тогда, застигнутая врасплох, женщина тоже вздрогнула, торопливо, испуганно озираясь.

Из-под Греческого моста выкатил троллейбус. Под колёсами его с треском, с шипением лопались рыбки пазыри. На углу троллейбус остановился. Вытолкнутые из нутра машины на тротуар люди вздыхали — чересчур громко, чересчур облегчённо, с той резкой подчёркнутостью, которой отмечены чувства здешних людей, рассчитанные на зрителя. На понимающего зрителя.

Женщина стояла неподвижно, опустив голову, с силой прижимая руки к бокам, как будто опасалась этих проходивших мимо неё людей. А люди проходили далеко.

Темнело. В палате зажгли свет, и стёкла, только что чёрные и блестящие, как полированная лава, стали обыкновенными оконными стёклами, лишёнными своего цвета.

Услышав щелчок выключателя, — она услышала его в тот самый миг, когда зажётся свет, — женщина вздрогнула. Сейчас в окне появится человек семи лет в больничной пижаме. Он обязательно появится, он не может не появиться, потому что он знает: когда зажигается свет, надо подойти к окну. Если няня в палате, надо просто поднять руку; если няни нет — надо взобраться на подоконник.

В окне появилась рука, пальцы руки сжимались и разжимались — жди. Хорошо, сказала женщина. Хорошо, хотела сказать женщина.

Потом он встал на подоконник, подёргал задвижку и отбросил правую створку.

— Мама, — сказал он, свесив голову, — это ты?

Да, кивнула женщина, ты же видишь.

— Мама, я разбил термометр.

Хорошо, кивнула женщина. Ну-ка, подыми голову, я хочу посмотреть на тебя.

— Мама, я соврал, это Вовка разбил термометр.

Хорошо, кивнула женщина, только подыми голову выше — я хочу посмотреть на тебя.



Он поднял стриженую свою голову с огромной, как у Буратино, от уха до уха, улыбкой.

Он всегда улыбался так, он и раньше, когда был совсем здоровый, улыбался так. Только тогда он ведь был здоров, и эта его улыбка – это его тогдашняя улыбка. И он запомнил её, эту улыбку, и теперь показывает эту улыбку ей, потому что она сказала ему: ну-ка, подыми голову, я хочу посмотреть на тебя.

– Пахнет акация, – сказал он.

Да, кивнула женщина и, оглядевшись, прошептала одними губами, без голоса:

– Рент-ген?

– Мама, этот кот дохлый?

Нет, покачала женщина головой, нет и, растягивая губы, повторила:

– Рентген? Как рент-ген?

– А голуби уже спят?

Да, кивнула женщина, спят.

– А почему этот не спит?

Не знаю, кивнула женщина, не хочет – не спит. Я спрашиваю: как рентген?

– Мама, почему ты так тихо говоришь? Не бойся, няня ушла.

– Рентген? Я спрашиваю: как рентген? Рентген, – повторила женщина, – я спрашиваю: как рентген?

Теперь она уже не шептала, теперь она произносила слова отчётливо, как человек, которому вдруг стало безразлично, услышат его посторонние или не услышат. И одновременно с этой решимостью, с этим безразличием к чужим глазам и чужим ушам она ощутила безмерный страх.

Смотрите, дети, вот лапка лягушки. Если через эту лапку, которая была лягушкой, пропустить гальванический ток, лапка оживёт. Это потому, что лапкина мышца под действием тока сокращается.

Это так интересно, дети, это так интересно. Ах, так интересно!

– Мама, я же просил, говори громче, ничего не слышно.

– Рентген, как рентген? – кричала женщина, а мальчик не слышал, и другой мальчик, который стал рядом с ним на подоконнике, тоже не слышал. И тогда женщина крикнула изо всех сил, и они услышали эти слова: рентген, как рентген?

– Рентген? – сказал мальчик. – Я не знаю, доктор не говорил. Доктор говорил: плёнка мокрая, надо подождать. Мокрая, понимаешь.

Да, кивнула женщина, понимаю. А зачем, зачем она, плёнка? К чему плёнка? Чтобы узнать, что всё ещё хуже? Или – лучше?

Но ведь это неправда, лучше не может быть, может быть только хуже. Но ведь это невозможно, чтобы было хуже. Хуже – это значит больше того, что уже есть. Разве может быть больше, чем есть? Ещё больше?

Если через эту лапку, которая была лягушкиной, пропустить ток, лапка оживёт. Обязательно оживёт. А если нет? Если иначе, зачем же пропускать ток? Для того и ток, чтобы вернуть жизнь, чтобы дать жизнь.

– Мама, я пойду, я хочу полежать.

– Хорошо, иди, – кивнула женщина.

Уходя, он улыбался. Это была его улыбка, та, прежняя улыбка. Но теперь это была уже другая улыбка, потому что нос был другой, глаза другие. Потому что было другое лицо.

Из-под Греческого моста лихо вылетали дрожки с фонарями по обе стороны от козел. Кавалеры, покручивая пшеничные усы, по-кавалерийски заглядывали в лица дамам, и дамы хохотали. Ну и хохотали дамы, когда кавалеры заглядывали им в лица!

А ночью дамы бросались с Греческого моста на булыжную мостовую, которая была внизу. Бросались, говоря, просто потому, что надоело смеяться.

Женщина остановилась слева. Слева, если стать спиной к морю. Прижимаясь к чугунным пикам чугунной ограды, она смотрела. Светились окна – бесшумно, как светящиеся краски. Напротив, лицом к морю, стояли двое. Эти двое – он и она – тоже смотрели. Целовались и смотрели. И закрывали глаза.

Прижавшись к ограде, женщина закрыла глаза. Сумку она поставила на чугунную рейку, связавшую поперёк трёхметровые пики.

Доктор Ай-Болит летал в Африку, чтобы тащить бегемота из болота. Чтобы лечить зверей. Мама, а где он живёт, доктор Ай-Болит?

Надо найти доктора. Профессора. Надо ехать в Москву. В Москве есть профессор. Она покажет ему рентген. Он подержит его перед лампой и скажет: ничего страшного.

На Москву каждый день два поезда – в тринадцать пятьдесят и семнадцать сорок.

Медленно, на тормозах, под мост уходил троллейбус. А потом на асфальт, где только что был троллейбус, упала сумка.

– Женщина, у вас упала сумка.

Два поезда в день: в тринадцать пятьдесят – скорый, в семнадцать сорок – пассажирский.

СУД рассказ

Я сказал ей:

– Не надо.

– Нет, – сказала она, – надо. Передвинься на моё место, я сяду за руль. Или...

– ...или ты уйдёшь?

– Да, уйду. Ты не смотри, что я улыбаюсь – я на самом деле уйду. Ты же знаешь, что я могу уйти.

– Знаю, – сказал я, передвигаясь вправо, чтобы она могла сесть слева, где руль.

Положив руки на руль, она рассмеялась, поцеловала меня в шею, под челюстью, и объяснила:

– Я люблю, когда ты послушный.

Она объясняла мне в сотый раз: это всё штучки из романов, будто женщина любит железную руку. Правильно понимали женщину миннезингеры и трубадуры: рыцарю нужна была железная рука только на ристалище, чтобы в другое время и в другом месте дама его сердца могла полнее насладиться властью над своим Ричардом.

– Ладно, – сказал я, – поехали. Только будь осторожна – тридцать километров, не больше.

– Послушай, – сказала она очень серьёзно, – да ты ведь трус. Ты боишься...

Она не сказала, чего именно я боюсь, а просто ткнула мне в лицо свои шофёрские права:

– Видишь? И, кстати, я ещё инженер.

– Перестань. Я прошу тебя: тридцать километров – здесь больше нельзя, здесь сплошные повороты.

– Зиг-заг, – протянула она, – зиг-заги. Ужасно люблю это слово. Зигзаг – это как отравленная стрела вождя команчей. Правда?

– Правда, – сказал я, – но шестьдесят километров здесь нельзя.

– Перестань ныть, ты надоел мне. И не отвлекай меня.

Дорога петляла отчаянно: через каждые полтора-два метра – поворот. И какой! Она бежала самой себе навстречу, отклоняясь градусов на тридцать, ну самое большее – тридцать пять. И вдобавок вся была обсажена двухметровыми кустами серебристого лоха, который здешние жители называют дикой маслиной. Людей почти не было. За четверть часа мы обогнали четырёх человек, и ещё трое попались нам навстречу. Эти люди, все семеро, отходили с гудрона на потрескавшуюся после дождя и тридцатиградусного солнца тропу и здоровались, когда на мгновение мы оказывались вровень с ними.

– Деревня, – смеялась она, – милая: деревня. Знаешь, я бы хотела жить в деревне. Но при одном условии.

Она не говорила, при каком именно, она ждала моего вопроса: ей надо было убедиться, что мне действительно интересно это – при каком условии она хотела бы навсегда поселиться в деревне.

– При каком же?

– Чтобы всегда светило солнце. Вот как сейчас. Чтобы дикая маслина была всегда такая серебристая. И чтобы люди здоровались, как эти – очень серьёзно. Постой, кто так здоровается?

– Дети.

– Нет. Дети не так. Вспомнила – старики. Только не ворчливые склеротики, а добрые старики, у которых детские глаза.

Она ничего не говорила о других условиях, и мне хотелось напомнить ей, что не все деревни застроены сплошь коттеджами, что по воду, случается, надо ходить за версту и, кроме того, бывают ещё полевые работы, бывает осень, зима, ранняя весна и – беспросветные дожди. Впрочем, насчёт дождей она оговорила: обязательно надо, чтобы всегда светило солнце. А ночь? Ну ночь, понятно, должна быть разновидностью солнечного дня: месяц, звёзды, циклады, лягушки.

– Полнее выжимай тормоз у поворота.

Я сказал «полнее», как будто она хоть сколько-нибудь пользовалась им. Она посмотрела на меня широко открытыми глазами, а потом, уводя глаза, чуть-чуть приспустила веки. Она всегда смотрит так, когда презирает меня – за лицемерие, за трусость, малодушие или что-нибудь другое в этом роде. В общем, она права: я ведь знаю, отлично знаю, что она не пользуется тормозом. Зачем же прикидываться?

– А почему ты ничего не рассказал мне о тяготах деревенской жизни? Почему? А? Я ведь представляю себе деревню, как все городские дурочки.

– Нет, на четвёртом курсе тебя посылали в колхоз. Убирать кукурузу. И виноград.

Я мог бы ещё вспомнить, что она показывала мне тогда свои коричневые, как будто вымазанные йодом, кисти с чёрными нитями в фалангах. Эти нити нельзя было снять даже пемзой. Кроме того, на ладонях и предплечьях у неё было десятка полтора заноз – чёрных точек, которые надо было выковыривать иголкой. От иголки оставались красивые оспинки с рваными краями.

Синяя стрелка, как истончённая рука паркинсоника, лихорадочно дрожала между шестьюдесятью и семьюдесятью. На повороте меня круто бросило влево, а она рассмеялась и сказала: «Гопля! Держись, милый!». Бессмысленно было доказывать ей, что только чудом мне удалось удержать своё тело, в котором без малого пять пудов. Вмгновение я почувствовал, что вот эти самые пять пудов немедля снесут её, прошибут дверь слева и... и ноги мои, в том месте, где голень сходится с бедром, приросли к дивану. Минут пять ещё после этого ноги деревенели в судороге, а потом, когда прошла судорога, зачастили в мелкой и нудной, как массажный электровибратор, дрожи.



Теперь у неё было отличное настроение. Не стало, наконец, этого, как с иллюстрации или кинопробы, прищура, который ей самой так отвратителен, что просто нелепо было бы давать ему ещё оценку со стороны. Накануне настроение у неё было никудышное. Ну, никудышное — это ещё верх дипломатического такта: сама она пустила в оборот испанский термин — гуано. Я поправил её — гуано, — но она вдруг взорвалась: уж своё-то настроение она как-нибудь без помощи коллектива окрестит.

Между прочим, когда у неё портится настроение, она неутомимо ищет повода для сражений. И сражение нужно дать ей непременно, чтобы она убедилась, что у неё есть своё мнение, которое на самом деле её, а не моё или... в общем, главное всё-таки — не моё.

За поворотом пошёл прямой кусок дороги километра в два. Стрелка спидометра уже не дрожала: она миновала зенит и настойчиво клонилась вправо, подбираясь к ста десяти. Я поднял стекло, потому что три или четыре камешка уже отметились у меня на правой щеке. Я вздрагивал, а она смеялась и говорила мне слова с уменьшительными и ласкательными суффиксами. Я терпеть не могу эти слова, но, произнося их, она выжидательно смотрит на меня, и я изо всех сил держусь на нейтралке. В конце концов, она не выдерживает и говорит мне: «Молодец! А я бы не выдержала — я бы дала ей по морде». Вздор, конечно, но она действительно убеждена, что речь идёт не о ней самой, а о другой — и против этой другой мы заодно.

В общем, она хорошо держала машину, и, если бы не метеоритный дождь, очумело лупивший машину снизу, было бы то же, что на укатанном асфальте, — натужное гудение и монотонная, усыпляющая вибрация.

Были какие-то мысли, но не цельные, от сих до сих, а клочковатые, никак не связанные между собой, а если и была между ними какая-то связь, то надо было ой-ой сколько переворосшить, чтобы найти её. Мелькнули шофёрские курсы, на которые мы ходили вместе. Потом трёхцветные шариковые ручки — эти ручки, полдюжины, наверное, наша группа подарила преподавателю, потому что накануне экзамена прошёл слух, что он страстный коллекционер авторучек и, кроме того, какой-то его приятель из автоинспекции — тоже фанат авторучек. Потом вдруг я услышал её слова — про Дарвина и Павлова, которые считали себя психастениками. Прежде о психастениках говорили, что они люди с ушиббинкой, теперь — с комплексом неполноценности. Я хотел возразить, но вслед за этой мыслью пришла другая: вернись и проверь, заперты ли двери. И потяни кверху ручку — ручка была не дверная: рядом с ручкой торчали коричневая труба и газовый счётчик.

У неё безукоризненный профиль — безукоризненный, когда её и не её волны интерферируются без остатка. Интерференция волн — образ покоя, который она придумала для себя сама. Впрочем, для неё это, пожалуй, не просто образ, а физическая реальность, в которую она и меня норовит втиснуть. Если же втиснуть не удаётся или бывает чересчур трудно, она, смотря по настроению, вспоминает то доктора Гильотена, то Прокруста, который не был доктором. И смеётся.

На ста пяти стрелка оцепенела.

— Сто пять, — сказал я.

Она не ответила. Собственно, что она должна была ответить — да, сто пять? — или просто сбавить скорость? Ведь я-то хотел этого — сбавить скорость.

— Секунд через двадцать поворот.

Она кивнула головой: вижу. Я почувствовал свою левую ногу — нога тянулась к акселератору.

— Надо беречь резину. Сбрось газ.

Она улыбнулась. Ладно, прошло во мне, пусть будет что будет. Это «ладно» было из сна, когда мы сами даём себе советы, как стороннему, второму лицу.

Наконец, стрелка поползла вверх. Когда она остановилась против семидесяти, я услышал голос:

— Ну что? Ты жив ещё?

Семьдесят после ста — черепашая езда. Но семьдесят на повороте — скорость. Об этом надо помнить, об этом надо хорошо помнить, потому что ощущения при минус-перепаде скоростей лгут. Во всяком случае, полагаться на них и на правила безопасности одновременно — невозможно.

Она повернула на семидесяти, не сбрасывая газа, — меня опять нещадно потянуло влево, но я крепко держался правой рукой за угол дивана — я ухватится за него метрах ещё в ста от поворота, потому что тогда уже даже самые крутые тормоза не совладали бы с инерцией машины.

Опять пошёл прямой кусок — с километр, наверное. Стрелка полезла вправо.

— Сто, — сказала она. — Кто дал тебе право опекать меня? Кто?

Мне никто не давал этого права, и у меня никогда не было в нём нужды. Я никогда не говорил ей ничего такого, чего не сказал бы самому себе. Я не знаю, откуда она взяла это — будто мне хочется опекать её. Нет, я никогда не говорил ей ничего такого, чего бы не говорил самому себе или не позволил сказать ей.

— Кто? — повторила она.

Волны — её и извне — интерферировались без остатка, она была сильна и уверена, потому что пустила мои опасения, тьфу, как перекаати-поле, и теперь хотела раз и навсегда покончить с этим — моей опекой.

— Кто? — повторила она в третий раз.

Я не знаю, как нужно доказывать, что трамвай — это именно трамвай, а не бегемот. Я скандально теряюсь в таких случаях, потому что, кроме очевидного, никаких доказательств у меня нет. А этого очевидного, оказывается, недостаточно другому человеку.



– Трамвай – не бегемот, правда? – сказала она очень спокойно, потому что интерференция в этот раз была на диво полной и устойчивой.

– Перестань, опять поворот. Нельзя отвлекаться.

– Скажи, – теперь она смотрела мне прямо в глаза, она всегда так смотрит, когда требуется правда без недомера, – скажи, тебя никогда не удивляет, что мы два года вместе и, чем чёрт не шутит, возьмём и поженимся?

Я должен был сказать ей: да, удивляет, потому что отношения людей, всякие отношения – плохие, хорошие или даже те, которые так себе, – всегда немножечко удивляют меня. Я должен был бы ещё объяснить при этом, что ничего странного здесь нет, что всё в норме, потому что в человеческих отношениях всегда бывают какие-то неясные пункты. Да, и надо было ещё обязательно вспомнить, что симпатии и антипатии почти никогда, а может, и вовсе никогда не существуют в чистом виде. В общем, чтобы выдать правду без недомера, потребовалось бы ещё полчаса разговора по шестидесяти слов в минуту минимум.

– Нет, – сказал я, – не удивляет.

– Да-а? – протянула она.

По-моему, она была довольна: я ответил ей с чистой совестью, потому что разговор, который она хотела затеять, был не для здешней дороги.

Она повернула с опозданием. Я думаю, она опоздала секунды на полторы – метров на двадцать пять, и машину вынесло на левую сторону, почти впритык к посадкам маслины. Я успел ещё увидеть его – в расшитой молдавской косоворотке, подпоясанного зелёным шарфом домашнего вязанья, и с глазами, в которых недоумение росло с неестественной, как на экране, быстротой. Он шёл нам навстречу по своей стороне дороги – левой. Пусть бы он шёл по правой, или даже не по правой, а хотя бы по оси дороги, всё осталось бы в норме. Но если один идёт по правилу, а другой – против, и всё это в одной точке во времени и пространстве, то... в общем, его забросило метров на пять. Если бы не кусты маслины, наверное, было бы ещё поболее пяти. Руки его раскинулись нелепо – живой такого не придумает.

Она не выходила из машины, она держалась за баранку и смотрела на меня, когда я выходил, глазами, которые уже не существуют сами по себе, глазами, которые немедля утратят смысл, пусть только не станет приковавшего их предмета.

Я положил ему пальцы на руку, у запястья – пульса не было. Я щупал у него виски – кожа на висках была прохладная от пота. Потом я положил руку ему на грудь, чтобы проверить сердце. Наверное, надо было сразу приложиться ухом, потому что ухо чутче пальцев. Но прежде чем приложиться ухом, я раз пять ещё пробовал рукой – пальцами, ладонью, опять пальцами.

Когда я возвращался, она открыла мне дверь и подвинулась вправо. Она смотрела на меня пустыми глазами лунатика.

Я не знаю, о чём она думала. Может быть, она вообще не думала, а у меня, как на цифровом барабанчике, крутилась тривиальнейшая мысль: был человек – нету человека, был – нету... нету... .

Километрах в пяти слева была деревня. Можно бы завезти его в эту деревню. Но почему именно в эту? Потому что она ближе других? Нет, его надо завезти домой. Только домой.

Я вернулся к нему, я осмотрел все карманы – в карманах не было ничего, даже бумажки. Когда я повернул его на правый бок, изо рта у него хлынула кровь.

– Нас никто не видел, – сказала она шёпотом, – а ему уже всё равно.

Да, она права: ему всё равно. «Всё равно, всё равно...», – закрутился барабанчик. Но сейчас уже какая жара, а ещё только девять – часа через три тело на таком солнце... .

Я перетащил его в кусты: листья у серебристого лоха мелкие, но посажены они густо – в полдень здесь тоже тень.

Когда я выходил из кустарника, она кивнула, выставляя подбородок: припороши это место. Я понял: место, где кровь. Я сгрёб пыль в кучу, а потом разгрёб её носком. «Ещё раз припороши», – кивнула она.

Дорога теперь пошла прямая – километра по три-четыре без единого поворота.

– Если бы не тот поворот, – голос у неё был силовый, почти мужской. – Это же надо быть идиотом, чтобы нагородить столько поворотов на таком кусочке. И ещё обсадить кустами.

Метров полтора она молчала, а потом опять тем же силовым, почти мужским голосом:

– Сегодня его не найдут. Я смотрела: с дороги его не видно. Совсем не видно.

Выжимая акселератор, я чувствовал, как ползёт вправо стрелка спидометра – прямо перед моим животом. На ста пяти она оцепенела – я выжал педаль до отказа, но стрелка замерла: сто пять – предел для неё. Когда машина раскатается, можно будет, наверное, сто пятнадцать-сто двадцать выжать. Говорят, на «Москвиче» сто тридцать даже тянут.

– Почему он не ушёл с дороги? – она говорила шёпотом, для себя. – Он же слышал, что идёт машина. Почему же он не отошёл? Я уверена, нас за версту было слышно.

Я тоже думаю, что нас за версту было слышно. Но разве, если не знаешь человека, можно объяснить, отчего он поступил именно так, а не иначе? Хотя этого-то я во всяком случае хорошо понимаю: он пешеход, держится общих правил, чтобы не затруднять тех, кто на колёсах.

– А может, он был пьян? Послушай, – оживилась она внезапно, – а может, он был пьян? Сегодня воскресенье, а по воскресеньям на селе страшно пьют.



Воскресенье – везде воскресенье. Мне кажется, он учитель. Хотя вряд ли: учитель не станет подпоясываться шарфом. Если его ждали к определённое времени, через час-два кинутся на поиски. Наверное, он из той деревни, которую мы видели. А если из другой, то всё равно где-то неподалеку, потому что ничего при нём не было. И дорога его тоже, наверное, была недалёкая, потому что даже шапки на нём не было, а в июльскую жару с открытой головой далеко не уйдёшь. Сколько ему? Под пятьдесят, должно быть. Во всяком случае, года ещё два-три, не больше.

– Плохо, что у нас вишнёвый цвет. Я говорила тебе: возьми салатную или серую, как у всех, а тебе ведь непременно нужно отличаться. Дурацкий цвет – вишнёвый.

Она забыла: цвет выбирал не я. Денги были общие – её и мои. Всему институту задолжали. Она ещё говорила: надо смотреть вперёд – не на один год покупаем. Вишнёвый – это свежо.

Проскочил указатель, жёлтый с чёрными буквами: «Бендеры – двадцать три километра». От Бендер до Одессы часа два. Среди лета в Одессе столпотворение: куда ни плюнешь, везде «МОС», «МОТ», «КИВ», «ЛЕГ», «ТОГ». Из Одессы можно на Николаев – Херсон – Крым, можно на Киев – Ленинград или просто куда-нибудь по области. Чистая фантастика, ей-богу, но на десятки километрах – ни одного человека. Воскресенье. Хотя нет – вот двое сразу. Женщина с мальчиком. Если они туда, то туда – часа два им топтать. Нет, они свернули влево, на посёлок.

– Они свернули, – сказала она. – Но нас видели те.

Я понял: те, что здоровались с нами. Их было семь человек – трое встречных и четверо попутчиков. Но последнего мы видели минут за восемь-десять до учителя. Десять минут – это двенадцать километров. Минимум.

Почему я решил, что он учитель? Вспомнил: очки. То есть очков не было – была только синяя дужка на переносице. Куда же девались очки?

– Послушай, – прошептала она, – ты осмотрел местность?

– Местность? Нет, местность я не осматривал – я осматривал только его.

– Как, – оторопела она, – ты даже не оглянулся? Даже не оглянулся?

Действительно, нелепость, но факт – даже не оглянулся. Странно, почему же я так уверен, что на дороге никого не было? Вот, нашёл: пройденная дорога была передо мною, в зеркале обратного вида.

– А по сторонам? По сторонам? – допытывалась она, бледнея.

– По сторонам – нет. Точно, по сторонам – нет.

Минуты три она молчала, дотошно осматривая местность. Ту местность.

– Слева, – сказала она, – были курганы. На курганах паслись овцы.

Верно, слева были курганы и овцы. Примерно на полпути между деревней и дорогой.

– Овцы могут быть без пастуха?

– Я думаю, нет, но пастух нас не мог видеть: к нам обращена была солнечная сторона кургана, а какой резон жариться ему на солнце, если в пятидесяти метрах от него тень.

– Но он слышал нас? – настаивала она.

– Не знаю, километра два всё-таки.

– Слышал, я убеждена. А если слышал, значит, обязательно встал, чтобы посмотреть. Так?

Что я должен был ответить? Может, слышал, а может, и не слышал, может, встал, а может, и не вставал, или вообще никакого пастуха не было. Случается ведь.

Наконец, нам повстречалась первая машина – тоже «Москвич», из Одессы – «11-19 ОДА».

– «Москвич», – пробормотала она, – «11-19 ОДА».

Это у неё новое – раньше она никогда не замечала номеров. Потом, уже под Бендерами, машины пошли одна за другой, она перестала следить за номерами и сказала: это хорошо, что люди не забивают себе голову всякой ерундой.

У моста через Днестр инспектор дал отмашку жезлом: остановись. Она ухватила меня за руку: не смей останавливаться, не смей!

Инспектор ждал у своего мотоцикла с коляской. Он молча, с укоризной, смотрел документы. Спросил, откуда, хотя прочитал уже, что из Малаховки Московской области.

– А с вами кто?

Неужели он принял меня за калымщика? Я задержался на десятую, на сотую долю секунды – невеста, товарищ лейтенант, – он бросил на меня милицейский полувзгляд и прошёл вперёд.

Она сразу, без колебаний, назвала себя невестой, но есть слова, которые чересчур привязаны к определённой интонации – всякое обновление этой интонации настораживает.

«Невеста», – повторил он, осматривая машину, и, как за минуту до этого меня, спросил, откуда. «А теперь куда? В Одессу? А оттуда – в Крым? Или морем – до Сочи и опять на колёса?».

– Да, – кивала она по два раза после каждого вопроса, – да, да.

Зайдя сзади, инспектор записал номер, вернул мне документы и взял под козырёк.

– Застолбил, – сказала она, когда мы въехали на мост.

Странно, но у меня тоже накануне мелькнуло именно это слово – застолбил, хотя не проходило ощущение, что слово это не точное, что есть другое слово – точное.

Теперь уже не имело никакого значения, что среди лета в Одессе дикое столпотворение, что ведут из Одессы дороги и на Ленинград, и на Москву, и в Крым.

– Господи, – шептала она, – это же надо было последним идиотом быть, чтобы ехать через Бендеры.

А о чём я думала? Как будто я не знала, кто со мной рядом сидит, — захотела она вдруг. — Я же знала. Понимаешь, я же знала!

— Перестань, возьми себя в руки.

— Перестань? Подлец! Ты знаешь, что такое для женщины тюрма?! Мне же десять лет дадут. Или даже пятнадцать. Это же вся жизнь... вся жизнь... вся.

Сначала она шептала, вслушиваясь в эти слова, а потом затряслась и, сплетя пальцы на затылке, стала бухаться головой о колени.

Я думал, что надо съехать на обочину, надо остановиться, спрыснуть её водой и успокоить. Но ничего этого я не сделал — во мне не было жалости. Наоборот, мне казалось, что это ещё не настоящие рыдания, что бухаться головой о собственные колени — чересчур много комфорта, что пальцы её сплетены не в меру симметрично, а при настоящей судороге пальцы корёжат друг друга.

Минут через пять она подняла голову, сделала долгий булькающий вдох и завалилась на спинку.

В Тирасполе я купил пузырьёк нашатыря — нашатырь продавался с аптечного лотка. Когда она пришла в себя, глаза её были мутны и равнодушны. Глаза и руки.

От Тирасполя до Одессы километров сто двадцать — два часа нормальной езды. Но мне нужно было за полтора часа, за час добраться туда! А потом, когда она сказала — зачем это теперь, на собственные похороны боишься опоздать? — я тоже понял вдруг, как она ещё там, под Тирасполем, поняла, что торопиться уже некуда, что толкала меня всё та, прежняя мысль — про столпотворение в Одессе, — хотя я вроде на мосту через Днестр уже всё понял.

— Ну вот, — сказала она, — теперь ты избавился от меня. Ты ведь не хотел жениться — тебе так нужна свобода. А мне не нужна свобода. Правда, мне не нужна свобода?

Я был уверен, что сейчас она опять сорвётся, потому что свобода, о которой она говорила, была не свобода от мужа или жены, а другая — та, что просто человеческая жизнь. Я хотел ей сказать, что она уже забрала у человека жизнь, которая не только свобода, потому что свободу можно забрать и вернуть, а жизнь — нет. Но я ошибся — она не сорвалась. Может быть, потому не сорвалась, что почувствовала слова, которые я ещё только собирал.

— Послушай, — голос у неё был крепкий, настолько крепкий, что я притормозил даже, чтобы лучше рассмотреть её с этим новым её голосом, — а ведь это не я убила его.

На мгновение, по дурацкой инерции собеседника, мне захотелось спросить: «А кто», — но она опередила меня:

— Ты убил его. Ты знал, что я возбуждена после того вечера, когда ты затеял ссору, знал, что нельзя доверять мне машину, и всё-таки доверил.

— Я не хотел очередного скандала.

— Посмотрите на него, — захотела она, чеканя каждое «жа». — А если бы я сказала тебе: «Подожги этот дом, иначе я убью его хозяйку и четверых её детей», — ты бы тоже уступил?

— Не городи чепухи.

— Нет, а ты отвечай, — она прижалась к дверце, как будто с такой позиции легче было целиться. — Ты же мужчина, ты же в штанах — неужели у тебя не достало бы сил совладать со мной? Ты побоялся, что я уйду? Но ты ведь отлично знал, что это пустые угрозы, что там, в бессарабской степи, мне некуда было уходить. И вообще, куда я могла сбежать — это ведь я ухаживаю за тобой два года!

Она лгала — я ещё весной сделал ей предложение, а она сказала: подождём чуть-чуть. Но угрозу её я действительно не боялся — это верно. Я просто не хотел ссоры. Но почему я оставил её за рулём, когда она пошла на бешеной скорости?

— Хорошо, — сказала она очень спокойно, — допустим, ты не хотел скандала, но потом, когда я пустилась, как сумасшедшая, по этой дороге, разве ты не видел, что я невменяема?

В сущности, я мог возразить ей очень просто: и для меня ссоры не проходят даром — я тоже был выбит из колеи. Но — как бы это поточнее сказать? — она внесла... нет, не внесла, а скovyрнула, что ли, какой-то пласт во мне, и под этим пластом открылось ощущение вины, личной моей вины.

Я уже не слушал её, я беспрестанно прокручивал ленту назад, до того места, где она ткнула мне в лицо свои шофёрские права, и всякий раз ощущение вины возвращалось с потрясающей явственностью. Вернее, сначала возвращалось, а потом уже оставалось при всяком ходе ленты — и прямом, и обратном.

Нет, это — абсурд, при такой логике я буду всегда чувствовать себя преступником, во всяком случае, соучастником преступления.

Но при чём тут логика? Логика здесь ни при чём, просто я должен был её остановить. Я чувствую это, и раньше я тоже не имел права чувствовать иначе, потому что всё, что она делала, она делала при мне — в то время и в том месте я был рядом с ней.

Наверное, она следила за мной, потому что почти слово в слово повторила мою мысль: какое право я имел не остановить её, не выбросить вон из машины, если в то время и в том месте был рядом с ней?

«Обязан, обязан, обязан», — закрутился барабанчик. А она? Она разве не обязана?

Не понимаю, откуда это — ощущение, что я, именно я обязан. Должно быть, всё дело в нём — этом ощущении. Или в том, что я свою вину чувствую полнее, чем она — свою? А может, просто её вина так велика, что она должна уйти от неё, чтобы устоять на ногах?

— У меня всё время не проходило там ощущение, что кто-то толкает меня, — произносятся эти слова, она



методично всматривалась в себя, внутрь, как будто больше всего опасалась взять фальшивую ноту, — что кому-то нужно, чтобы я сорвалась. Теперь я знаю: это был ты. Ты хотел этого.

Чёрт возьми, она явнохватила через край. Я съехал на обочину, чтобы остановиться, чтобы по-настоящему, не отвлекаясь, рассмотреть её. Я не поверил своим глазам: она смотрела на меня с ужасом, безглизостью и отчуждением, как смотрят на убийцу.

Я не знаю, как это случилось — что я не выбросил тогда её из машины. Даже потом, когда мне пришло в голову, что она и себя, а не только его, считает моей жертвой, я не мог двинуться, потому что движением тогда могло быть только одно — выбросить её вон.

В Кучургане минут пятнадцать мы стояли у шлагбаума. Сначала прошёл поезд «Москва-Унгены» с вагонами до Бухареста и Софии, потом наливной и товарняк.

Когда проходил пассажирский, губы её шевелились в такт эмалевым табличкам на вагонах: Унгены, Унгены, Бухарест, София. Потом минут на пять всё затихло, и она сказала:

— Тебе дадут лет десять. Не больше. Или даже меньше. Хорошо, что мы не муж и жена: я подтвержу, что ты сигналил у поворота. Не родственникам верить.

Верят — не верят, верят — не верят. . . Какое это имеет значение? Человек убит, и завтра или послезавтра его будут хоронить — придут дети, на похоронах учителя всегда много детей.

Убит человек — неужели она не понимает этого!

За кучурганским переездом сначала идёт булыжная дорога. На этой дороге машину трясёт, как телегу. Только не так звонко. Она говорила, булыжник — это приятно после асфальта: асфальт вреден; установлено, что пары асфальтовых смол канцерогенны. В городах, где много асфальта, рак лёгких бывает раз в пять чаще, чем в натуральных деревенских условиях. Потом она сказала, что будет регулярно писать мне, а в отпуск — приезжать ко мне. Даже в Сибирь. Главное, не падать духом — в конце концов, для мужчины это не так страшно. Никто, конечно, этого не хотел, но, если случилось. . .

«Одесса — сорок пять километров» — огромный щит, белые буквы на синем поле, набегают со стокилометровой скоростью.

— Через полчаса, — сказала она, — Одесса. Люблю Одессу.

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

НЕ ПОТЕРЯЙ МЕНЯ, КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ...

эссе

... Туман такой, что у Олега Соколова на бровях оседает и капает... Говорю — Олег Аркадьевич, Вы уже просто кондиционер какой-то, пора идти. А он — сиди, и никому про это не рассказывай, чем мы тут с тобой занимаемся. А сидим мы на длинной зелёной мокрой скамейке, что на Куликовом поле. Это наше второе «специальное» свидание. Слева громада обкома партии. Ёлки голубые, милиционеров — стая... Между нами на скамейке стоит портфель Олега Аркадьевича и Олег мне говорит:

— Ты вот о Мандельштаме сказала, что он раздражающе неприличен в своих порывах из быта прочь! Что ты в приличиях понимаешь, ну, женщина его злилась, так на то она и жена, Надежда Яковлевна вообще была злобно настроена к миру, знаешь почему?

— Ну знаю.

А Олег:

— А что ты нукаешь, что ты отворачиваешься, ты отвечай, пока я тебя спрашиваю. Ты — научись, как надо, отвечать, а то потом не сумеешь!

— Она, — говорю, — счастья хотела. А Мандельштам ей не обещал. Он ей обещал — с советской властью покончить.

Олег Аркадьевич поперхнулся и говорит:

— Это когда и где он ей такое обещал? Это невозможно, покончить с советской властью, она, советская власть — вечно! — И шурится на меня так ехидно, как только он умеет. Я говорю:

— А вот когда чардаш танцует эта, с розой на поясе и кошачьей головой во рту! Так вот кошачья голова и есть советская власть! Мадьярка её сожрала, а голову выплюнула.

Тут Олег Аркадьевич мне и сказал:

— Да ты авангардистка! Или это ты репетируешь, что на Бебеля говорить будешь¹? Что ты кричишь на всё Куликово, ты мне чётко изложи — почему Мандельштам тебе поперёк воспитания приличного — как кость в горле?

И я как заору:

— Да потому что он нечеловечески человекен!

Это был... 1971? — год... Осень, наверное. Очень уж туманно было, мы промокли. Мы замёрзли... Это мы... нашли место, где «Четвёртую прозу» Мандельштама читать... Я помню наши встречи на этой скамейке — почти дословно, мы всю осень в этом нелепом месте самиздат друг другу читали...

А потом однажды у нас была история... я когда-то, наверное, уже писала о ней... не помню. Я вообще дат не помню — считай, с потолка беру. Время у меня и во мне — очень приблизительное. Зато другое я помню хорошо и точно: мы спускаемся в подвал Музея Западного и Восточного искусства. Там, в огромном помещении — стоят, свалены, расставлены квадратно-гнездовым способом — картины Олега. И он мне говорит:

— Ты тут посиди, покопайся, вдумайся в меня. Ты тут поработай и углубись в себя. Ты тут даром времени не теряй.

И — уходит, крикнув:

— Я тебя часа на два запроу. Успеешь понять?

Запирает. И — автоматически щёлкает переключателем: вырубает свет. И я сижу в этом ужасном абсолютно чёрном подвале среди картин, и слышу, как топчутся лапки... много лапок. И ощущаю, что картины шевелятся. Я очень углубилась и вчувствовалась тогда в себя и в Олега! Он, когда вспомнил обо мне и пришёл, и свет включил, даже не понял, что произошло. Я стояла в том же месте и той же позе. А его не было более трёх (!) часов. Он просто забыл, что запер меня. И не заметил, что выключил свет, уходя. Когда я ему очень вежливо и почти шёпотом объяснила — что именно я поняла, углубившись, он растерялся и руки у него дрожали, и он стал мне свои картины показывать — лихорадясь всё более. Олег говорил о цикле картин по Булгаковскому «Мастеру и Маргарите» и уговаривал выбрать — любую из картин. Выбрала, но не из того, что он предлагал, я выбрала небольшую (пастель и шариковая ручка), картину — «Эстетика Шарля Бодлера». Олег Аркадьевич спросил: почему — эту? И я хорошо помню, что сказала:

— Потому что здесь, в этом жёлтом букете и этих яблоках, которые персики, или наоборот, Вы ко мне обращены своим незащищённым! Вы здесь безопасны, потому что ваше незащищённое — сохраняете в

¹ На ул. Бебеля, ныне ул. Еврейской, находилось здание КГБ в Одессе



себе не Вы сами, а вот Шарль Бодлер в этой картине и сохраняет. А там, где булгаковщина, там Ваше агрессивное, и тоже упакованное, так вот лучше пусть агрессивное висит в музеях, а неагрессивное — у меня дома.

И ещё я поняла, сидя в этом ужасном шуршащем запаснике:

— На самом деле, Вы — ни упакованным, ни прячущим своё беззащитное — давно ни к кому не поворачиваетесь. И Вы этого больше не пишете. Вы теперь *так* делаете. Поступаете. Вы потому на скамейке мокрой — под зонтиком — со мной читаете, что там Вы нас пакуете пространством, где всё просматривается и спокойно — защищены прозрачно и надёжно, но думаете, что теперь-то Вы обнажены и непо-средственны, и всё, всех видите. И никто не подумает, что мы читаем — под зонтиком не читают. Вы просто боитесь! (Я тогда так и не сумела сформулировать то, что уже почувствовала в нём, но я об этом пока не скажу, вот к этому я ещё не готова. Это одно из самых трудных — постижений трудного в жизни. И — только Соколов меня впервые подвёл к пониманию сути любви человека к человеку, когда главным для тебя является ни мама с папой, ни муж, ни ребенок даже, а — любой другой человек, который вот сейчас — рядом с тобой. Со всеми выптекающими из этого постижения последствиями. . . Нет, об этом я чуть позже).

Олег Аркадьевич тихо спросил:

— Боюсь на диване под торшером книги с тобой читать?

И я громко и отчаянно:

— Да! Потому что «и в этот день мы больше не читали!» — помните экслибрис Бриков?

Олег головой покачал:

— Ты счастливая! Потому, что молодая! И потому, что тебе любовь — страшнее КГБ, которое может всю жизнь перечеркнуть. — И, с удивлением восхищённым, — ты любви боишься!

Тут я своих коней осаддила:

— . . . Так Вы из-за конспирации меня морозите и мочите? Вы — КГБ боитесь?

— Нет, — ответил Соколов, — я . . . люблю. — Руки потёр. . . щёки ладонями сжал. . . — любя тебя морожу.

И — мочу.

Мы с ним захохотали, как сумасшедшие, нам легко стало. . .

Нам теперь с ним — было и есть — легко. До сих пор. Всегда.

Хорошие у нас были разговоры. Дельные. И точные.

Олег Соколов — прекрасный художник, один из лучших людей в моей жизни, он — действительно от любви ко мне — делился главными вещами, о которых раздумывал, понимал, он меня многому научил. И я — тоже его научила. . . тому, чего он не знал и не умел. У нас были удивляющие нас обоих отношения. Это было — настоящее. И это ему я написала длинное стихотворение, из которого опубликовала меньшую часть, и, когда гроб стоял в вестибюле музея, я читала ему эти слова, а меня его вдова, Елена Шелестова, по руке гладила. Сначала Олега погладила по руке, потом меня. . .

Олегу Соколову

*Не потеряй меня среди
других имён, иных событий.
Не потеряй меня среди
обжжённых холодом наптий.
Не потеряй меня, когда
мой след, как лёд, как снег, растает.
Не потеряй меня, когда
меня не станет.*

Вот Юрий Михайлик говорит — он глупый, он пьяница, он слабый художник. . . и он великий!

А вот в чём его, Олега, великость? Да, пьяница, я сама с ним выпивала. Но Соколов не был глуп, он был иногда — безбашенно распахнут, а иногда — задраен наглухо. Он был путанным человеком, но он не испугался, а . . . как-то иначе среагировал на «пугание» — может быть, он расщепился и потому — быстрее сгорел? Ну, вот как лучина для . . . чужого огня. Если бы не расщепился, то был бы не для «чужого огня», а для собственного, очагового, так большинство и проживает в жизни, как у себя на кухне, а Олег Соколов жил в проходняке. Это я грубо говорю, но — смотря на то, как он жил, я и поняла когда-то про «сквозное жильё». Это когда ты, себя сжигая, не плотен, как брёвнышко, чтобы дольше в огне протянуть, а — уже расщеплён — своею волей, чтобы быстрее зажечь и. . . сгореть. Вот Олег Соколов себя сознательно. . . расщепил. А ядро его было не твёрдым, как зерно, а — подвижным, как плазма. . . Не знаю, понятно ли говорю?..

Но кто сможет понять, почувствовать меня сейчас, тот поймет настоящность Олега Соколова. . . Он был намного старше меня, но он не относился ко мне снисходительно, на людях — всегда шутлив был, хохмил, а когда мы оставались одни, мы — работали. Именно работали. Так умеют — не многие. Соколов был художник настоящий, он — художественно работал. Он ко мне — как к искусству относился.

ДМИТРИЙ ФУС

ОДЕССКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ очерк

Мягкий шелест листвы сливался с монотонным шумом близкого города, а весёлые солнечные зайчики безнаказанно скакали по оградкам и памятникам одного из самых старых кладбищ Одессы. Были слышны только редкие позвякивания трамвая и жизнерадостное чириканье воробьёв. Много лет назад я стоял на главной кладбищенской аллее и с интересом смотрел на старую Одессу. Одессу, которой уже не было, Одессу, заслужившую почти всемирную славу, но отзвуки этой славы дошли до нас только в обрывках остроумных шуток, своеобразных фразах и вечной музыке морского прибоя. В поле моего зрения и слуха попала пара очень преклонного возраста. По крайней мере, так мне казалось. Женщина вырывала сорняки с древней могилки и что-то нескончаемо говорила. Во всех фразах и выражениях угадывалась коренная жительница Одессы.

– Как тебе понравилась вчера эта мерзавка с Привоза?

– Из рыбного?

– Ты что, смеёшься? Из мясного. На мои слова, что надо быть дурной, чтобы думать обвесить меня и сунуть тот комок фляк за мясо, она ответила, что если бы я мыла голову почаще, то тоже была бы такой дурной.

Её супруг взял ведёрко и направился к колонке:

– Зоя, и что я здесь стою? Схожу за водой.

– Фима, куда ты идёшь? У тебя же печень!

«Вот оно!» – подумал я тогда. Вот эта Одесса, которую мы уже почти не замечаем, летя сломя голову по этой жизни и боясь чего-то не успеть. Без вульгарности и натянутости, без нарочито выпирающего акцента и игры на публику. Да и перед кем им тут играть на кладбище? Перед родственниками, нашедшими своё последнее пристанище под акациями и липами? Перед этим мальчиком, стоящим как тень, и думающем о чём-то своем? Или друг перед другом? Так они уже наигрались за пятьдесят лет жизни. Так наигрались, что вырастили двоих детей и даже выучили их. Одного на стоматолога, другого тоже хотели на стоматолога, но он был умный мальчик, пошёл на мехмат, теперь в Америке, иногда пишет, а дома на стене висит фотокарточка с его детьми, которых никогда не встретишь, никогда не прижмешь к сердцу и не накормишь биточками из тюльки и жареными бычками. Да и вообще, оно им в Америке нужно те бычки? У них фрукты круглый год и даже нет парткомов.

Ах, Одесса! Приятно жить в таком месте, имя которого на устах у каждого. Даже если судьба занесёт тебя в самую глухомань, куда два часа самолётом, сутки на поезде и ещё три дня лесом, то и там при произнесении этого магического слова твои собеседники начинают непроизвольно улыбаться и неловко пытаться что-нибудь «сказать за Одессу». Одесский юмор и остроумие – категории вне обсуждения и критики. Как минимум для одесситов. Это благодаря творчеству лучших из них самым узнаваемым брендом нашего южного города является специфическая одесская «речь». К ней можно относиться по-разному. Можно гордиться южным диалектом и сразу включаться в игру «исковеркай язык посмешней», можно просто улыбнуться в ответ или же внутренне скривиться от режущих слух «где идёшь?», «слушай сюда», «ой, не морочьте мне голову» и прочих фразеологизмов. И, я вас умоляю, отбросьте в сторону случайные представления об Одессе, которые вы почерпнули из монологов типа тёти Сони или фильмов про Беню Крика. Передать колорит знаменитого южного города дано далеко не каждому. И дело не только в характерном растягивании фраз и несоблюдении падежей. Во всём обязательно должна присутствовать едва осязаемая поэзия, вычурная мысль и плавный ритм, которым не учат в театральных училищах и на актёрских мастер-классах, не описывают в учебниках или монографиях. Конечно, желательно здесь родиться. Неплохо бы иметь немножечко еврейской, греческой, русской, украинской и молдавской крови одновременно. Но самое главное – попасть в душевный резонанс красочного действия, называемого одесская жизнь.

В детстве я очень часто гостил у своей бабушки в коммуналке в центре города и радости общения по-одесски впитал с самых юных лет. Спустя годы можно, конечно, описать любые события смешно и забавно, но действительность была более прозаичной и зачастую была лишена даже налёта комичности. Сам воздух был пропитан недомолвками, тонкими намёками, поисками скрытого смысла там, где его нет, и прочими составляющими коммунальной жизни. Каждое слово воспринималось достаточно извращённо и обсуждалось в тишине своих комнат. Слава богу, что все соседи были интеллигентные люди, без



жлобских замашек Молдаванки или Пересыпи, без брутальных «люди, держите меня за пиджак, сейчас здесь будут убивать» и прочих скандальных подробностей.

Из ближайших соседей чётко запомнилась одна семья – Лев Янкелевич, его жена с народническим именем Вера Павловна и Чарлик. Не знаю, как в других городах, но по каким-то неведомым причинам в Одессе Чарликами называли мелких животных, похожих на собак, но, по моему скромному мнению, не имеющих никакого отношения к благородным потомкам диких волков. Ещё у соседей жила сиамская кошка, всё время прятаясь на шкафу от суровых мальчишеских ласк, но она отошла в мир иной очень давно, оставив после себя в детских воспоминаниях только неясное кофейно-коричневое пятно с голубыми недобрыми глазами.

Так вот, Чарлик был достойным представителем рода домашних мутантов, имел злобный характер, тоненькие, вечно трясущиеся лапки, клетчатое пальто на холодное время года и отвратительный писклявый голос. Если бы Чарлик был певцом, выступал на сцене и пел разудалые собачьи песни, то его голос группа фанатов тактично бы причисляла к типу «фальцет». После прогулок Лев Янкелевич привязывал Чарлика в общем коридоре к ручке комода, и пёс в ожидании мытья лап злобно рычал на всех проходящих мимо жителей коммуны. Потом хозяин, раздевшись, брал его на руки и мыл в специальной мисочке этому чудовищу, весом и размером с небольшую исхудавшую кошку, лапы – и на всю квартиру раздавались его (не хозяина, а собачки) стоны и повизгивания, на что Лев Янкелевич с лёгким одесским акцентом замечал: «Чарлик, замолчи, а то сейчас пойдём на кухню, и я буду кормить тебя маслом!». В те застойные годы кормление дефицитным маслом милого домашнего зверька наверняка воспринималось как изощрённое издевательство над соседями, а не над псом. Я уже молчу про нескончаемые: «Чарлик, где тебя воспитывали?», «Чарлик, успокойся, это плохая собака – она тебя не тому научит!», «Ты разве не смотрел в окно? Куда в такую слякоть без пальто?» и тому подобные фразочки, которые легко и непридуманно витали в воздухе рядовой одесской коммуны.

Как-то раз на очередной прогулке морду уже старого пса прищемило железными тяжёлыми дверьми в одном из гастрономов Одессы. В результате челюсть Чарлика была свёрнута набок, зубы торчали в одну сторону, язык немного свешивался в другую, а рык приобрёл непередаваемый булькающий тембр. К тому времени я уже вырос из возраста, когда подразнить Чарлика доставляло мне радость, но новые обстоятельства внесли свежую струю в наши с ним отношения. Без смеха пройти мимо собаки, привязанной на тот же кожаный поводок, как и много лет назад, было невозможно, и я не отказывал себе в удовольствии завести разговор с подозрительно порыкивающим Чарликом и насладиться его шамкающей дикцией. Если бы Чарлику прищемило голову лет на пять-шесть раньше, в году этак восемьдесят первом, то его хозяев можно было бы обвинить в глумлении в особо изысканной форме над высшим руководством КПСС и страны в целом в лице генерального секретаря правящей тогда одной шестой частью суши (не *нигири-суши*, а *земли*) партии путём нанесения характерных увечий домашним животным...

Бабушка моя была актриса во всех смыслах этого слова. Играла и на сцене театра, и в жизни до самой своей смерти. Готова на общей кухне на газе или у себя наверху в каморке на примусе, она очень любила петь и, так как она была актриса украинского театра оперетты, а не какая-нибудь там драматическая слезливая лицедейка, то репертуар её был полон песен на украинском языке, а радиоточка не умолкала с утра до поздней ночи, транслируя арии и партии из различных спектаклей. Я, к сожалению, далёк от славного искусства оперетты и не могу привести ни одного примера из звучавших тогда произведений, но соседи имели возможность за долгие годы коммунальной жизни выучить их наизусть. Как-то после очередной ссоры между соседями бабушка была не в настроении, и песни смолкли. Лев Янкелевич, подкравшись к ней, угрюмо возвышаясь на общей кухне и яростно кидавшей ни в чём не повинные сковородку и кастрюли на плитку, вежливо поздоровался и «между прочим» участливым голосом спросил: «А что вы уже не поёте?» Негодованию бабушки не было предела! Эту историю она мне пересказывала с обидой в голосе раз десять, и этот вопрос соседа, пересказываемый ею с нарочитыми одесскими интонациями, громко звучал в нашей комнате.

«Не, ну каков наглец! И это после того случая с уборной!», – возмущалась бабушка. «Теперь придётся петь! Пусть не думает, что их жалкие интриги могут вывести меня из себя!»

А в историю с уборной, по-современному с туалетом, был замешан я. Чтобы посетить это, не побоюсь сказать, жизненно необходимое заведение, нужно было спуститься по гулкой деревянной лестнице с наших антресолей в тёмный общий коридор и нащупать на стене именно свой выключатель. После щелчка где-то высоко под потолком (четыре с половиной метра!) загоралась обычная лампочка в сорок свечей, не больше. Далее через дверь шёл коридор поменьше, и там проделывались те же действия, но уже с другим набором выключателей, чтобы дать свет в сам туалет. Выполнив все вышеописанные манипуляции, вы попадали в вожделенную комнату с унитазом, а там жизнь ставила перед вами следующую задачу, как будто взятую из народной сказки. Слева на стене на обычных гвоздях висело три сидения. Нет, не так! Сначала, из гигиенических и, вероятно, политических соображений на гвозди были нанизаны развёрнутые газеты, как сейчас помню – «Труд», «Правда» и «Красная звезда». Под нашим же сиденьем была подложена космополитическая «Реклама». Так вот, стоя перед классическим выбором, я, тогда ещё шестилетний мальчишка, всегда почему-то выбирал соседское сиденье. Уже не помню, была ли на это какая-то причина или тайный умысел. Я с родителями жил в отдельной квартире с отдельным туалетом и был достаточно далёк от подобных коммунальных переживаний на сортирную тему. Правилось мне, наверное, то сиденье, привлекало неожиданностью формы и изгиба, выразительностью и ярко-

стью фактуры, не знаю. Однажды сосед то ли увидел невидимое человеческому глазу смещение своего личного санитарного предмета относительно второго ордена Ленина на первой странице «Правды», то ли почувствовал неожиданное тепло, идущее от обычно ледящего сиденья, однако он пошёл к бабушке и выдвинул обвинение в использовании чужих средств гигиены. Бабушка же посчитала улики смехотворными и, в свою очередь, обвинила соседа в злонамеренном нагнетании обстановки. И отметила лёгкие признаки паранойи в его поведении. Лев Янкелевич тоже не захотел оставаться в долгу, и в результате состоялся милый душевный разговор, после которого соседи не разговаривали несколько недель...

Сначала умерла кошка. Потом Вера Павловна. Затем незаметно исчез Чарлик. Льва Янкелевича, уже старого и немощного, дети увезли то ли в Канаду, то ли в Австралию. А современная жизнь продолжала неумело разбавлять двухсотлетний одесский бальзам чужой кровью и чуждой культурой. Вот нас уже миллион. А вот и немного больше. Улицы города в поисках лучшей жизни и хлеба насущного заполонили десятки тысяч людей из разных мест, а старая Одесса тихо перебиралась или на кладбище, или за океан. И вот южная речь уже не звучит так часто, как хотелось бы, её зачастую вытесняет грубый славянский мат и пьяная брань. Но жгучее солнце, тёплое море и пьянящий степной воздух постепенно делают своё. Характеры смягчаются, и хочется шутить, а не ругаться; дети так же, как раньше, учатся «на скрипке» и ходят на английский; художники без конца рисуют Приморский бульвар, уже восстановленную Соборку и Дерибасовскую, а толпы отдыхающих с горящими глазами и красными боками прогуливаются по одесским мостовым в надежде приобщиться к легендарной одесской культуре, вкусить остроумного слова и сытной южной кухни. И наша Одесса хочет сказать, что она таки жива! И она цветёт и пахнет назло и вопреки столицам (ой, сколько их было на её веку!) и всегда рада гостям из любых стран и городов, и всегда ждёт своих детей, разбросанных по всему миру, чтобы заключить их всех в свои знойные объятия...

ЛЮДМИЛА ШАРГА

НЕПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА

Из цикла «Киммерийские хроники»

ПЫЛЬ ВЕКОВ

на улицах Старого Крыма
солнца больше чем где бы то ни было
в нём купаются здешние воробьи и голуби...
обленившиеся коты похожие на языческих идолов
так заносчивы и вальяжны...
это всё оттого, что им
ничего неизвестно о холоде...

на улицах Старого Крыма можно временем пренебречь
освободившись от мнимых привязанностей привычек
и прочих земных оков
и сразу же станут слышны крики погонщиков:
чужая, гортанная речь...
внезапно тонкий запах шафрана на миг отвлечёт
от стука конских подков

на улицах Старого Крыма – в придорожной пыли –
бродят толпы чихающих туристов – их ничуть не смущает
что пыль эта – пыль веков...
и что они окончательно затопчут следы караванов
которые здесь прошли
по Шёлковому пути...
один из тюков
(с чёрным перцем) порвался
содержимое высыпалось на дорогу и смешалось с пылью...

ты тоже хочешь увидеть пыль веков?
посмотри на чихающих туристов...

Весна принесёт бессонницу
и дальних дорог жажду,
и маленький город вспомнится,
попав в который однажды,
к местечку этому скромному
неясной тоской влекома,
родство ощутила кровное
на улицах незнакомых.
Шагну в лабиринты прошлого,
примерю судьбы и лица,
мелькнёт сарафанчик с прошвою
у дома под черепицей,



в саду...
не изба российская
и не украинская хата –
ну что ж ты,
ступай, отыскивай,
свой след на земле Солхата¹.

¹Солхат – одно из древних названий Старого Крыма

СОРАНГ

«У моряков есть поверье, что среди бушующих нордов и трамонтан, муссонов и сокрушительных тайфунов есть жаркий ветер Соранг, дующий один раз за многие сотни лет. Соранг приходит с южных румбов горизонта поздней зимой и обыкновенно ночью. Он приносит воздух незнакомых стран, печальный и лёгкий, как запах магнолий. Сами по себе начинают звонить колокола сельских церквей, голубая заря поднимается к зениту, и сквозь снега пробиваются цветы, похожие на подснежники».

К.Г. Паустовский «Соранг»

Мне останется синь да сон,
капля сумерек киммерийских,
впечатлений дорожных сонм
о земле далёкой, но... близкой.
Не отвечу – и не проси,
мне самой удивляться впору,
как в равнинный покой Руси
просочились Синие горы.
Эту данность не объяснить –
я давно породнилась с нею,
видно, выпряла Доля нить:
тоньше – нет,
но и нет прочнее.
И когда из далёких стран
за дождями ветра слетятся,
возвратится в мой дом Соранг –
приносящий тепло и счастье.
И припомнится сон,
где синь,
и забвенье уже не тронет
на дорогах пыльных Руси
алый след киммерийских хроник.

Из цикла «За птичьим клином»

ЖУРАВЛИНОЕ

Что в нас журавлиного, друг мой?
Почему манит нас берег дальний?
Тесен ли уклад патриархальный,
холодно ль в провинциях зимой.
Может, журавлиные сердца
жаждут перелётов-переездов...
Но весною, в городок уездный,
где вскипает зелень у крыльца
души журавлиные спешат,
подлечить открывшиеся раны,
в домик, где цветущею геранью
горницу любили украшать.
Оттого и тянет по весне
к этим перелётам-переездам,
в милый сердцу городок уездный,
в дом, где журавельник² на окне.

² Журавельник (*греч.* geranos – журавль) – второе название герани.



ПТИЧЬЕ

*«В воздухе вроде бы всё было нормально,
но потом птицы начинали как бы дрожать,
без сил падали и вскоре умирали...»*

Из сводки новостей

сколько зим у окна
 а ты
 всё ещё называешь меня птицей
 я давно не боюсь разбиться
 но пока боюсь высоты
 в приближенье высокой воды
 чую холод
 земля – здравствуй...
 кто замкнул над тобой пространство
 повелитель
 раб
 поводырь
 мне уже не взлететь...
 а ты
 всё ещё изучаешь мои привычки
 но от прежних повадок птичьих
 мне достался зов высоты
 той что прячется
 ждать устав
 в придорожной
 промёрзшей насквозь канаве
 где вмерзает в чёрную наледь
 крик разбившихся птичьих стай
 где слепой маньяк-поводырь
 развлекаясь
 колоду судьбы тасует...
 помяни моё имя всуе
 в час прихода высокой воды
 помяни
 и прости
 ещё
 помолись
 авось пригодится...
 если мир оставляют птицы
 он как водится
 обречён...

НЕПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА

Воронцовскому маяку

Неперелётная птица моя,
 где твоя вотчина,
 где твоя стая...
 Если однажды ты петь перестанешь,
 люди пути не отыщут в морях...

Через густую туманную взвесь
 с моря доносится крик твой тоскливый,
 и замирают в смятенье оливы,
 слушая голос нездешних небес.

За морем, знамо – другая земля:
 бел-берега да смарагдовы воды,
 может и правда, оттуда ты родом,
 неперелётная птица моя?



Может быть, спишь ты и видишь во сне:
птиц перелётных летят караваны
над серебристою дымкой туманной...
За морем, знамо – в диковинку снег...

Крик твой однажды услышала я...
Столько печали в том крике таится...
и в тот же миг догадалась:
ты – Птица,
неперелётная птица – маяк.

И с той поры поселилась тоска
в сердце моём о несбывшихся странах,
и берedit задремавшие раны
птичья тревожная песнь маяка.

СРЫВАЮСЬ НА КРИК

(птичьё-весенне-невыносимое)

Так и пишу – без псевдонимов,
без инсталляций и мимикрий,
так и живу: в сущности – мимом,
но иногда срываюсь на крик.
Не выношу мест и имений
от первых лиц,
пену и шум,
не выношу лунных затмений,
солнечных – тоже – не выношу.
Не выношу триумфальные арки
и новодел
и вердикт – «на слом!»
да...
и вон ту девушку в парке,
что весела, оттого что с веслом...
Тех, кто сумняшеся ничтоже
грязными щупальцами – в душе,
впрочем, тех, кто чистыми – тоже
не выношу – лезли уже...
Не выношу кормушек и клеток,
белых от злобы
глаз проповедников,
не выношу королевских левреток –
коммуникабельных бесхребетников.
В детстве меня за это ругали,
позже – пытались лечить голоданием
те, кто издал полный список регалий
в твёрдом глянце
отдельным изданием

*(ежегодный тираж – одна тысяча экземпляров,
на лицевой стороне обложки – фото во весь рост
с указанием точного веса, памятных мест
настоящих, прошлых и будущих, и домашнего адреса...)*

Так и живу,
с идиосинক্রазией,
без адаптаций и мимикрий...
Осень – моя анестезия,
но по весне срываюсь на крик.



Ещё одну жизнь на стихи потратить,
прожить её где-нибудь в... Подмосковье,
чтоб горечь осеннюю по утрам пить,
туманом приправленную и тоскою.

Иль вечером снежным – за чашкой чая –
стихи вспоминать и читать тебе их,
подкармливая одичавших чаек,
на пристани спящего Коктебеля.

Ещё одна жизнь – без потерь, без боли.
Возможно ли,
чтобы судьба другая?
В двуречье Тарусы – вдвоём с тобою,
и только в стихи от тебя сбегая.

Так, целую жизнь длиною в... осень,
в октябрьские две,
нет... в три недели
прожить и исчезнуть, будто вовсе
нас не было,
и давно нигде нет.

Ни в шорохе палой листвы осенней,
ни в песне далёких морских прибоев...
И только в стихах проступают тени
всех жизней, что выпали нам с тобою.

ЗА ПТИЧЬИМ КЛИНОМ

Пересыпаю морской песок...
Но день, предсказанный птичьим клином,
смешает запахи:
свежий – глины,
и горьковатый – травы иссоп.
Там будет парус звенеть – упруг,
и воздух – свеж,
и прохладны камни,
там – под проснувшимися руками –
затянет песню гончарный круг.
Благословляя на дольний путь –
к исходу лета – за птичьим клином,
в неискушённую влажность глины
вольётся тихое чьё-то: «Будь...»
О, это время – носить в крови
глоток божественного дыханья,
неизлечимо болеть стихами,
несвоевременно гнёзда вить
и безнадёжно искать тепла,
отогреваясь средь палых листьев,
вдали от кем-то избитых истин,
не пресмыкаясь...
Не вброд, а вплавь
спешить на запах травы иссоп,
что смешан с запахом влажной глины,
к исходу лета – за птичьим клином –
чтоб обратиться в морской песок.

СЕМЁН АБРАМОВИЧ

«СЕРДЕЧНЫЙ МЕТРОНОМ»

Среди ветвей увядших дней
ещё проглядывает лето,
и увяданием задета
моя душа. А вместе с ней
сердечный метроном — ручей.

Ах! Эта временная прыть,
ведь песнь моя ещё не спета!
В ушко прошедшего продета
луча блаженнейшего нить,
и есть кого ещё любить.

Среди шутов и королей
поэта слог ценней монеты —
толпа хулит меня за это.
Но нет счастливей серых дней,
когда наступит суд дождей.

Размытость лунных силуэтов.
Под скрип незапертых дверей
во влажной сущности ночей
по стенам пляшут краски лета.

И улыбается планета
в разрыве полусонных туч. . .

Дождём растроченная влага
Землёю собрана сполна.
Вдоль распростёртого оврага
Трава свежа и зелена.

Извилины по чернозему —
Как обрамление полей.
Взамен басовым звукам грома
Заводит трели соловей.

И высота небес бездонна,
И бесконечна синева. . .
Дышать легко в волнах озона,
Плести признаний кружева.

Люблю, люблю я эту землю,
Мне по душе сей непокой.
Другого сердцем не приемлю,
Не обессудьте, я такой.



Пока ещё горишь – поговори со мной.
Своим дыханьем, тёплого волной,
Дрожа, поведай пламенные речи.
Хочу узнать, о чём страдают свечи,
Под полною холодною Луной.
Оплавлен бюст горячею слезой.
Какой же колдовской сегодня вечер!
Я рад тебе, волшебной нашей встрече,
И комкаю горячий воск свечной
Дрожащей от волнения рукой.

Ты будешь здесь, а завтра – я далеке.
И, душу расставанием калеча,
Я буду видеть в комнате ночной
Подсвечник с одинокою свечой.
Я буду жить, судьбе своей переча,
Вдыхая мёд и веря в нашу встречу.
С надеждою взирая в мир немой,
Под полною холодною Луной,
Я среди звёзд тебя, свеча, примечу. . .

Природы весенняя линька,
разбавлено серое синькой,
и юность салатовой кожи
мятежное сердце тревожит.

Бессонница – следствие страсти,
размыты измены, ненастья,
и мрамор холодный запястья
огнём разрывает на части.

Отринув студённость застоя,
душа пробудилась прибоем.
Зима позади, слава Богу.
Оттаяв, зовёт нас дорога.

Уже забываются выюги
под птиц возвращение с юга.
и прошлое вяжется туго
строкою бумажного луга.

И радуясь пролескам первым,
с восторгом, щекочущим нервы,
мы между весной и судьбою
знак тождества пишем любовью.

Из множества теней луч выбрал жертву
и жёт её, гоняя поутру.
Она же пряталась, истерзанная спектром –
жар этих радуг ей не по нутру.

Она бросалась на стволы и стены,
но луч и тут ловил её за хвост,
и только в груди жёлтолистой пены
она сумела свой создать форпост.



Два строгих глаза за лучом следили.
 Луч был растерян. Неприступен дот.
 Лишь напряжённый, убеждённый в силе,
 следил, дыханье затаивши кот.

Два огонька, что прятались в укрытьге,
 так привлекали рыжего кота,
 что он в мечте о мышши, по наитью,
 прыжком достиг заветного листа.

Какое было разочарованье!
 В огромной куче листьев — никого!
 Тень уползла с ухмылкой на прощанье,
 кот убежал, а луч — был высоко.

В лабиринтах извилин,
 Где листки пожелтевшие лет —
 Царство неких плавленен,
 Где года, будто аверсы древних монет,
 Разливают по формам.
 Каждый час, каждый миг,
 Там времён извергается пламя по горнам.
 Отрок, юноша, муж и старик . . .

В лабиринтах извилин,
 Где на вечный вопрос не отыскан ответ,
 Поиск истины всё ещё в силе.
 Где года, будто цепь, за сюжетом сюжет
 Разливают по формам.
 Каждый час, каждый миг,
 Там времён извергается пламя по горнам.
 Отрок, юноша, муж и старик . . .

В лабиринтах извилин,
 Где *сегодня* немеркнувший свет,
 Царства *прошлого* свет не заилен —
 Где года, будто радуг земных семицвет
 Разливают по формам.
 Каждый час, каждый миг,
 Там времён извергается пламя по горнам.
 Отрок, юноша, муж и старик . . .

Серединой мая маюсь,
 Скорость времени ругая,
 Прошлого слегка касаюсь
 Перед адом или раем.

Пробираюсь, пробираюсь
 Через памяти угодя
 И все чаще возвращаюсь
 Я к негасовым поводьям.

Лишь бумаге доверяю
 Поседевшие секреты
 И на клетках лет пытаюсь
 Расставлять свои сюжеты.

Серединой мая маюсь,
 Перед адом или раем . . .

ОЛЕГ ДРЯМИН

ДОМ С ИКОНАМИ

Смотрел, как таял птичий клин,
тревожа плачем грусть долин.

И эхо звуком ветреным
С пером кружилось медленно.

Дай, Бог, им небеса без бед –
невидим в небе птичий след.

Лишь на ладони линии,
Как стаи лебединые.

МОНАСТЫРЬ НАД РЕКОЙ

Я не знал ужасней тишины,
В страхе над обрывом наклонился –
Монастырь в середине крутизны
Ртами-окнами в кусты вцепился.

И застыл над синею рекой,
Крест подняв перед кончиной близкой.
С берега он страшно высоко,
От меня неодолимо низко.

Мы купили ветхий дом с иконами,
От черты подальше городской.
Деревца под окнами с поклонами
Прсятся, как люди, на постой.

Грядки нас зовут к себе поклоняться,
Брошенные кем-то навсегда.
Сквозь осоку речка еле тянется
Ниточкой неведомо куда.

Бросили беднягу-дом хозяева:
Кто в земле, а кто навек вдали,
Нам придётся, милый дом, осваивать
И тебя, и наш надел земли.

Яблони дохнут плодами спелыми,
Мы заполним сеном сеновал, –
Нынче ветер, как иконы светлые,
Снова твои окна целовал.



Говорят поэты, что любовь
Осенью всегда идёт на убыль.
Почему же, дорогая, вновь
Ярче листьев вспыхивают губы?

Или половодье от дождей
Замулило гибельные омуты,
И в непроходимости полей
Те цветы последние не тронуты.

Соберём, как листья, наши дни
Под календарями похудевшими.
Подожжём, и пусть горят они
Огоньками тёплыми и нежными.

Можно что-то вспомнить, позабыть,
В жизни обойти всё не получится.
Как бы мне хотелось полюбить
Осенью. И чтоб весной не мучиться...

Где маяк стоит у порта
В море необъятном,
Ты водила катер жёлтый
Про волнам закатным.

Катер в бликах золотых
Будто растворялся.
Шлюпкой месяц с высоты
Тихо опускался.

Я сидел, как пассажир,
Звёзды появились.
Волны, как обломки лир,
За бортом носились.

И хотел поднять я тост
В той ночи славянской
За волну твоих волос
В рубке капитанской.

Одесса по крыши туманом залита,
Как звонкая крынка по край молоком,
И голуби ходят, как синяя свита,
По белым кирпичикам важно пешком.

И светлая мгла наступившего утра,
И мокрые камни, и птиц голоса,
И Дюк так приветливо смотрит и мудро,
Потёмкинской лестницы блещет роса.

Всё это родное, а то, что знакомо,
Не скроет туманов молочная мгла.
И помню я признаки каждого дома,
И окна, похожие на зеркала.



Туман всё прозрачней, и солнце всё ближе,
Роса всё крупнее и блеск веселей.
Уже различимы крылатые крыши,
Железные крыши Одессы моей!

А. С. ПУШКИНУ

Не раз в своём кошмарном сне,
У брошенной шинели
Я был на Вашей стороне
В проигранной дуэли.

Я до мгновенья изучил
Часы, что Вы прожили,
И я раненье получил:
Мне душу прострелили.

Я, как поэт, а значит брат, —
Ведь все поэты — братья, —
Над миром буду бить в набат,
Убийцам слать проклятья.

Но если б целил сатана
И Вашим пистолетом,
Вы, Пушкин, жить смогли б тогда
Убийцей и поэтом.

Есть плюс большой, что не убив,
Вы душу сберегли.
Любить убийцу не смогли б
Народы всей Земли.

ТАТЬЯНА ОРБАТОВА

В КВАДРАЗОНЕ МАЛЕВИЧА

СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ

лес тонких линий —
лезвия солнечных маршалов.
По небу ходики военноглазой судьбы.
хочешь — живи
сытymi тропами, маршами,
тоником страха,
или
вставай на дыбы.

дыбу дубить голосом —
горло устанет.
сколько акустик в зеркале —
счёт на века.
казнь по согласию —
плата забористой дани.
выбери казнь,
или
пускайся в бега.

камерный «уууух...» всюду,
в небе — границы.
правда без тени —
время на первый шаг.
днём — убежать,
ночью — кому-нибудь сниться?
выбери — сниться,
если часы спешат.

От Колизея пахнет рыбой.
И тень от дома золотого
глазеет призрачною глыбой
на виражи живого слова.
Глазеет облаком безродным
на отражение антракта —
в ладони лунной и холодной,
вещающей судьбу в три такта.

Мертвецки пьяным бродит время...

От усыпальниц в Самарканде
и до египетской гробницы...
Ему рукой подать до Нишцы,
где пролилось живое семя
в сосуд какой-нибудь Миранде.

Надсолнечно сияет золото
волос влюблённой Вероники...
Но знай, в любви другой расплаты
не ищет время – озорник и
любитель вольностей словесных,
знаток безмолвных ожиданий.
Зачем дарить ему в отместку
печаль несбыточных желаний?

Всегда голодным бродит время...

С глазами цвета антрацита,
Со словом – сути однозначной.
Но что тебе его измерить?
Взгляни в лицо его открыто,
пусть визави своим назначит...

МОНОЛОГ МУЗЫ

Нет конца и начала погоне.
Я... бегу, но за кем?
От кого?
Боль – не птица,
судьба – не агония.
Путь с крестом,
или бег от него?
Но бегу.
Пусть всё ближе и ближе
треск огня,
розовеет дым.
Где бы ни был Ты –
в Альпах, Париже
не найду тебя –
мо-ло-дым,
не уставшим от собственной воли,
не утратившим силу дня.
Упаду –
Божья Матерь в подоле
принесёт живую –
меня
на вершину твоих сомнений,
где на камне –
печати лет,
где бездействует сонный гений
и... числа твоим безднам нет.

TRANSCENDENT NIGHT

Ночь слетает
с большой катушки,
не прядётся,
не рвётся звуком.
Чёрной бабочкой
из-под ушка
лунной рыси
над виадукком –
дрогнет,
в воду глагол роняя,
лов бессловицы
не приемля.
Вслед ей – дети
дождя-лентяя
сон для сонь разольют
на Землю.



Выпьет Ночь
 до кристаллов соли
 пот со лбов,
 сновиденьем пьяных.
 Самым трезвым –
 найти позволит
 от безумства ума
 кальяны,
 ложный вакуум
 одиноких
 растворяя в себе –
 осенней.
 Ночь сильна,
 и в речном потоке
 слово
 вымолчит –
 во спасение...

ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА,
или вперёд в прошлое

1

Времени грива. Подлунный репейник
 Смертью заласканных цивилизаций.
 С цезарем новым – удобны кофейни,
 Но ощутим аромат имитаций.

Выпейте кофе ушедших событий –
 С хлебом душистым и праведной солью.
 Вместо Души не хотите ли Сбытень?
 Он – не страдает, бытует безвольно.

Сбытень – не тень,
 он покорству – опора,
 трон – властелюбам,
 гвоздик – забору,
 гамлетам новым – он –
 точный ответ.
 Или ты – Сбытень,
 иль тебя нет.

2

Конь вороной в квадрате Малевича
 Знает – досрочно не стать Человеком,
 Если рождает среда обмелевичей,
 Мысли ровняя – от века до века.

Если на площади – мёртвы глаголы,
 Но говорильни, как страхи, живучи,
 Сбытгни снуют, пусть по-прежнему, голы,
 Стукольно кланаясь каждому дуче.

Дуче – не скучен.
 Он всекоронован,
 свет – капиталу,
 сыру – ворона,
 боль – для Души,
 но для сбытней –
 ухожен – да,
 дуче не круче
 Старого Роджера.¹

¹ В Ирландии и на севере Англии в средние века дьявола иногда называли Старым Роджером. Кроме того, в английском жаргоне того времени roger - мошенник, вор.



3

В конском зрачке – со-волнение равных
Вновь утопает в больших переменах.
Вероподобие с вечностью плавно
Плавится чёрным раствором по венам –

Венам детей, иноверцев, изгоев.
Вместо Души не хотите ли Сбытень?
Ген равнодушия вместо покоя?
Вместо «всё помнить» – напрочь забыть и . . .

Были – навзрыд,
но будут – вприсядку,
были вразнос –
в расход поспешат.
Конский зрачок,
что пуля в «десятку»,
зорко нацелен,
ближе межа.

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

Материалы опубликованы в журнале «Ликбез» (г. Барнаул), № 17, 2011

ВЯЧЕСЛАВ КОРНЕВ

ФОТОГРАФИЯ

(статья для «Энциклопедии современной жизни»)

Мы живём в эпоху фотографического бума. Мои знакомые один за другим покупают (полу)профессиональные камеры, ночами обрабатывают снимки в Photoshop, выкладывают их в сеть и каждый час вновь открывают свою страничку, чтобы увидеть, как изменился за это время счётчик посещений, а главное — о счастье! — вдруг кто-то написал под снимком краткий комментарий и оценил работу высшим баллом. Кризис перепроизводства образов, характеризующий всю нашу эпоху, особенно сказался на манере фотографирования. Нынешнее поколение детей, которые скоро станут взрослыми, столкнётся с не имеющей аналогов в истории ситуацией — практически каждый значимый момент жизни будет засвидетельствован в тысячах фотографий. Фундаментальная ностальгия по детству сменится, возможно, радостью освобождения от этой власти навязчивых образов — с дотошным протоколированием всех использованных за это время ночных горшков, полученных «двоек», зарёванных физиономий.

При этом, в духе фильма Питера Уира «Шоу Трумана» («The Truman Show», 1998) в перспективе можно будет всё более эффективно ретушировать, раскрашивать, симулировать подлинную жизнь. Человеческая память окажется рудиментом, потерявшим всякое значение в период цифровой памяти в миллионы терабайтов. Фантазия тоже должна атрофироваться, поскольку возможности графических редакторов нового поколения превзойдут её самые смелые возможности. Исправленный и улучшенный цифровой двойник займёт место реального субъекта — как уже отчасти происходит в сетевом общении, где любой пользователь всегда может окутаться защитным полем виртуальной личности, с выдуманной биографией, интересами, а главное — искусственным образом-аватаром.

Перепроизводство образов выражается ещё и в незаметных сдвигах в психологии восприятия. Ещё недавно разглядывание семейных альбомов было вполне уместным развлечением для гостей. Собранные всего лишь в пару альбомов, снимки нескольких поколений родственников давали зримый контраст эпох, интриговали деталями старой повседневности, и вообще обладали какой-то харизмой: вырезанные фигурными ножницами, пожелтевшие и немного помятые, пахнущие клеем и стариной, они обладали метой подлинности, включали воображение, любопытство...

Но теперь нет более утомительного занятия, чем просмотр чужих фотографий. Причём, страдающий фотоманией знакомый почти насильно усаживает тебя за монитор (в уголке которого ты с ужасом видишь счётчик общего количества снимков) и ревниво смотрит, чтобы ты не слишком быстро их переключал, ловит малейшие следы интереса, жаждет комментариев и похвалы. Проблема, однако, в том, что чрезмерное количество снимков и множество незнакомых лиц на них лишают каждую отдельную фотографию оригинальности и ценности. Да тут ещё и эта любительская тенденция — накопление множества почти одинаковых снимков, жалость к откровенному шлаку.

Я помню совсем другие ощущения от фотографий и фотографирования. Моей первой камерой была «Смена-8М» — наверное, самый примитивный аналоговый аппарат. Вся прелесть заключалась в ручной работе с плёнкой и снимками. Сначала ты забираешься в шкаф или заматываешь руки одеялом, заряжая плёнку в фотоаппарат. Затем, экономя каждый кадр, подглядывая в экспонометр или ориентируясь на удачу и опыт, устанавливаешь выдержку, диафрагму, и запечатлеваешь какие-то особо важные вещи и моменты. Но волшебство начинается потом. Ручная проявка и сушка плёнки — это настоящая лотерея. Плохо зарядил плёнку в бачок, передержал её в проявителе, чуть засветил — пиши: пропало — самые долгожданные кадры пропадают навсегда, идут в брак. Другие кадры, о которых ты и не думал, выходят гениально, трудно дожидаться в такие моменты, когда высохнет и станет пригодным к дальнейшей работе рулон плёнки. Наконец, венец всех таинств — печать фотографий в ванной комнате с красным фонарём, резко пахнущими химическими реактивами, барахлящим увеличителем марки «УПА»...



Непосвящённым не понять этой магии, алхимии, мистики, когда после вспышки света лицо на снимке постепенно проявляется, выплывает из какой-то иной реальности. Или вдруг фотография темнеет, засвечивается, желтеет, идёт радужными разводами от смешения реагентов или плохой промывки, нармертво присыхает к глянцевагелю. . . Меня, кстати, иногда чуть-чуть било током во время печатания снимков: руки мокрые, проводка с выключателем у этого увеличителя ненадёжная. Но зато в каждом вручную сделанном снимке была душа. Аналоговые чёрно-белые изображения вообще обладают особенной аурой – лучше ловят характер портретируемого, резче передают драматургию контрастов, чувствительней к свету. . .

По сравнению с такой кропотливой и творческой работой с аналоговой фотографией, цифровая техника кажется бездушной. Отщёлкать на автомате серию снимков, «отфотошопить» для просмотра на мониторе или отдать в мастерскую для печати – это почти механические процедуры. Но тут-то и скрывается искушение банального ретроградного сетования на новые технологии и вещи. Первые в истории фотографии тоже казались мертворождённым искусством. Одушевлённая живопись и эксгумированная реальность фотографии – соотносились как истина и ложь, искусство и подделка. Когда, несмотря на эту инерцию мышления, фотография всё же превратилась в искусство, та же самая проблема возникла в другой редакции: с появлением техники ретуширования фотографий, цветной печати, цифрового изображения.

Впрочем, даже живую, одушевлённую, живопись тоже периодически сотрясали кризисы технологий: появление новых способов обработки холста, химических соединений и красок ставили вопрос об исчезновении «настоящего», «естественного», «классического» искусства и замене его суррогатным. Импрессионизм воспринимался как настоящее кошунство, кубизм и супрематизм – как анти-искусство.

Проблема, стало быть, не в каких-то негуманных технологиях. Просто здесь, как и в других сферах, работает мифология атмосферности и подлинности старого, а как оборотная сторона медали – сомнительности и вырожденности нового. Между тем, любое произведение человеческой культуры (начиная с орудий труда каменного века) – это по определению результат применения технологий. Промышленные революции, как например, появление первых мануфактур и конвейерного производства, всегда порождают реакционную ностальгию по утраченному прошлому миру и опыту. В художественном творчестве эта ностальгия выражается наиболее ярко.

На деле же творческое взаимодействие с любой технологией просто меняет акценты и актуализирует какую-то другую фазу ручной работы. Так современная фотография требует тщательного и вполне творческого труда уже не с химическими реактивами, а с графическими редакторами. Пожалуй, это даже куда более сложная задача. Работа со слоями фотографии, возможность постановки света и акцентов прямо в готовом кадре, уникальные эффекты и инструменты современных фоторедакторов дают автору невиданный никогда ранее контроль над частицей реальности. Теперь каждый снимок можно создавать как отдельный мир, теперь ничто не стесняет фантазию художника (разумеется, если она есть). Мысливший себе эволюцию искусств как неуклонное распредмечивание и раскрепощение от стесняющей свободу творчества материи, Гегель наверняка одобрил бы цифровую фотографию. Он нашёл бы в этой технологии почти абсолютную свободу самовыражения. Другое дело – как употреблять эту свободу. На один красивый и оригинальный снимок приходится тысяча бездарных. Впрочем, такая пропорция соединяла в одной формуле талант и посредственность и в прошлые эпохи.

Показатель стремительного развития фотографии как искусства – тот факт, что от неё всё больше отстаёт теория: эстетика или философия фотографии. Например, прекрасная книга Ролана Барта «Camera lucida» (1979) грешит многими неточностями, если брать в расчёт именно современную цифровую фотографию. Уже первое определение фотографии как *искусства случайного и единичного*¹ кажется устаревшим. Обычная уже серийная съёмка даёт множество практически ничем не отличимых копий вместо той уникальной единичности, о которой говорит Барт. Случай вообще может быть совершенно устранён из процесса съёмки и обработки фотографии в графическом редакторе. Любой незапланированный объект (как, например, прохожие или машина, портящие намеренно лишённый следов цивилизации пейзаж) легко устраняется с помощью Photoshop, и художник получает возможность полностью контролировать пространство изображения. Устаревшим можно считать и другой вывод Барта – касающийся особенно целостной природы фотографии, возможности получать в ней нерасторжимое единство референта и значения, реальности и отражения². Методика обработки цифровой фотографии легко расслаивает этот воображаемый континуум на отдельные слои, произвольно меняет отношения между ними, переставляет символические маркеры и т.п.

Лучше обстоит дело с функциями фотографии, которые выделяет Барт (информировать, вызывать ностальгию, означивать, заставить врасплох, живописать), но и здесь любопытней было бы указать именно на психологические пружины, вызывающие потребность в фотографировании. Например, я полагаю, что для женщин портфолио от профессионального фотографа – это вообще важнейший инструмент конструирования собственной личности. Это средство создания своего идеального образа, имаго, двойника, с помощью которого женщина утверждает себя в собственных и чужих глазах. Время, когда женщина начинает считать себя слишком старой для фотографий – символическая смерть, психологи-

¹ Барт Р. Camera lucida (Комментарий к фотографии). М., 1997. С. 11.

² Там же. С. 12-15.

ческий климакс. Поэтому так важно накопить и классифицировать удачные снимки в самый продуктивный (молодой и зрелый) период жизни, когда создаётся та универсальная виртуальная проекция женщины, что предъявляется затем в качестве символического паспорта. Для мужчины же фотографировать означает овладеть не только образом, но и объектом. В фильме «Фотоувеличение» есть эмблематичная сцена, когда фотограф Томас символически насилует модель в процессе съёмки. Томас буквально забирается на неё, поворачивает её с боку на бок, а затем бросает на полу, опустошив несколько кассет с плёнкой.

Итак, фотография интересна своей двойственностью. Она примиряет случайное (в объекте съёмки) и закономерное (в ракурсе, манере съёмки и последующей обработке снимка), природное и искусственное, движущееся и покоящееся, свет и тьму... Мало того: фотография идеально воссоздает модель женского и мужского взгляда на мир. Мужчины чаще всего любят держать камеру в руках, а женщины с охотой располагаются перед объективами. Диалектика вуайеризма и эксгибиционизма, активного и пассивного самовыражения находит в процессе фотографирования самое прямое применение. Позирование и поиск позы или ракурса – это ли не простейшие сексуальные действия (получающие в данном случае характер очевидной сублимации)? Но психологические объяснения феномена повального интереса к фотографии недостаточны. Ведь это ещё и средство познания, инструмент освоения и классификации мира. Фотография «кадрирует» наше восприятие, создает особую форму сознания. Реальность естественных воспоминаний подменяется исправленными и отобранными цифровыми снимками, хотя это мало чем отличается от избирательного и компенсирующего действия механизма памяти. Другое дело, что «фотографическое восприятие» и «цифровая память» в большей степени контролируются умом, чем бессознательными процессами. Потому искусство фотографии – искусство рациональное, мозговое.

ИВАН КУДРЯШОВ

ПЛАКАТ

(статья для «Энциклопедии современной жизни»)

Не так давно, буквально несколько лет назад (в начале нулевых), многие могли быть свидетелями внезапно возникшей моды на плакаты, особенно старые советские и российские дореволюционные, причем как агитационные, так и рекламные.

Интересно и то, что это событие стало само по себе заметным только потому, что мы немного отвыкли от плакатов. Предыдущее десятилетие (90-е) так стремительно приучало нас к постерам и рекламным картинкам, что неминуемо возник разрыв, заметный даже в речи. Сегодня реже говорят «плакат», потому что перешли на англо-американский вариант «постер», хотя и немецкий вариант (плакат) и французский (афиша) все ещё значимы для других. Для людей старшего возраста плакат – это социальный призыв или информационное сообщение, для молодежи – это постер со звездой или реклама. И не редко в наши дни искусствоведы прямо противопоставляют (конечно, скорее эмоционально, чем теоретически) советский плакат современному бездарному постеру.

В этой статье я хочу не столько поговорить об истории или эстетике плаката, сколько сделать акцент на самой форме плаката. Плакат – это всегда мощный союз слова и образа, призванный донести до нас сообщение, призыв. Именно сегодня, когда так много разговоров о визуальности культуры, о глобальных и социальных проблемах, о коммуникации, я считаю, нужно вспомнить о плакате в его социальном измерении. В нашем обществе есть ещё одно немодное слово – «агитация», которое всё чаще заменяют на довольно амбивалентное словосочетание «социальная реклама». Хотя любое чувствительное к языку ухо вполне способно увидеть разницу: когда речь идет об актуальных проблемах общества, призыв или ещё точнее побуждение («агитация» с лат. «приводить в движение», «подстрекать») звучит куда уважительнее рекламы (происходящей от слова «выкрикивать»), которую коннотации давно спаяли с навязыванием и обманом. По сути нельзя не заметить, что социальная агитация и социальная реклама совершенно по разному представляют себе субъекта – того, к кому можно обратиться сообщением. Если в первом случае – это способный на действие социализованный человек (которому нужно указать место приложения сил), то во втором – ленивый социальный аутист (которого нужно ещё убедить в том, что это его касается, как-то увлечь).

Здесь нельзя не вспомнить, как часто среди молодежи звучит скептическое мнение об агитплакатах, особенно советской эпохи – они им кажутся наивными и недейственными. Как возможно такое мнение в стране, где плакаты поднимали на дело миллионы? Однако здесь мы имеем дело с банальной проекцией – именно это поколение нечувствительно к призывам. Советское же общество высоко ценило плакат, его силу. В журнале «Юный художник» 1983 года этой теме была посвящена статья, ставшая классической – «К тебе обращается плакат», в ней раскрывается значимость и ответственность художника-плакатиста. Общество было заинтересовано в качественных работах, мотивирующих людей – это был один из способов поддерживать участие народа в делах страны и общества (хотя они редко что-то



решали). Но расхождение реальности и декларируемых принципов советского общества – несколько не говорит о бесполезности или наивности агитплаката. В духе Алена Бадью мы должны увидеть в этом следующее: необходимость «повторения» этого опыта, как повторения той истины события, которая не была реализована тогда.

Почему же сегодня мы считаем плакат чем-то наивным, отжившим, уже неспособным цеплять наше восприятие? Вспомним, что плакат никуда не исчез из нашей повседневности, мы только лишь перестали его замечать. В наши дни плакаты встречаются в двух сферах. Во-первых, это коммерческая сфера, то есть рекламные плакаты, афиши, продажа тематических постеров и репродукций картин. А во-вторых, это информационные и учебные плакаты. Так до сих пор, несмотря на все попытки модернизировать образование – наглядные схемы и карты преобладают в школах, на курсах и кружках, конференциях и т.д.

Но помимо этого плакат был заново открыт в той самой сфере, что стала главным конкурентом полиграфии и печатного слова – в компьютерной среде. Сперва он возник в виде обоев рабочего стола (wallpapers), которые из простой графики или привлекательных фотографий эволюционировали в разного рода словесно-графические послания. И хотя wallpapers остаётся иллюстративным жанром, некоторые авторские обои выполнены в стилистике плаката или открытки. А позже в интернете возникла целая тенденция (или даже мода) на создание ярких и действенных «плакатов», получивших название «демотиваторы» (или просто «демы»). Демотиваторы в отличие от компьютерной графики изначально ориентированы на простое, прямое и читаемое сообщение. Фактически, это тот случай, когда legendum (подпись к фотографии или картине) целиком составляет послание визуального образа. Вопреки расхожей банальности, что подпись под изображением несёт служебную, поясняющую функцию, нужно сказать, что без текста и рамки эти изображения мы бы просто не понимали, и зачастую вряд ли считали хоть сколько-нибудь примечательными. Иными словами, плакат, в том числе демотиватор, по своей структуре есть нечто совершенно противоположное комиксу или клипу. Как это ни парадоксально, но именно плакат представляет собой своеобразное «поле сопротивления» тотальной визуальности (её идеологической самоочевидности). Ведь ещё Барт в своих «Мифологиях» даёт чёткий анализ образа как способа подспудно протащить идеологическое сообщение в некритическом восприятии.

Чтобы понять, как сегодня возможны такие явления, обратимся к истории возникновения демотиваторов, она довольно примечательна. Демотивационные постеры возникли как реакция (гротескная или пародийная) на мотиваторы – род наглядной агитации, призванный создавать рабочее настроение в офисах и учебных учреждениях. Наибольшую популярность мотиваторы получили в США и Японии в связи с широким распространением корпоративной этики и принципов эффективного менеджмента¹. Что иронично: идейным истоком мотиваторов стали агитплакаты периода холодной войны – как советские, так и американские (периода политики государства благоденствия 40-50-х гг.). Следует отметить, что именно советская социальная реклама была позитивно ориентирована, то есть привлекала внимание больше к ценностям общества, чем к его проблемам. В качестве последних можно вспомнить только антиалкогольные и плакаты по охране труда, а также актуальные в начале советской власти призывы помощи голодающим. Для примера: российская социальная реклама едва ли не целиком проблемная (насилие в семье, алкоголизм, наркомания, курение, аборт, чрезвычайные ситуации, терроризм, СПИД, налоги, расизм и т.д. и т.п.). Американский плакат 40-50-х также «не знал» проблем, кроме «красной угрозы», и стал классикой наивного идеологического позитива. В современном же мире в ответ на навязываемый корпоративный «позитивчик» в интернете вскоре возникли плакаты, сделанные в том же формате, но призванные расхолаживать, вызывать тревогу, агрессию и даже отчаяние².

Демы очень быстро стали популярны, и их тематика стремительно расширяется. Дем стал событием сетевой культуры, своего рода медиа-вирусом, интернет-мемом³. По своей структуре дем очень прост – это изображение в рамке (обычно чёрной) и комментарий в виде надписи-слогана, составленные по определённому формату. Формат демотиватора предполагает основной лозунг (крупным шрифтом) и фразу, поясняющую идею более подробно (более мелким шрифтом). Как и другие плакаты (агитационные, политические, рекламные) демотивационный постер часто использует комический эффект.

Идея демотиватора – это в чистом виде принципы плаката: простота, доступность, выразительность (как главным образом возможность восприятия «на ходу»). Поэтому большинство демов довольно просто устроены: либо на контрасте картинки и подписи, либо делая акцент на неочевидном выводе из картинки. Очень скоро интернет-демотиваторы стали интертекстуальными и в основном развлекательными, всё более выхолащивая своё содержание. В конечном счёте, дем стал способом привлечь внимание к себе, а не к сообщению. Поэтому огромное количество новых демов нельзя считать плакатом.

В целом же возвращение плаката неудивительно: будучи одной из первых форм массовой культуры, плакат стал частью её основного кода. Если можно так выразиться, в самой ДНК массовой культуры есть

¹ Любопытно, что одним из фундаментальных принципов современной концепции эффективного менеджмента стал советский лозунг «Кадры решают всё».

² Крупнейшая на сегодня компания, производящая демотиваторы и другие товары, высмеивающие мотивационную идеологическую обработку, обычную в корпоративной среде, так и называется - Despair, Inc, то есть «отчаяние».

³ Интернет-мем – фрагмент информации или фраза (часто бессмысленная), спонтанно распространяющаяся и становящаяся популярной в интернет-среде посредством тиражирования в интернете всеми возможными способами (по электронной почте, в блогах и форумах, личных страницах и анкетах и др.).

что-то плакатное: по этой читаемости и аффективной недвусмысленности мы легко отличаем масскульт от всего прочего. К тому же идеология активно создаёт людей, всё более склонных к самым простым формам восприятия. Но по сути своей, если вычесть развлекательную составляющую, большинство демов – это рудиментарный способ обмена идеями. Нельзя не признать, что большая часть интернет-пользователей неспособна к обсуждению личного опыта и актуальных идей (о политике, отношениях, жизни) в форме дискуссии или даже развёрнутых фраз. Демы позволили многим высказаться и быть услышанными на том уровне восприятия, который всё более становится средним, общераспространённым.

Но не будем забывать и о печатных плакатах, у них тоже в наши дни есть своя роль, которая всё более чётко оформляется. Не только для молодёжи постеры являются неотъемлемой частью их повседневной – на работе и дома. Многие люди тщательно оформляют свои рабочие места или личные комнаты визуальными образами – плакат здесь больше чем элемент интерьера, это существенная компонента имиджа. Более того, следуя идеям психоанализа, важно понимать определённый диалектический момент в этом процессе: если имидж – это то, что мы сами конструируем (по образу нашего идеального Я), то самоидентификация – это реконструкция тех процессов, которые уже меня конструируют. Это можно заметить на банальном наблюдении. Любой человек в той или иной мере проецирует свою идентификацию на окружающий его быт, но ещё более значимо обратное – для утверждения самоидентификации (то есть чтобы человек сам понимал, кто он такой) необходимо её овеществление. И вот тут как раз и оказываются значимы плакаты, будь то постер с любимой группой, будь то примечательная афиша или реклама, будь то карта или учебный плакат. Разберёмся поподробнее.

Не секрет, что мы оцениваем других через призму того, что они любят. Поэтому постер, подтверждающий твоё увлечение, по функции тождествен репродукции известного шедевра – в первую очередь она представитель моего вкуса, и лишь потом способ потребления высокой культуры. Учебные плакаты довольно точно демонстрируют интересы человека, его увлечения, мечты. У многих в детстве в комнате висела карта звёздного неба, анатомическая карта, плакат со спряжениями английских глаголов или химическими формулами – и всегда за этим стояло желание, мечта. Афиши также носят памятный характер, при этом часто расцениваются как раритеты, ведь афишу нужно ещё добыть (как трофей). Многие вешают и яркие рекламные плакаты. Однако помимо овеществления желания тут проявляется и другая мотивация – неуютность голых стен.

Здесь мы возвращаемся к вопросу: почему людям так важно оформить своё пространство? Конечно, не только ради имиджа. Стремление ассимилировать, окультурить условия «под себя» – одна из базовых селф-потребностей. Наиболее рельефно она проявляется в отчуждающих, травматических условиях, например, большое значение плакаты (наряду с другими способами оформления) приобретают в тюрьме и в армии, особенно на войне. Так в 30–40-х годах XX века возник даже особый художественный стиль благодаря потребности американских военных в постерах и календарях с девушками – это так называемый стиль «pin-up» (от англ. *to pin up* – прикалывать булавкой, кнопкой). Надо заметить, что развешивание девушек в казармах, в кабинах самолётов и бронетехнике (как и изображение на фюзеляже) вовсе не имеет под собой прямого назначения – любование или возбуждение. В первую очередь – это освоение, попытка сделать более привычными, «домашними» обезличенные и травматичные условия. В критических ситуациях плакатный образ с девушкой – вовсе не попытка «воззвать к Эросу», у неё другой смысл: этот образ интер-пассивен, он позволяет не думать, он как бы материализует то, о чём положено (в этой ситуации) думать. Этот образ мечтает «за меня» – о доме, о женщине, о мирной жизни. Для сравнения: известно, что советские воины тоже наклеивали плакаты – на танки, шедшие в атаку, но это были не девушки, а агитплакаты «За Родину!»¹. Если изучить сюжеты картинок в стиле пин-ап, легко заметить, что это либо обыгрывание военных элементов (армейской формы, боевой техники), либо комичные образы девушек, пытающихся справиться с мужской работой (починка машины, текущего крана и т.д.). Сами девушки были рисованные (с реальных моделей, часто известных киноактрис) в довольно пристойных позах, потому можно сказать, что такие плакаты вряд ли должны были по-настоящему возбуждать². О том, что в этих плакатах сексуальность не играла значимой роли (и даже вытеснялась), говорит и сама история этого стиля. После войны он скоро сошёл на нет (хотя оставил свой след в рекламе и кино), но в середине 50-х произошло краткое «возрождение» пин-апа, причём в новом, теперь уже откровенно порнографическом облики.

По сути нельзя понять функцию плаката, если мы не увидим, что для обычного человека «голая стена» – это не просто скучно, но и в каком-то смысле страшно. Плакат – защита от пустоты «голых стен», принимаемая нами за естественное оформление. Обоим, к примеру, не могут дать такого эффекта – они либо слишком пестры и навязчивы, либо незаметны и значит пусты. В плакате, как и в картине, едва ли не центральную роль играет рамка – она показывает, на что смотреть (а зрение так и устроено; чтобы видеть – нужно знать, на что ты смотришь). Конечно, голые стены стали особой проблемой в последние несколько сот лет, то есть это в первую очередь проблема для буржуазного сознания. Эту мысль очень хорошо выражает главный герой романа Тургрима Эггена «Декоратор»:

«Если пустая квартира некрасива, то декоратор тут бессилён. Но даже идеальная квартира никогда не бывает так хороша, как на стадии голых стен. <...> Как вышло, что мы забыли эту аксиому? Объясню.

¹ Здесь, конечно, и другой мотив – плакат как своего рода «иконка», оберег.

² Впрочем, официальное обоснование для поставки таких картинок в армию было следующим: не допустить случаев гомосексуализма среди мужчин, надолго лишённых женщин.



Лет двести тому назад люди усомнились в существовании Бога и души. Тогда-то и забродило это поветрие — забивать хламом каждый свободный миллиметр, чтоб не мозолила глаза своей недоделанностью, не напоминала о душе, о суете нашей пустота. Будь она неладна. Чуть заголится угол, глаза уже видят вертикаль «рай — ад», а нам крайности ни к чему. Взгляните на интерьеры девятнадцатого века, хотя бы в музее Ибсена, это же овеществлённый страх. Horror vacui. Тридцать сантиметров пустого места на стене? Ужас, ужас и ещё раз ужас».

Плакат в этом смысле идеально подходит, так как он «говорит». И мы можем вслед за Лаканом констатировать, что травматичность пустоты, голых стен в том, что они молчат. Бесконечное скольжение речи, структурная невозможность окончания дискурса — это и есть человеческая форма защиты от бессмысленности Реального. Плакат в такой перспективе весьма интересная конструкция: с одной стороны — текстуальная, но с другой стороны — вербальная. Плакат — это ни что иное, как один из способов передачи речи — её аффективной, интонационной нагруженности. Именно поэтому плакат «обращается» к тебе, он имеет свою речь.

Таким образом, плакат интересен как свидетельство истории (кстати, этимология слова латинская, *placatum* — «свидетельство»), его можно и нужно изучать — как его ранние формы, так и современные. На плакатах как нигде чувствуется дух времени и специфика менталитета. Плакат — вещь прямолинейная, акцентированная, в ней есть что-то от аффекта, и потому порой проговариваются неосознанные истины господствующего дискурса. Однако парадокс современного общества в том, что всё чаще коммуникация с другими только и возможна в форме плаката. Мы живем в ситуации перегруженности информацией и жёсткого цейтнота и потому, чтобы быть услышанным и понятым, необходимо плакатное сообщение — броское, простое, читаемое «на ходу». А если учесть, что визуальность играет всё большую роль, то, похоже, в ряде случаев мы просто обречены на обшение и мышление «картинками». Интернет и массмедиа полны таких примеров. В то же время хочется надеяться, что демы и тому подобные примеры «плакатного мышления» всё-таки станут для кого-то отправной точкой к более серьёзному размышлению, а ещё лучше к поступкам.

Впрочем, здесь возникает ещё одна проблема, к которой мы хотели подвести, рассуждая об идентификационной роли плаката. Дело в том, что если изначально плакат был визуальной формой манифестации, то в наше время он скорее — подтверждение имиджа, средство самоманифестации. С плакатом произошло своеобразное оптическое оборачивание: из послания мне он стал посланием от меня другим, из объекта «напротив меня», репрезентирующего нечто для меня, он стал объектом, выставленным мною «перед собой» — предъявляющим меня другим. Речь идёт не о банальности — дескать, плакаты мне интересны настолько, насколько выражают меня. Суть в том, что сама оптика взгляда поменялась и теперь обычный субъект не обращает внимания на содержание плаката, также как не обращает взгляд на собственный нос. За таким переворачиванием последует определённая невосприимчивость к самим сообщениям, или, говоря просто, мы будем видеть именно плакат (как объект, даже своего рода фетиш, которым можно украсить себя, свой образ, своё место), но не его сообщение. А в такой ситуации сама агитационная функция плаката проблематична, то есть мы попросту станем менее чувствительны к социальной рекламе, к проблемам общества и экологии, о которых вещают нам плакаты и демы. Уже сегодня люди поразительно быстро забывают шокирующую правду проблемных плакатов, но ведь эти проблемы реальны и никто за нас их не решит. И, на мой взгляд, одна из причин в том, что современная социальная реклама строится именно как реклама: она заставляет нас чувствовать свою причастность к проблеме, но не более. Сама реклама, если она не становится агитацией, «не верит» своему посланию и тем более «не верит» в нас. Конечно, отсюда не следует, что всякая агитация невинна, вовсе нет — напротив, за призывом к действию всегда стоит преамбула «не думай». Поэтому агитация требует осторожного отношения. И всё-таки социальная реклама в этом плане способна оставлять нам только тревогу, которую нужно заглушить потреблением или любой формой эскапизма. Я думаю, вполне справедливо мнение, что современному обществу жизненно необходима «новая серьёзность», «новая открытость» — в том числе чтобы агитационный плакат мог «выбить из нас дерьмо».

Именно в этом нашем обществе было бы полезно поучиться у советского прошлого. Умение использовать силу плаката сыграло не последнюю роль и в гражданскую, и в отечественную войны, и при восстановлении экономики. Конечно, социальная реклама не может решать проблемы самостоятельно, что легко подтвердит исторический опыт. И всё-таки без жёстких, заставляющих о себе думать плакатов мы станем ещё более социально слепы и глухи. «Плакат — это разящий удар, направленный на голову классового врага, это — возбудитель активности масс, и ему должно быть оказано надлежащее внимание» — писал Дмитрий Моор, автор всем известного плаката «А ты записался добровольцем!». По-моему, настало время вновь вспомнить эти слова и хорошенько задуматься над ними.

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ ЕВГЕНИЯ КРАСНОЯРОВА

TEMPLA NON GRATA

трагедия существования миров в пяти актах с прологом и эпилогом

АКТ ТРЕТИЙ. АД

СТУДЕНТ
СПУТНИЦА СЕВЕРЬ
ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ 1, 2, 3
РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН
ПРОРАБ
ПОМОЩНИК ПРОРАБА
ИНЖЕНЕР
ПИСАТЕЛИ 1, 2, 3
ОБЖОРА
БАНКИР
ВЗЛОМЩИК
МУЗЫКАЛЬНЫЙ УЧЁНЫЙ
ОРЕСТ ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ, профессор метафизики
ФОРБИЦИО БЕНЕ ПЬЕТРОКАРТА, профессор метакимии
ИВАН СУСУМАНСКИЙ, профессор метаархеологии
ЖАН-ЖАК Д'АРВИН-ЭПИТЭ, профессор метаэволюции
ПРАВЕДНИКИ
ОБОРВАНЕЦ
ТОМАС ТЬЮ, пират
ДЖОН ЭВЕРИ, пират
УИЛЬЯМ КИДД, пират
РАБОЧИЕ
ТОЛПА

Сцена в форме круга, радиально разделённая стенами на три равные части. В конце каждого действия сцена поворачивается по часовой стрелке, таким образом, зрителю видна только одна из трёх частей сцены. В каждой стене – дверь, таким образом, на сцене постоянно видны две двери – правая и левая. Персонажи появляются через правую дверь, уходят – через левую.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Берег осушённой реки. На берегу сидит ошарашенный Студент. За его спиной виднеется небоскреб. Пространство вокруг залито лиловым светом.

СТУДЕНТ *(сам себе)*. Утро. Туманное. Утро седое... Скорее лиловое. *(Осматривается)* Где я? Где Беж? *(Поднимается на ноги)* Беж! Я потерял её... Я сам потерялся! Какой туман и как здесь жарко! *(Смотрит в небо)* Какое квадратное чёрное солнце-массонце! Чертовщина какая-то! Беж, Беж! Куда же идти? Добраться до вон того дома и спросить... Беж! *(Бредит)* Я же не смогу без твоих глаз с расширенными зрачками! Никто не мог определить, почему у тебя всегда расширенные зрачки. И милиция интересовалась... О, я тоже не знал, почему, зато я знал, для чего, вернее, для кого... Для меня! И почему на фотографиях твои голубые глаза всегда получались зелёными?... *(Роется в карманах)* Да и кому какое дело! Выходи замуж за меня! Выходи! Вот. *(Держит в руке кольцо)* Есть люди, которые умеют превращать кольца в нимбы, а есть, которые – в... Гробы – постели, гробы – картины, всё – казан-остров, всё – гутлу-с-кланы, вокруг – Емели, всюду – мели, крутом – плотины, караннины, есть хворум, глаз и слёз апостроф, кровавых жрелищ магелланы... Я в суд подам на средние века... Обрати за меня, река! Но почему всё так вышло? О, да! Отчаянье свободы... Свобода отчаянья.



Из-под земли возникает невысокая симпатичная брюнетка лет двадцати пяти с хип-хоповской сумкой через плечо. Это – Спутница Северь.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Отчаянье свободы?.. Ну сколько вам лет!?

СТУДЕНТ. Двадцать три.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. На вас нет знака крещения. А кто Вы и откуда? Ах, простите! Вы, наверное, голодны и хотите пить!

СТУДЕНТ. Кто я? Я – сволочь! А вообще-то студент. Вы не видели Беж?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ (*листает блокнот*). Какая-то ошибка... Беж, Студент... Вы не запланированы. Я знаю обо всех, попадающих сюда. Но Вы не значитесь в списке. Я его только вчера проверяла. Крещение грешников... Первый, пятый, седьмой этажи... Нет, Вас здесь нет.

СТУДЕНТ (*хмурится*). Какие этажи? Какое крещение? Я всего лишь ишу свою девушку, которую столкнули в странную реку неподалеку от нашего города. Её имя – Беж. Когда вода сомкнулась у неё над головой, я прыгнул вслед за ней. Она же абсолютно не умеет плавать. Я уже схватил её за руку... И вот где оказался.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. И Вы не догадываетесь, где мы?

Студент отрицательно качает головой.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Невероятно! Невероятно, но... Как в вечной последовательности единичек и ноликов внезапно вот так взяла и появилась двойка? Одна единственная двойка! Появилась, и всё – всё! – мгновенно разрушилось! Ума не приложу! Я – Северь. Председатель Объединения гидов и поводырей. Добро пожаловать в Ад!

СТУДЕНТ. Куда?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. К сожалению, да.

СТУДЕНТ. Выходит, я умер?.. Выходит, что Беж умерла?! (*Садится на землю, обхватив голову руками*)

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Не знаю, живы ли Вы, но то, что Вы не умерли, это факт. Вы – один из немногих живых, оказавшихся здесь. Если бы Вы умерли, то были бы в этом списке (*указывает на блокнот*), но ни Вас, ни Беж в нём нет. Не расстраивайтесь так! Здесь у нас сейчас неспокойно, но, в целом, неплохо. Люди довольны. Я покажу Вам отель и договорюсь о выделении номера.

СТУДЕНТ (*отрешённо*). Отель... В аду... Смешно!..

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ (*увлечённо*). Да-да-да! Вы не представляете себе, какое это было грандиозное строительство, какая перестройка! После революции, когда эпидемия мятежа охватила всё наше пространство, Ад был практически разрушен. Плотина на Стиксе была разнесена в щепки. Стикс исчез. Честно говоря, мне немного не хватает шёпота его чёрных вод. Да, Стикс исчез бесследно, поглотив перед этим несметное количество душ. Теперь роль пограничной полосы выполняет... Ой, чуть не проболталась. Но важно не это. Важно то, что теперь все довольны. Вместо обветшавших скал и огненных рек, от которых, честно говоря, одна сплошная грязь, у нас – отель, два парка, прелестный пруд и настоящее море. Маленькое, правда. Но оно такое романтичное!.. Сервис на высшем уровне. Полная компьютеризация. (*Горло*) Наше Объединение, гидов и поводырей, тоже – часть проекта. Мы встречаем вновь прибывших, знакомим их с достопримечательностями, размещаем в номерах...

СТУДЕНТ. А где Харон? Лодка? Медяки?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Харон погиб. Лодку так и не нашли. От парома остался лишь кусок обшивки. Вы увидите всё это в музее.

СТУДЕНТ. Это явно Круллов подсыпал что-то в водку!.. ЛСДэшные какие-то галлюцинации получаются...

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Вы ошибаетесь. Всё, что сейчас происходит, реально. Иначе говоря, какое ЛСД, такое и чудовище. Поговорка такая.

СТУДЕНТ. Я, наверное, прилягу... (*хватается за голову*)

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Это всё непривычно, быть может, для вас, но, с другой стороны, мы вас сюда не звали. Вы сами... Но не будем об этом. Может, вы хотите выпить? Портвейн? Шабо? Мерло? Каберне? Вермут? В России лобят вермут? Или, может быть, коньяку?

СТУДЕНТ. Если вы такая добренькая, дайте мне яду.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Пожалуйста, угощайтесь. (*Достаёт из сумки зелёный пузырек и протягивает Студенту. Тот пьёт*)

СТУДЕНТ. Ну и дрянь! (*Пауза*)... Что такое? (*Удивлённо*) Почему ничего не происходит? Почему я не чувствую боли? А предсмертные судороги? Что вы мне подсунули?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Яд. Девятипроцентный. А яды более сильной концентрации у нас можно получить только по рецепту врача. Но скоро он подействует. Вы увидите Ад в другом свете. Вам здесь понравится. В последнее время здесь всем нравится.

СТУДЕНТ. Да идите вы к чёрту! Какой ад? Что понравится? Где моя Беж? Если я здесь, то почему она не со мной? Я ведь поймал её, там, в реке, я ведь держал её за руку!

СЕВЕРЬ. Вполне возможно, что она тоже здесь.

СТУДЕНТ. Но вы же сами говорили, что её нет в этих чёртовых списках. Как же её искать?... (*Пауза*) Неужели... (*Пауза*) Что же мне делать?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Кроме меня здесь есть ещё несколько гидов. Быть может, они что-нибудь подскажут. Но на это нужно время. Хотя бы до конца дня.

СТУДЕНТ. Дня... Может быть, вы узнаете, а я пока посижу здесь? А потом мы уйдём к себе, наверх, а?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Нет. Я обязана доложить о вашем незапланированном появлении. Вас проверят. Выдадут вам свидетельство. Пока временное. Вас же нельзя крестить — вы не мёртвый. Определят на работу, и может быть, вы встретите Беж на каком-нибудь из этажей отеля. Но уйти отсюда вы уже не сможете. Никогда. Мне очень жаль. Через день-два вас умертвят, окрестят...

СТУДЕНТ. Что?!

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. После реформы вы — первый из попавших к нам живых. Поэтому чётких распоряжений на ваш счёт, разумеется, ещё нет. Пока всё решится, пройдёт несколько дней.

СТУДЕНТ. Значит, с Беж они сделают то же самое? Давайте, ведите меня на свой КПП! Пока есть время, нужно что-то делать! Сколько мы уже проболтали?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Две секунды.

СТУДЕНТ. Значит, ваши два дня по земному времени... Здорово!

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Я рада, что вы восприняли всё относительно спокойно. Ничему здесь не удивляйтесь! Понятно? *(Звонит по мобильному телефону)* ЧП. Да. Как обычно. Нет, не у портала материализации. На берегу. Что я здесь делала? У меня выходной. Гуляла. Нет. Живой. Откуда я знаю? Разбирайтесь! У него на лице не написано, шпион или не шпион. Всё. Конец связи. *(Студенту)* Они сейчас придут.

СТУДЕНТ. А что это? Русло? *(Указывает рукой на реку)*

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Русло Стикса. Когда поднялся бунт, Стикс вышел из берегов, рухнула плотина, а потом...

СТУДЕНТ. Почему Стикс вышел из берегов? Почему поднялся бунт?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Долго объяснять. Всё из-за этих идиотских штучек в раю. Там некоторые грехи отменили, и слухи об этом донесли до нас. Естественно, в Аду появилось множество недовольных своей участью, тем более, что тогда Ад был довольно скучным и однообразным местом. Возник дисбаланс. Вся субметафизическая система мира так устоялась, что нельзя было нарушать равновесие... Теперь же тела становятся тоньше, обращаются в оболочки, в мембраны...

СТУДЕНТ. Но не может же река выйти настолько, чтобы затопить пол-ада и полземли! Это неестественно!

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Знаешь, почему в нашем мире не бывает чудес? Потому что у нас всё возможно. И всё — естественно.

СТУДЕНТ *(обречённо)*. Смешалось всё в Доме Олбанских, смешалось всё в доме двенадцатом.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Теперь ты — обычный гражданский в Аду, поступай в наше братство... *(Пауза)* Но так как ты попал сюда неизвестным путем, интерес к тебе будет пристальный.

СТУДЕНТ. Может быть, лучше спрятаться?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. О! Прятаться вечной душе — самое бессмысленное занятие. Нельзя же прятаться вечно! Рано или поздно захочется живого общения и придётся себя обнаружить.

СТУДЕНТ. Зря ты сказала им, что я живой. Иначе можно было бы скрыть, кто я.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Этот мир не такой, как ваш. В этом мире невозможно лгать. Как только ты хочешь сказать неправду, у тебя занемет язык.

СТУДЕНТ. Но искренние люди похожи на акробатов.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Тогда лгуны похожи на акробатов-камакадзе... Лучше я тебя сама представлю властям. Они мне доверяют.

СТУДЕНТ *(не обратив внимания на слова Спутницы Северь)*. ... я бы сказал, что я самоубийца. Вот ты знаешь, как был создан мир, почему в мире так много самоубийц, а? Представь себе кожу Бога. Чистая девственная кожа. Но он был один среди великого Ничто, и, следовательно, ему было очень одиноко, так одиноко, чёрт возьми! Представь...

Появляются Тайные Агенты в чёрном, удивленно прислушиваются к Студенту.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1. Чудесная, чудесная тема для разговора!

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ *(шёпотом)*. Чёрт!

СТУДЕНТ *(не слышит)*. Так вот, он сотворил нож — первым был нож! — и начал резать!.. Представь: кожа, оплодотворённая кровью... А Люцифер...

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 2 *(Студенту)*. Ты знаешь, кто это?

СТУДЕНТ. Тот, кто первым нашёл этот нож. Причём случайно... Вот. Весь материальный и весь духовный мир — это царапины на теле Бога. Кто есть кто — зависит от того, где расположены и какого рода эти царапины. Например, тёмные силы — это незаживающие язвы на затылке... Все растения — это случайные царапины. Ну, бежал, короче, Бог через лес, в бадминтон или там в футбол с бабочками играл, запнулся о махаона, упал, поцарапался... Целый триллер, в общем. Ангелы же — это порезы, которые наносил Бог себе на руки в периоды мнимой истерики — подсознательно хотел, чтобы его пожалели... И только те порезы, которые нанесены Богом действительно с целью умереть, и которые желают, превратившись в сороконожек, сбежать с кожи Бога, становятся людьми...

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 3 *(Студенту)*. Откуда у Вас эти сведения?



СТУДЕНТ. А вы кто? *(Опомнившись)* А... Допрос?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ *(тихо, Студенту)*. Ты пореже произноси слово «Бог»! У нас это самый смертный грех. Кроме того, каждый раз, когда кто-то произносит это слово, на него сразу обращают своё зрение тайные агенты Самого. Здесь Бог – персона non-grata.

АГЕНТЫ 1, 2, 3 *(в унисон)*. Северея!

СТУДЕНТ. Да что же, я его защищаю, что ли? Я же не понимаю, почему у людей нет такого выбора: либо остаться на коже, либо, сбежать с неё и начать самостоятельную жизнь. Вот. Этот выбор должен быть. Однако же Бог такого выбора не предоставил. Я понимаю, это – его ошибка, но нам-то от этого не легче. Он должен пойти на уступки...

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1. Вы говорили ему об этом?

СТУДЕНТ. Кому?

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 2. Богу.

СТУДЕНТ. Вы что, смеётесь? С ним у нас разговаривают только блаженные и аферисты.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 3. Позвольте узнать. У вас – это где?

СТУДЕНТ. На Земле. С другой стороны, если бы царапины покинули кожу Бога, кем бы они стали?.. *(Удручённо)* Мне неизвестно. Понятно, что если бы перестали желать побега и смирились, то стали бы ангелами.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1. А что вы можете сказать об ангелах?

СТУДЕНТ. Ничего. Я никогда о них не думал. Только о Боге. Я часто думал, почему он отрёкся от мира, как от своей ошибки, и при этом хочет, чтобы мы не отрекались от него. Если Небо на меня плюёт, то почему я не могу наплевать на мир, который оно создало и считает своей ошибкой? И что это за несправедливость? Бог совершил суицид и до сих пор не попал в ад, сюда же?

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 2. Но он не умер.

СТУДЕНТ. Как не умер? А где он? На Земле? В раю? Не знаю, как вы, а я доверяю Ницше. Раз он сказал, что Бог умер...

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 3. Кто такой Ницше? У нас он не числится.

СТУДЕНТ. Неужели в рай попал? Блаженный!.. Я не верю в то, что Бог есть. По крайней мере теперь. Вам нужен враг, вот вы и считаете, что он жив до сих пор. Ницше сказал, что враги созданы для того, чтобы держать себя в форме. Это спекуляция на инстинкте соревнований!

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1 *(Агентам 2 и 3)*. Даже не знаю, что думать.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 2. Задайте ему наводящий вопрос.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 3 *(Студенту)*. Какие отношения, по-вашему, существуют на данный момент между раем и адом?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ *(Студенту)*. Лучше молчи. Это провокация.

АГЕНТЫ 1, 2, 3 *(в унисон, громко)*. Северея!!!

СТУДЕНТ. Я в этих вопросах не дока. Если принять за основу, то что Бог – это некий абсолют...

АГЕНТ 1. Капсулют?

АГЕНТ 2. Капуг?

АГЕНТ 3. Салют?

АГЕНТЫ 1, 2, 3 *(в унисон, громко)*. Попсоллют!

СТУДЕНТ. ... то мир существует по принципу матрёшки, мы – в аду, ад – в раю, рай – в Боге, Бог – в Аду. Только верхний ад – это всеобъемлющий ад... Да вы не думайте, что я сумасшедший! Это всего лишь теория. Гипотетическая модель Мироздания. Так сказать, мысленный эксперимент.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1. Враньё исключается.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 2. Сумасшествие?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Нет. Он немного пьян. Когда я его обнаружила, он попросил яду.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1 *(удивлённо)*. И выпил?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Почти весь.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 3. Уважаем таких! Суицид – это самая действенная форма протеста против всемогущества судьбы.

Агенты 1, 2, 3 уважительно качают головами.

СТУДЕНТ. Да не в яде причина!

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 3. Причина?

СТУДЕНТ. Не ломайте головы. Я студент философского факультета. Мне бы за такой экспромт «отлично» автоматом по трём предметам поставили б.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1. Вы верите в то, что сейчас рассказали?

СТУДЕНТ. А философы вообще во что-нибудь верят? Я ещё не видел ни одного верующего патологоанатома.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1 *(Спутнице Северь)*. Как он сюда попал?

Спутница Северь что-то шепчет ему на ухо.



ТАЙНЫЙ АГЕНТ 2. Он самоубийца?
СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Почти.

Агенты 1, 2, 3 совещаются.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ (*Студенту, тихо*). Ты им понравился. Они обожают софистов. Особенно склонных к суициду.

СТУДЕНТ. Да я же искренне!

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Молчи. Я им не сказала про Беж. Она ведь может и не выдержать допроса. (*Нарочито громко*) А у нас даже есть общество философов-самоубийц. Вот общества рудокопов-самоубийц или там водолазов-самоубийц нет, а такое – есть. Хочешь, познакомлю с их гуру? Симпатичная такая девушка! Восемнадцать жизней подряд убивала себя. Философски подходит к суициду – как к смыслу жизни. . .

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1. Решение принято.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 2. Вам выдадут временное свидетельство. Крещение пока невозможно. Вас надо умертвить.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 3. Мы не обладаем нужной для этого аппаратурой, но, думаю, к концу завтрашнего дня всё будет готово.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1. Может, по старинке?

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 3. Зря реформировались, что ли? Подождём.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 2. Северея, вы можете отдыхать дальше. У вас сегодня выходной?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Но экскурсия?

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 1. Вы прекрасно знаете, что вновь прибывших и до крещения вообще ядом не поят.

Это грубое нарушение правил.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 3. Мы найдём для этого. . . м-м-м. . . студента. . . другого гида.

ТАЙНЫЙ АГЕНТ 2. С твёрдым характером. Ждите.

Агенты 1, 2, 3 уходят.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Давай прощаться.

СТУДЕНТ. Но почему?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Мне они теперь не доверяют. Что-то подозревают. Когда я им рассказала твою историю, они особенно заинтересовались рекой. Скорее всего это Стикс. Стикс у вас, на Земле.

СТУДЕНТ. Точно! Стикс! Поэтому он так преображал предметы. И пространство. . .

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Это только начало. Постепенно он захватит всё. И преобразит до неузнаваемости.

СТУДЕНТ. Не может быть! И неужели ничего нельзя сделать?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Со Стиксом? Ты думаешь, это – река? (*Нервно смеётся*)

Появляется Распорядитель Ибн.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Ибн, милый Ибн. Как здорово, что послали именно тебя! Понимаешь, здесь такая история. (*Шепчет ему на ухо*) Ты сможешь?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Северея! Не впутывай меня в свои романтические истории. Я выполняю свои обязанности и только. А если он сбежит?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Не сбежит. Через два дня его умертвят и окрестят. (*Студенту*) Ты ведь не сбежишь, правда?

Студент пожимает плечами. Спутница Северь снова шепчется с Распорядителем.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Ещё и найти Беж? Где я вам её возьму?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Ты проведи экскурсию по этажам и определи его пока на должность, чтобы не вызывать подозрений. Она где-то здесь. Они найдут друг друга и всё закончится хорошо.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Северея, Северея. . .

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Ибн, ты просто душка! (*Обним*) Познакомьтесь! Ибн – Студент! Студент – Ибн! Студент – философ. Ибн – Распорядитель Ада по социальным нуждам и вопросам миграции.

СТУДЕНТ (*пожимая руку распорядителю*). Ого!

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Ага. И давно вы у нас, молодой человек?

СТУДЕНТ. С сегодняшнего дня. А возможно ли, чтобы Спутница Северь поехала с нами?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Не думаю, что она откроет для себя что-нибудь новое. Перед дорогой предлагаю перекусить.

Сцена поворачивается по часовой стрелке.



ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

На сцене – кафе на несколько столиков. Все присаживаются. К Спутнице Северь подходит Оборванец и передаёт ей записку.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ (*Распорядителю Ибну*). Прошу прощения, но я должна идти.

Спутница Северь уходит.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Вот что. Я покажу тебе Ад, возьму на стажировку, а потом уже выберешь работу себе по вкусу.

СТУДЕНТ. А какие варианты существуют?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Много. Душам, которые попадают сюда, мы гарантируем достойную работу. Можно стать архитектором новых поселений или ландшафтным дизайнером, можно – мыслителем. . . Генная ималджинерия развита. . . Кем ты был в предгробной жизни?

СТУДЕНТ. Философом, журналистом. Но. . .

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Что «но»?

СТУДЕНТ. Не доучился.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. И правильно. Иначе бы вконец запудрили тебе мозги. Нам нужен корреспондент. Ездить по провинциям Ада, писать репортажи о происходящих там изменениях в социальной сфере. . . Если другой работёнки себе не заметишь.

СТУДЕНТ. Какая ставка?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. У нас нет понятия «ставка». Оплата сдельная. Сделал больше – получил больше.

СТУДЕНТ. И как часто происходит расчёт?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. У нас ежедневный безналичный расчёт.

СТУДЕНТ. И всё-таки, хотя бы примерно? Тысяч двадцать рублей в месяц получается?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. У нас нет понятия «рубли».

СТУДЕНТ. А какая валюта у вас в обиходе?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. У нас нет понятия «валюта». Мы оплачиваем работу счастьем.

СТУДЕНТ. Чем-чем?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Счастьем! Мы оплачиваем работу непосредственно счастьем. Щедро, без скряжничества.

СТУДЕНТ. Не понимаю. Разве в Аду теперь не страдают?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Страдают. По режиму, в будни, с девяти утра до пяти часов вечера. А кто страдал без опозданий и перекуров, смело отдыхает в свободное от трудовой повинности время. Давим конкурентов из Рая на корню. У них – Абсолютное Счастье. А у нас – и пострадали, и порадовались, и поработали, и отдохнули. Ты ещё не мёртв, поэтому будешь пока только работать. (*Пауза*) Прислушайся, о чём толкуют вон те, во фраках.

За соседним столиком оживляются Писатели во фраках.

ПИСАТЕЛЬ 1. Сделав людей несовершенными, Господь Бог ваш отдалил их от своего понимания. Этим Он добился также и того, что люди перестали понимать Его.

ПИСАТЕЛЬ 2. Нелогичный шаг.

ПИСАТЕЛЬ 1. Доказательство того, что Бог – женщина.

ПИСАТЕЛЬ 2. Люблю женщин.

ПИСАТЕЛЬ 1. А Бога?

ПИСАТЕЛЬ 2. Не люблю Бога.

ПИСАТЕЛЬ 1. Кстати, ваши теории относительно строения материи из молекул и прочей чепухи, между прочим, вдребезги разбиваются. Для этого достаточно просто посмотреть в микроскоп.

ПИСАТЕЛЬ 2. И что там, в микроскопах, видно?

Студент прислушивается к разговору Писателей. Один из них пишет в тетради.

ПИСАТЕЛЬ 1. Что материя состоит из духов, звёзд, созвездий, галактик, в конце концов. И никаких тебе молекул.

ПИСАТЕЛЬ 2. И ты не знаешь, что в этом случае делать?

ПИСАТЕЛЬ 1. Нет.

ПИСАТЕЛЬ 2. Взорви все микроскопы. Это тебе домашнее задание.

ПИСАТЕЛЬ 1. Хорошо, взорву. Только сначала книгу напишу об этом. Назову её «Библия». Да.

ПИСАТЕЛЬ 2. Редактора себе уже нашли?

ПИСАТЕЛЬ 1. Зачем?

ПИСАТЕЛЬ 2. Ну, «Библию» вашу редактировать.



ПИСАТЕЛЬ 1. А! Сам справлюсь как-нибудь.

ПИСАТЕЛЬ 2. Хорошо, справьтесь. Хотя я бы не прочь был помочь...

ПИСАТЕЛЬ 3 (*отрывается от рукописи и вклинивается в разговор*). Авам никогда не казалось, что вот сейчас вы, может быть, мешаєте мне писать свою собственную книгу?

ПИСАТЕЛЬ 1. А вы, значит, книги пишете?

ПИСАТЕЛЬ 3. А что я, по-вашему, похож на художника, так?

СТУДЕНТ (*Распорядителю Ибну*). Это кто?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Писатели.

СТУДЕНТ. Что пишут?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Про нас. Про Ад.

СТУДЕНТ. Разрешают?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. А почему бы и нет? Про Ад уже столько всего насочиняли, что одним опусом больше, одним меньше... Погоды не делает. Отбывают себе потихонечку. Вот этот, например. (*Указывает на Писателя 3*) Он там, наверху, писал, а никто не печатал, не читал, ну и здесь то же самое.

СТУДЕНТ. И хорошо пишет?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Я же говорю – никто не читает. Ему от этого очень плохо. Хуже, чем от пыток. Самолюбив очень и горд. До невменяемости.

СТУДЕНТ. Почему в Аду всё теперь как-то нетрадиционно, что-ли? Из-за Революции?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. У Северей не язык, а находка для шпионов. Равновесие миров нарушилось...

СТУДЕНТ. Программа Мироздания дала сбой?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Ошибка была заложена в программу ещё в момент её зачатия и начала реализовывать себя в момент рождения. Земляне стали тем самым камнем преткновения, из-за которого мир летит в таргарары.

СТУДЕНТ. Почему?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Потому что Бог при рождении выдал некоторым людям цели, причем высокие как Эйфелева башня. Небоскрёбы! А вот возможностей для их реализации не выдал. Вот если бы у него существовал список! Мол, родился такой-то. В первой графе: цель, высокая одна штука, во второй графе – возможности, большие – три штуки. Расписался и свободен. А ложка дорога к обеду, но мы-то с вами знаем: ложки просто нет. Не существует на Земле. Но ложки есть у нас. Причём все разные, на выбор.

СТУДЕНТ. А если у меня нет цели в жизни?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Значит, ты её ещё не осознаёшь. Скажу по секрету, целью твоей жизни было попасть в Ад. А вот ещё. Проблема Бога в том, что он опережает время. Получается, что он наказывает не за поступки, а за мысли, то есть авансом.

СТУДЕНТ. За любые мысли, или только те, которые всё-таки перерастут в грехи?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. За любые. Поэтому все пытаются попасть в Ад. Ведь здесь не наказывают за мысли, а те мысли, которые ещё при жизни перерастают в грехи, прощаются. Политика такая.

СТУДЕНТ. Заманчиво, но не очень понятно.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Поживёшь здесь, привыкнешь. Пойдём, пройдемся по этажам Отеля.

Свет гаснет. Пауза. Луч света выхватывает из мрака Распорядителя и Студента, затем сцена освещается целиком. Левая дверь на сцене завешана коллажем из полотен Г.Р. Гигера и гравюр Г. Доре. В правой части сцены – дверь лифта, к лифту ведёт красная ковровая дорожка.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Вестибюль. Музей революции. В рамке – портрет Харона. Героически погиб, спасая плотину на Стиксе. Самые яркие экземпляры – склянка с тремя каплями воды из Стикса, клык Цербера, крыло Дедала – чудом сохранились. Под стеклянным колпаком Аввакум – бунтарь и консерватор. До сих пор призывает вернуться обратно в дореформенные времена. Оставили в назидание потомкам. Здесь ещё много интересного, но это потом, в свободное от работы время.

СТУДЕНТ. Ничего себе!

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. В первую очередь экскурсия по отелю – он для самых достойных. Опять-таки, здесь старожилы и ударники труда. Чтобы сюда попасть, надо хорошо поработать...

Свет гаснет и через несколько секунд вспыхивает снова. На сцене – стройка. Прораб в сером комбинезоне и десять рабочих в синих.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Вот и первый этаж.

СТУДЕНТ. Как это? Отель стоит на этаже, который ещё не построен?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Кто у нас на верхних этажах? Клятвопреступники. Убийцы, лжецы. С точки зрения греховности заслуженные люди. А на нижних этажах – так, мелочь по шкале греха. И ты думаешь, что заслуженные грешники должны были бы ждать своей очереди, пока достроятся их этажи? Поэтому строить начали сверху, только музей внизу, в цокольном этаже разместили сразу. А обжоры и прелюбодеи на славу потрудились, пока строили и жили под открытым небом. Времени на глупости им не хватало. Раньше в Аду человек страдал. Теперь – работает и отдыхает. Нет, места для страданий у нас достаточно...



СТУДЕНТ. И что, неужели кто-то хочет страдать?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Миллионы! Души делятся на две категории – одним легче страдать. Вторым – легче работать. Мыиспользуем и то, и другое, и как увидишь, никто не жалуется. Учёные изобретают, архитекторы строят, писатели пишут. Предатели предают, прелюбоден прелюбодействуют. И тому подобное.

СТУДЕНТ. Вы так говорите, словно прелюбодей – это профессия, наряду с каменщиком. . .

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН (*смеётся*). Всё зависит от точки зрения на проблему. А здесь в Аду у нас проблем нет.

СТУДЕНТ. Интересно, кто-то же контролирует всю эту жизнь? У вас король или президент? Или здесь вообще коммунизм построен? Если коммунизм, то надо вторую революцию затеять. Зря тогда рабочие надрываются. Всё перестраивать придётся.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Молчи! Здесь распоряжается Сам!

СТУДЕНТ. А его можно увидеть?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Зачем?

ПРОРАБ (*рабочим*). Вы слышали? (*Распорядителю Ибну*) Новенький, что ли? Давай его ко мне! У меня свободных рук не хватает.

СТУДЕНТ. Как это зачем? Интересно же! Может быть, я монографию напишу. «Социальное устройство ада в постреволюционную эпоху». А тяжёлый труд физический не по мне.

Рабочие смеются.

РАБОЧИЕ. Дайте ему кирпичи, пусть о кирпичах монографию напишет! Да нет, лучше кирпичом по голове ему дайте! Пусть работает, как все, оратор!

К Студенту, ухмыляясь, подходит Инженер.

СТУДЕНТ (*Инженеру*). Да чего вы смеётесь?

ИНЖЕНЕР. Зря вы про Него заговорили.

СТУДЕНТ. Почему?

ИНЖЕНЕР. Потому. Вот все здесь очень долго находятся, а Его не видели. Говорят, занят очень. Не до нас.

СТУДЕНТ. Здорово, ничего не скажешь! Прямо как наш декан факультета!

ИНЖЕНЕР. А может быть, и нет Его. . .

СТУДЕНТ. Кого его?

ИНЖЕНЕР. Его. Самого.

СТУДЕНТ. А того?

ИНЖЕНЕР. Ни Того, ни Этого. Самотёк. . .

Появляется Помощник Прораба.

ПРОРАБ (*Помощнику*). Где новая партия?

ПОМОЩНИК ПРОРАБА. Задерживается, по всей видимости.

ПРОРАБ. Где? Нет, вы объясните мне, где? Обмываются после покойницкой? Чтобы немедленно были здесь, а не то ты сам у меня бетон мешать будешь!

ПОМОЩНИК ПРОРАБА. Есть, сэр!

ПРОРАБ. Ты б меня ещё товарищем назвал! Пошёл вон. За работу!

На сцену врывается толпа полуголых мужчин бандитского вида в наколках и татуировках.

ПРОРАБ (*свирело*). Это кто!

ПОМОЩНИК ПРОРАБА. Новая. . . Партия. . .

ПРОРАБ. Вам здесь что, стриптиз-клуб, что ли? Что вы сюда припёрлись в чём мать родила?

Толпа мнётся и смущённо молчит.

ПОМОЩНИК ПРОРАБА. Говорят, что очнулись после смерти уже в таком вот виде. . . нелицеприятном.

ПРОРАБ. Бомжи, что ли? Не похожи. . .

ПОМОЩНИК ПРОРАБА (*Толпе мужчин*). Чего молчите? Рассказывайте.

ГОЛОСА ИЗ ТОЛПЫ. Да не виноваты мы! Доверились ментам! Эх, на понт нас взяли! Под раздачу подвели! Сенька, пёс, сдал! Сторожа кладбищенские, сволочи тоже. . . Раздели, всё сняли. Зубы повыдергали золотые. . .

ПРОРАБ. Что ж ты мне, душонка пёсья, фармазонщиков пригнал! Они ж теперь в таком виде всю вечность проходят! Как же я их на бетономешалку поставлю? Работяг нужно было пригнать, работяг!

ПОМОЩНИК ПРОРАБА. Мне их распорядитель прислал.

ПРОРАБ (*Распорядителю Ибну*). Это что вы мне прислали?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. На перевоспитание. По новой программе. Полный трудовой рабочий день в голом виде. Максимум неудобств и никаких поблажек. Для начала пока пусть у вас побудут, попривыкнут к труду. Потом переведём на другой объект, подуловней что-нибудь. Отвечаете головой.

ПРОРАБ. Да они же ничего, кроме как убивать и грабить, делать не умеют!

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Научите! Сами, между прочим, при жизни не на заводе вкалывали.

ПРОРАБ. При моей жизни заводов не было.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Зато тёмных лесов сколько угодно. Работайте.

Распорядитель Ибн и Студент отходят.

СТУДЕНТ. Странно. Все на одном языке разговаривают. И понимают друг друга.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Мы здесь пошли по принципу, обратному Вавилонской башне. Чем больше народу здесь понимает друг друга, тем проще наладить работу... Ну вот, первого этажа показать пока не могу. Но здесь будут жить язычники, наркоманы, поклонники искусственного физического наслаждения. Не отягощённые другими достоинствами, конечно. Вот они здесь и работают пока.

СТУДЕНТ. Амне кажется, Вавилон приключился тогда, когда первые живые существа выдумали первый язык...

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Умён! Вавилонское столпотворение – это, действительно, момент возникновения первого языка. Но и сейчас случившееся там, наверху, можно было бы исправить! Было бы желание! Возможно, создание совершенного языка, когда никто даже не понимает того, что любой другой разговаривает на совершенно другом, своём языке, но всё понимает!.. Тем более, что в помощь строителям новенькие постоянно поступают. Потому как сдавать отель через неделю, а работы невпроворот. Итак, на первом этаже живут те, кто находит наслаждение в ожидании какого-либо наслаждения, а не в самом наслаждении. Спят по восемнадцать часов в сутки. Наслаждения, понятное дело, не находят. Есть здесь и камеры искусственного погружения в нирвану – новшество среди адских технологий. Запомни пароль в закрытые апартаменты – «Сонное царство»... Да, Беж здесь нет.

СТУДЕНТ. Откуда вы знаете?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Здесь сугубо мужская компания. Если бы она была здесь, все бы об этом знали. На второй этаж!

Распорядитель Ибн подходит к двери лифта и нажимает на кнопку вызова. Около минуты ничего не происходит. Распорядитель нервничает.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Опять он где-то шляется! Ну, где же он болтается так долго?

СТУДЕНТ. Кто?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Кто, кто? Лифт! Говорил архитекторам – постройте лестницу, обыкновенную общественную лестницу! Так нет же! Отвечают: «Вы же хотели современный отель, а ничего современного лифта просто не существует! А лестницы... Даже слово такое вышло из обихода!». А теперь жди, пока ему куда-то вздумалось махнуть!

Дверь лифта открывается. Распорядитель Ибн и Студент заходят. Из-за двери слышны их голоса.

СТУДЕНТ. А долго ждать приходится?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Ну знаешь, например, вчера он почему-то поехал на семьдесят пятый этаж! В здании десять этажей, да и кнопок в лифте таких нет, а он, имбицил, на семьдесят пятый поехал! Ну что ему там нужно? На заправку, что ли, поехал? Не знаю!.. Ждали три часа. Приехал, как ни в чём не бывало. Сам себе на уме он! Дети разврата.

Дверь лифта открывается. Распорядитель и Студент выходят.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Ну вот, это второй этаж, этаж прелюбодеев и сладострастников. Пароль «Дети разврата».

СТУДЕНТ. Кто пароль-то спрашивает?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. А лифт и спрашивает. Пока не скажешь, не откроется. (*Пауза*) На втором этаже постоянно функционируют четыре общественных гарема...

СТУДЕНТ. А как же верность?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. На самом деле, верность имеет значение только для кармических супругов, которые вместе всегда и верны друг другу в мире небытия – от смерти до следующего рождения. Они всегда возвращаются друг к другу. А жизнь на Земле создана именно для того, чтобы изменять своим кармическим супругам. Чтобы убеждаться, что нет никого более подходящего, чем кармический супруг, нужно иметь возможность сравнивать. Жизнь – это способ сравнивать. А здесь ни о какой сансаре говорить уже и не приходится.



Распорядитель нажимает на кнопку вызова. Дверь лифта открывается. Распорядитель и Студент заходят в лифт.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Пароль «Жратва здесь».

Дверь открывается. Распорядитель Ибн и Студент выходят. Этаж заполнен празднующими «гурманами».

СТУДЕНТ. Сколько народу! Как же мы найдём здесь Беж?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. В лифте на панели есть окошко. Вводишь имя или номер и на табло высвечивается, присутствует ли здесь такая личность. Всё просто. Компьютеризация. Да и Беж, я думаю, не сидит на месте. Но ты не обольщайся. Крещение через два дня. И не вздумай бежать! Всё равно не выйдет.

СТУДЕНТ. Мне бы только Беж найти. . .

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Знаю я вас, молодых. Семь пятниц на неделе!.. Третий этаж – этаж чревоугодников, которых мы теперь, по-модному, называем гурманами. На этаже действуют четыре столовые, четыре ресторана, двадцать кафе, двадцать закусовых, есть специальные заведения для вегетарианцев и каннибалов. Впрочем, жители всего отеля, да и гости его тоже питаются здесь. Лучшие повара и официанты! Предлагаю перекусить.

СТУДЕНТ. Не знаю. Я не голоден, в принципе. Мы на пикнике позавтракали.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Да, жители этого этажа тебя бы не поняли. Здесь принято завтракать не менее семи раз в день, обедать – не менее девяти, а ужинать – в течении всей ночи.

СТУДЕНТ. Какой ресторан вы мне порекомендуете?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Все. Ознакомьтесь со всеми блюдами всех ресторанов.

Появляется Обжора. Он давится пирожками. Его тошнит, но он продолжает пожирать пирожки.

СТУДЕНТ. Ужас!

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН (*Обжоре*). Чем потчуют сегодня?

ОБЖОРА (*с набитым ртом*). Эксклюзив. Деликатес. . . Пирожки с печенью Прометея. . . Глаза бы мои их не видели! Тошнотворная вкуснятина!

СТУДЕНТ. С чем?

ОБЖОРА. Да Прометей поругался с орлом! Видеть, говорит, его не могу больше. И голову ему оторвал. Орёл обиделся, в зоопарке закрылся, не выходит. Печень не выклевывает никто! Прометею радоваться бы, что мучения прекратились, а он плачет. Не могу я, говорит, с печенью этой жить. Отвык я. Вы режьте её, говорит. И на кухню. Одну вырезали – вторая выросла! И вот результат. Попробуйте! Вкусно!

СТУДЕНТ. Нет, спасибо, конечно, но как-нибудь в следующий раз. Пойдёмте отсюда. Беж здесь делать нечего. От такого отвратительного зрелища она сбежала бы в первую очередь.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Твоё дело!

Распорядитель Ибн нажимает кнопку вызова. Лифт открывается. Распорядитель и Студент заходят в лифт. Дверь закрывается.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Пароль четвёртого этажа «Банк-рот».

Дверь открывается. Распорядитель Ибн и Студент выходят.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Четвёртый этаж – этаж скупшвов, воров и расточителей. Отличается он тем, что на нём находятся тысяча общественных сейфов, девяносто номеров и пятьдесят магазинов и каждому, кто живёт на этаже, выдаётся связка из тысячи ста сорока ключей от всех сейфов, номеров и магазинов. Отличается самой высокой подвижностью капитала. Это, практически, означает, что всё – общее.

Появляются Банкир и Взломщик.

БАНКИР (*Взломщику*). Господин бандит, господин! Ну зачем вам столько денег? Ну верните ещё хотя бы восемь процентов! Мне же нужен уставной капитал хоть какой-то! А вы и так каждый день грабите! Вам же не копить доставляет удовольствие, а стяжать! А я без богатства не могу, я зачахну!

ВЗЛОМЩИК. Уйди, кровосос! Сил тебя терпеть нету!

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН (*Банкиру и Взломщику*). Опять тарифы нарушаете?!. Вы же знаете! Грабежи раз в три дня. И с условием обязательной траты награбленного. Баланс нарушаете.

ВЗЛОМЩИК. Точно мне! Переведите к прелюбодеям. Я к скупшвам этим ненависть испытываю. Мне уже и грабить неинтересно.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Не положено. Только на полевые работы могу. Или на стройку. Там новую партию рабочих доставили. Прямо с разборки. Бандиты и разбойники. Если хотите, выпишу пропуск. Пообщаетесь. Развеете тоску. Но с условием вернуться обратно.

ВЗЛОМЩИК. Идёт! Ура! Согласен!

БАНКИР. Господин грабитель, а кто же будет грабить конкурентов?

ВЗЛОМЩИК. Найдутся желающие.

БАНКИР. Нет, я так не согласен. Я только вам доверяю. Другие их жалеть будут, пятьдесят процентов им оставлять!.. А у меня теперь нет ничего. Как же мне теперь приличной публике на глаза показаться? Господин разбойник, не оставляйте меня!

ВЗЛОМЩИК. Уймите его, или я мокруху учиню!

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Разбирайтесь с ним сами! И за пропуском подойдёте к распорядителю Фону. Я с ним поговорю.

БАНКИР. Спасибо!

ВЗЛОМЩИК. Спасибо!

Распорядитель Ибн нажимает кнопку вызова. Лифт открывается. Распорядитель и Студент заходят. Из-за двери слышен голос Распорядителя.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Пятый этаж ещё не оштукатурен. Ничего интересного пока что. Поедем сразу на шестой. Пароль шестого этажа «Клонирование всех Всевышних сил».

Дверь лифта открывается. Распорядитель Ибн и Студент выходят.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Это этаж еретиков и учёных. В современном обществе это одно и то же. Хотя, скажу по секрету, назвать наше общество современным нельзя. Однако почему-то всё, что глаголят еретики, оказывается через несколько лет прописной истиной.

СТУДЕНТ. Что полезного сделали учёные для вас?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Ну... Всё. Они ликвидировали революцию в аду. Они нашли занятие каждому. Так что всё, чего мы достигли, мы достигли благодаря еретикам. Знаешь, каков их главный девиз? «Показать людям все те чудеса, до которых не дошли руки Всевышнего!» Они уже клонировали Небо. Теперь заняты клонированием божеств. Другое дело, что от подобных чудес мало практической пользы. Но ты увидишь ещё много полезных чудес, если будешь дружить с учёными. Запомни! На этаже – четыре лаборатории, в каждой из частей света. Если хочешь, могу тебя познакомить с самым харизматичным учёным нашего мира. Он уже много лет работает над изобретением восьмой ноты.

СТУДЕНТ. Я думал, что учёным достаточно и двух.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Что правда, то правда. Сам бы он никогда не додумался до этого проекта. Его попросили об этом музыканты.

СТУДЕНТ. И как его успехи?..

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Не знаю. Мне кажется, чем дольше он занимается этим, тем меньше нот остаётся. Сейчас в аду работает пять нот. Чья это вина, его или музыкантов – не знаю...

Появляется Музыкальный Учёный.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. А вот и он сам! (*Музыкальному Учёному*) Познакомься! Этот человек тоже интересуется изобретением восьмой ноты.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УЧЁНЫЙ. Это очень приятно мне.

СТУДЕНТ. На какой стадии ваша работа?

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УЧЁНЫЙ. На самой начальной. Но это ничего не значит. Ещё вчера она была на предпоследней, так что увидим, что будет с ней завтра.

СТУДЕНТ. Вы, что же, хотите сказать, что ситуация совсем неподконтрольна вам?

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УЧЁНЫЙ. Нет, почему же! Я выяснил, что существование восьмой ноты определяется, скорее всего, количеством измерений данного пространства, и я уже вывел формулу зависимости количества пространственных измерений от количества нот. Скорее всего, для того, чтобы родилась восьмая нота, нужно уничтожить, хотя бы временно, ноту Ре. Или, может быть, в крайнем случае, ноту Соль. Пока что я уничтожил До и Ми.

СТУДЕНТ. Музыканты не жалуются?

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УЧЁНЫЙ. Но ведь искусство требует жертв. Они меня понимают.

Распорядитель Ибн нажимает кнопку вызова. Дверь лифта открывается. Распорядитель и Студент заходят.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Пароль седьмого этажа «Некрологово».

Дверь лифта открывается. Распорядитель Ибн и Студент выходят.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ (*Указывает рукой на табличку на стене около лифта*). Вот такие таблички есть на каждом этаже. На каждой табличке написаны девять заповедей...



СТУДЕНТ. А почему здесь нет заповеди «Не убей»?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН (*усмехаясь*). Да потому что на седьмом этаже живут убийцы! Запрещать им убивать – это тоже самое, что запрещать женщине – производить детей. На этаже – тридцать тёмных переулков, двадцать тупиков и семьдесят тёмных коридоров. . .

СТУДЕНТ. Убивают?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. В основном, своих соседей. . .

СТУДЕНТ. Но тогда из них бы уже давно никого не осталось даже в мёртвых!..

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Ты, главное, не беспокойся. Каждый убитый здесь на следующий день же воскресает. В этом вся соль. Невыносимо каждое утро снова видеть того, кого убил накануне. И так каждый день.

СТУДЕНТ. Тогда почему они не останавливаются?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Двойственность души. Причиняя друг другу боль, они доставляют друг другу наслаждение. И мучаются от этого. И, в конце концов, просят на другие этажи. Истощаются и переходят в касту рабочих. А рабочие, наоборот, поднимаются по этажам отеля всё выше и выше. Мы против застоя. Мы за круговорот душ в природе.

СТУДЕНТ. Выходит, что в поисках удовольствий души меняются не в худшую, а в лучшую сторону?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Нет сторон. Добро и зло – это не два разных измерения. У смысла в этом мире есть только одно измерение. Все удовольствия одинаково совершенны, ведь и Ад – совершенен.

Распорядитель Ибн нажимает кнопку вызова. Дверь лифта открывается. Распорядитель Ибн и Студент заходят и выходят.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. На восьмом и девятом этажах живут лжецы и предатели. Ничего особо интересного там нет. Тридцать камер лжи. Пять Гефсиманских садов и два Гефсиманских леса. Все уже предали друг друга, всё друг о друге знают и всё равно лгут друг другу и друг друга предают. Тоскливо.

СТУДЕНТ. А те, которым скрывать нечего?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Если человек умер, значит ему есть что скрывать. Иначе бы он не умирал.

СТУДЕНТ. Вы хотите сказать, что человек, которому нечего скрывать, может жить вечно?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Да, но если человек родился, у него уже есть что скрывать.

СТУДЕНТ. А леса-то зачем?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Для совершенствования себя и перехода на следующий уровень мастерства.

СТУДЕНТ. Что-то мне совсем не хочется жить на этих этажах. Может, проедем их?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Без проблем! Но пароли запомни. На восьмом это «Истины нет, и поэтому всё субъективно» (*Дверь лифта лихорадочно открывается и Распорядитель нервно захлопывает её*), а на девятом – «Иуда – наш идеал» (*Дверь лифта снова открывается. Распорядитель – захлопывает*). Пароль же десятого этажа – «Кладбище самоубийц».

Дверь лифта открывается. Распорядитель Ибн и Студент выходят и прохаживаются по сцене. Звучат слова из песни «Опium» группы «Агата Кристи» («Убей меня, убей себя, ты не изменишь ничего. . .») в исполнении народного хора.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. А чтобы ты познал все пароли, вот тебе памятка, и вот к ней шпаргалка, чтобы запомнил. (*Достаёт из камана увесистую пачку бумажек и две протягивает Студенту*)

СТУДЕНТ. Ага.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Мы на последнем, десятом этаже отеля. В принципе, это даже не этаж, а чердак. Это этаж людей, которые не нашли своего места в жизни, потому что их место было здесь. Которые не самоувердились, не сделали ничего полезного, прожили бестолково и ни одного человека не наградили счастьем. Это этаж самых несчастных при жизни людей. Они не сделали ничего, чтобы Небо их заметило, и Небо их не заметило. Небо даже не догадывается об их существовании. Конечно, мы не могли оставить этих людей в таком плачевном состоянии! Мы построили для них два оружейных магазина, сто тридцать виселиц, восемьдесят гильотин и целых две тысячи муляжных окон в никуда. Естественно, здесь и живут все самоубийцы. Ночевать принято на виселицах. Есть, конечно, как и везде, оригиналы-эстремалы. На гильотинах спать любят. Сны в стиле экшн предпочитают. . .

СТУДЕНТ. Бедняжки! Представляю теперь, что такое несправедливость! А если этим людям не представился случай сделать кого-то счастливым?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Вот и я о том же. Но здесь им хорошо. Думай, где поселишься после крещения. Думай, думай! В любом случае, чем бы ни закончился поиск Беж, ты останешься здесь.

СТУДЕНТ. А разве не вы определяете, где поселить?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Каждая душа стремится попасть в знакомую обстановку. К своим. И делать то, что умеет. Предавать, убивать, жадничать. . . А те, кто устаёт от этого, кто хочет чего-то иного, покоряют новые пространства. Ад ведь не только из отеля состоит. Если ты не определишься сам, то пройдёшь тест.

СТУДЕНТ. А что, больше нечего осматривать? Беж-то нигде нет! А Северь говорила, что она обязательно найдётся где-то здесь! Может быть, она не в отеле? Может быть, она в его окрестностях?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Невозможно! Душа может скрыться только в отеле. Несмотря на все каме-

ры, которыми он нашпигован. На открытых пространствах души видны сразу. Если бы тебя не увидела Северя, то нашли бы Тайные Агенты.

СТУДЕНТ (*оторопело*). Что же делать?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Есть ещё над десятым этажом библиотека. Там — лучшие умы Ада. Теоретики. Вход туда свободный, без пароля. Правда, это и самое беспокойное место. Вечно там всякая шваль обретается! Учёным не хватает общения и вдохновения. Туда без пропуска проходят души со всех этажей. Но если они пребывают там дольше положенного, их уничтожают.

СТУДЕНТ. Ничего себе!

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Да. Одна из немногих жестокостей, которые мы позволяем себе в Аду. Но ещё одной революции допустить ни в коем случае нельзя. Мы ведь думаем не только о себе, но и об остальных мирах. О твоём, например. Стикс пролился на Землю разрушительным дождём и люди необратимо мутируют лет через двадцать по нашему времени.

СТУДЕНТ. Всё, конец родной планете! Он же переделывает и перекраивает всё по-своему! Он оживляет манекенов. А если манекены уничтожат людей?.. Кто же тогда будет пополнять ваши адские ряды? Для кого тогда вы расширяете пространства?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Не уничтожат, не победят! Мы не допустим.

СТУДЕНТ. Правда? Хотя лучше бы они победили.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Почему?

СТУДЕНТ. Я видел одного из них. И то, что он говорил, было истинно. И то, что он говорил, заставило меня жалеть о том, что я — Человек. Но почему на Земле начали оживать манекены?

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Потому что менталы людей начали отключаться от гипнотической матрицы ещё при жизни.

СТУДЕНТ. Быть может, манекен — это последняя ипостась развития каждого человека. Вот и Северя считает, что после всего этого райского беспредела, тела всех существ истончаются, обращаются в оболочки, а это и есть — манекены. . .

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Что она знает? Она родилась здесь, в семье известного правителя пятьдесят шестого тысячелетия и наркоманки-язычницы тридцать девятого тысячелетия. Она никогда не была на Земле! (*Кричит в сторону лифта*) Чуть! Позовите сюда Северя!

Вбегает Спутница Северя. Её лицо сверх меры накрашено — тени, румяна, тушь.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН (*смотря то на Студента, то на Спутницу Северя*). Последняя ипостась развития каждого человека — это бес! Запомните это раз и навсегда! Есть ещё одна истина, которую никогда не смогут осознать люди, попавшие в рай. Вам всегда говорилось, что люди могут реинкарнировать только в качестве человека. Но это ложь! На самом деле человек может реинкарнироваться не только как живое существо, но и как какое-то действие, поступок, мысль, грех, в конце концов. Например, в одной своей реинкарнации человек может быть полётом птицы, в другой — поцелуем Иуды или удачной попыткой суицида. . . (*Спутнице Северя*) Куда ты так вырядилась? Замуж?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Я уезжаю в командировку. К нам рвутся незаконные мигранты из рая. Сталин попросил выяснить ситуацию. У праведников извращённое восприятие красоты. . .

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Иди!

Спутница Северя убегает.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Если произойдёт ещё одна революция в каком бы то ни было из трёх миров, они все вообще могут исчезнуть.

СТУДЕНТ. И пусть! Мне без Беж не нужен ни один.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Не будь эгоистом! Может быть, она в библиотеке. Ведь кто-нибудь из распорядителей мог привести её туда так же, как я тебя. Северя должна была обзвонить их всех, но мало ли, вдруг с кем-нибудь нет связи. (*Пауза*) Всё, больше я тебе ничем помочь не могу. Экскурсия по отелю закончена. Сегодня по программе — ужин и отдых. Завтра экскурсия по окрестностям. Пойдём в ресторан!

СТУДЕНТ. Нет аппетита. Можно я пока посижу в библиотеке и подожду, вдруг что-нибудь прояснится.

РАСПОРЯДИТЕЛЬ ИБН. Хорошо. Только без фокусов. Или я, или Северя придём за тобой на рассвете. До свиданья.

Распорядитель Ибн бодро уходит. Свет гаснет и, зажигаясь снова, работает в режиме стробоскопа. Под деревьями сидят четверо учёных и играют в шахматы на огромной четырёхсторонней доске. Студент подходит к ним.

СТУДЕНТ (*Профессорам*). Ух ты! Как же в это играть-то?

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ (*Студенту*). А вы, собственно, кто такой?

СТУДЕНТ. Студент.



ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Вы тоже ищите здесь уединения от насущных проблем?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Ясности мысли?

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Новых открытий?

СТУДЕНТ. Да нет. Я с Земли недавно. Я ищу одного человека.

Профессора разочарованно отворачиваются.

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. Так вы не учёный и не профессор?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Профан...

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. В отличие от Верхнего мира, в нашем уже давно известны шахматы для трёх, четырёх, пяти и более игроков, и все могут играть одновременно.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Более того, существует несколько тактик игры, так называемых стратегий. Можно, например, играть поодиночке, то есть против всех кроме себя, а можно объединяться в коалиции с кем-нибудь и играть вдвоём или втроём против одного, двоих или троих.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Я слышал, что в Верхнем мире пытались создать подобные шахматы, но, по непонятным мне причинам решили, что шахматы для четырёх игроков могут существовать только в четырёхмерном пространстве, поэтому начали с создания такого пространства, над чем до сих пор и трудятся. Кроме того, они считают, что в любом случае в шахматы одновременно может играть только чётное количество человек...

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. Но это же бред!

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА (*Профессорам*). Да что с ним разговаривать! Мешает только. То праведники здесь шлятся, то земляне. (*Студенту*) Уходи!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Погодите! Как в Верхнем мире относятся к родословной Адама, которая получила продолжение после Христа? Этот вопрос волнует меня несколько тысячелетий. Только вот не надо мне выкладывать хрестоматийную точку зрения! Это не фокус. С маргинальными гипотезами вы знакомы?

СТУДЕНТ. Поговаривают, что в тринадцатом веке потомки Христа стали отдельным народом и, обосновавшись в Тибете, стали йогами и йогинями, а ещё через два века ушли жить в подземные города, расположенные в полостях Земли... Предания о гномах там... Говорят ещё, что подземные туннели соединяют между собой разные континенты.

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. Устами младенца глаголет азбука! Когда-то в незапамятные времена я исследовал эти туннели. Один из них проходит под Индийским океаном и соединяет Гизы и Австралию. И самый большой подземный город расположен именно под Индийским океаном. А назвали его Аркаим, в честь древнейшего современного города на Земле. Но когда я исследовал этот город, туда, видимо, ещё не пришли потомки Христа.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Интересно другое! В чём смысл их заточения? Зачем они прячутся?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. А может, это человечество от них прячется? Вот.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Ведь доказано, что чем дальше от поверхности земли находится организм, тем медленнее он стареет. Вот почему мы не стареем здесь!..

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Вы опять со своими идеями вечной жизни!

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. Всё заканчивается рано или поздно. Уж я-то знаю.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. А вечная жизнь существует. Я доказал это!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Но только теоретически!..

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Не важно. Ваши выкладки тоже не нашли практического применения!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Нессорьтесь! Здесь, наверное, мало пространства для испытаний. И потом, зачем нам приземлённая эмпирика? Тише едешь – дальше будешь.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Да уж хотелось бы теорию на практике проверить!

СТУДЕНТ. А скажите, в этой библиотеке, можно найти всё, что угодно? Например, кого-нибудь из рая?

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Молодой человек, вы читали когда-нибудь «Переписку Ивана Грозного и Надежды Крупской»? Не читали? Почитайте. Там рассказывается о том, что перебивать – вредно для здоровья. Умственного прежде всего.

СТУДЕНТ. Не могло быть никакой переписки, потому что они не были знакомы.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Мальчик мой! Ты слишком мало знаешь о метафизике!

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. А о метахимии ты вовсе ничего не знаешь, мальчик.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. О метаэволюции (*кланяется, движения и мимика обезьяны*) и метаархеологии (*указывает рукой на Профессора И. Сусуманского*) и вовсе говорить не приходится...

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. Это в вашем мире они не могли быть знакомы, а у нас очень даже могли.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. И были.

СТУДЕНТ. Это замечательно. Вы говорили о праведниках. Они – из рая?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Ну не из Ада же!

СТУДЕНТ. А где они? Они здесь?

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. Где-то были.

Вбегают Праведники. Освещение сцены переходит из режима стробоскопа в обычный режим.

СТУДЕНТ (*Праведникам*). Вы праведники?!. Как это вовремя, как это здорово!

ПРАВЕДНИКИ (*Студенту*). Не кричите так! Мы здесь нелегально.

СТУДЕНТ. Шпионите?

ПРАВЕДНИКИ. Нет, мы на вечное поселение. У вас прогресс! У вас море! У вас Отель! А у нас всё по старинке. Скука! Только мы боимся, нас обратно отошлют.

СТУДЕНТ. А давно вы здесь?

ПРАВЕДНИКИ. Да нет, часа два.

СТУДЕНТ. А долго вы были в раю?

Праведники стонут.

СТУДЕНТ. Может быть, вы видели эту девушку? (*Показывает фото*) Её зовут Беж. Она пропала. Её нет на земле. Нет в Аду, по всей видимости. Может быть, она попала в рай?

ПРАВЕДНИКИ. Нет, не видели. Там, конечно, не так много народу, как здесь. Но всех не упомнишь. Может быть, она и там.

СТУДЕНТ. А как вы попали сюда? Если есть ход сверху вниз, значит – и наоборот?

ПРАВЕДНИКИ. Мы не знаем. Упали, наверное.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Ага, понятно. (*Профессору О. Глянцеву-Несусветлому*) Орест, признавайся! Опыты ставил?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Всего лишь сеанс связи между мирами. Причем не двусторонней. Просто уловил сигнал и нажал не на ту кнопку.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Понятно. Сбежать задумал? Без нас?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Да вы что! И в мыслях не было! Просто работаю над теорией пространства.

Праведникам неинтересно, они, пятясь, уходят.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Ты с раем-то поосторожней! А то ещё в бунтовщики запишут, и – конец научной жизни.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Если бы вы знали, что я открыл!

СТУДЕНТ (*Профессорам*). Вы не знаете, если я сброшусь отсюда вниз, я разобьюсь? Насмерть? Так, чтобы не существовать больше нигде?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА (*Студенту*). Сбросьтесь, пожалуйста. Тогда на вас, если вы умрёте, как на мертвецке, я смогу наконец-то опробовать эликсир Франкенштейна.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Завещайте мне вашу душу! Под исследования. Последние две такие примитивные попались! Может быть, ваша попримичнее...

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. Он просто перестанет быть человеком и всё.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ (*Студенту*). А, собственно говоря, почему вы тянетесь вниз? Любая развивающаяся личность тянется вверх. Погодите, меня осенило. Вы – даун?

СТУДЕНТ. Да сами вы дауны! Кто мне скажет, как человек может затеряться в трёх мирах, и чтоб ни следа, ни весточки? Кто мне скажет, как выбраться из этого чёртова Ада? Кто? Никто!.. Потому что это невозможно! А если она в раю, значит, мы никогда не увидимся больше. Проклятые три мира!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. А почему, собственно, только три? Их тысячи!

СТУДЕНТ. Тем более! Уничтожьте меня! Вы же ученые!

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Мы – профессора. И мы не разрушаем. Мы призваны созидать.

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. И изучать. А вы нам мешаете.

СТУДЕНТ. Не по своей воле. Но неужели отсюда никак нельзя выбраться?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Легко! Куда бы вы хотели попасть?

СТУДЕНТ. В рай.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. И очень даже просто! Рай – это параллельный метамир ада. А знаете ли вы, как образуются параллельные метамиры? (*Пауза*) При столкновении в пространстве либо одного из метамиров двух чёрных дыр, либо в пространстве (*с брезгливостью*) обычных миров двух чёрных метадыр. Правда, существование в обычных мирах чёрных метадыр ещё не доказано. Что я и собираюсь исправить... Итак, (*пауза, лицо становится вдохновенным*) когда две чёрные дыры, существующие в данной вселенной, пожирают вещество и пространство этой вселенной, свободного вещества и пространства в данной вселенной становится всё меньше и меньше и расстояние между чёрными дырами становится всё меньше. Естественно, в любой вселенной, где существуют хотя бы две чёрные дыры, рано или поздно происходит столкновение этих самых пресловутых чёрных дыр. И что же происходит тогда? Чёрные дыры сливаются в одно целое. В пространстве данной вселенной этот объект перестаёт существовать. Внутри же в момент соития происходит так называемый деколлапс пространства, и то, что находится внутри этого слившегося объекта – и является параллельным миром, абсолютно самостоятельным и уже не связанным с предыдущим миром, благодаря которому он появился. Чем, вы



хотите спросить, обусловлено рождение и устойчивое существование этого параллельного мира? Ибо! Ибо в этом пространстве существуют все необходимые условия для существования этой параллельной вселенной, такие как минимум два пространственных и два временных измерения. Почему, вы спросите, этот мир не пересекается с другими параллельными мирами, которых, да будет вам известно, великое множество? Потому что их параллельность определяется главным образом (*каждый раз, когда Профессор О. Глянцев-Несусветлый произносит слово ПИ, его заглушает звуковой цензурный сигнал из динамика*) числом ПИ, абсолютно разным в каждой вселенной. Поскольку это число не может быть целым и везде является неправильной дробью, может существовать бесчисленное количество значений числа ПИ, и разница даже в одну десятиллионную часть от единицы даёт возможность существования двух параллельных вселенных, которые никогда не пересекутся. Таким образом, единственным способом переместиться в параллельный мир является достижение изменения числа ПИ в пространстве, которое определяется объёмом всех тел индивидуума. Причём невозможно узнать предварительно значение числа ПИ в другом мире, и поэтому приходится либо наугад устанавливать какое-либо значение, либо постепенно увеличивать, либо уменьшать значение ПИ внутри себя. Вот. Но при этом существует опасность, хотя и очень небольшая, что подопытный попадёт в ПИ-пустоты, то есть в такие области значения числа ПИ, которым пока ещё не соответствует ни один мир, ибо не образовался ещё. И тогда я уже не знаю, что будет с этим человеком. . . Наверное, ему придётся вне пространства и времени – вечно – ждать, пока при соитии каких-либо двух чёрных дыр образовавшаяся параллельная вселенная не станет носителем именно такого значения ПИ, которое обрело тело пациента. . . (*вдох, выдох*) Вот. . . Всё просто.

СТУДЕНТ. А как менять это число ПИ? Вы знаете?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Знаю. Но вам не скажу. Где гарантия, что вы не украдёте мою теорию и не присвоите её себе?

СТУДЕНТ. Да не нужна мне ваша теория! Мне практика нужна!

Профессора смеются.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. На практике опробовать мою гипотезу будет практически невозможно.

СТУДЕНТ. Но почему?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Необходимо средство передвижения, достаточное для того, чтобы выдержать избыток энергии, вырабатывающийся при выходе из одного метамира в другой. Здесь таких нет.

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. Если бы нам вообще давали ставить опыты! Я бы первым делом реконструировал Атлантиду и клонировал хотя бы одного атланта! И, что самое обидное, выкладки все есть, а проверить нельзя.

СТУДЕНТ. Почему?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Боятся нам волю дать. Чтобы Ад не разрушили.

СТУДЕНТ. Что же делать?

Появляется Спутница Северь.

СТУДЕНТ. Северея, ну что? Чем порадуешь?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Ничем. Здесь её нет. Прости. Может быть, воды Стикса её растворили, или. . .

СТУДЕНТ. Или она попала в рай. . . Северея, мне нужно в рай!

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Но это невозможно!

СТУДЕНТ (*Профессорам*). Скажите ей.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*Спутнице Северь*). В принципе, возможно. Даже очень.

СТУДЕНТ. Нам нужно средство передвижения. И мы попадём в рай. И там. . .

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Не кричи. Нас могут услышать. Ты подбиваешь меня помочь в организации побега? . . . Нет, я не могу. Это слишком! Зачем я тебя нашла? Лучше бы ты попал к другому распорядителю!..

СТУДЕНТ. Северея, ты же не предашь меня?! Я отблагодарю. Хочешь, я заберу тебя с собой?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. В рай?! Но там такая скука!..

СТУДЕНТ. Тогда я опять взбунтую Ад!

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. У тебя не выйдет!

СТУДЕНТ. Или спрыгну с крыши. Не умру, так покалечусь. Мне жизнь не дорога.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Ладно. Я постараюсь что-нибудь придумать. А с кем ты полетишь?

СТУДЕНТ (*кивает на Профессоров*). С ними.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Но мы ещё не решили!

СТУДЕНТ (*Профессорам*). Да что решать?! Все при выгоде. Вы испытываете свои теории. Где хотите! И никто вас не ограничивает. А меня в рай по пути закинете и всё!

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Вас поймают!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Не поймают. Не успеют. Мы исчезнем в мгновение ока.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Это вы сейчас так говорите. А вдруг что-то пойдёт не так?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Вы сомневаетесь в наших знаниях. А знаете ли вы, что Ад восстановлен благодаря нашим стараниям?



СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Знаю. Хорошо. Что вам нужно?
 ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Паровоз.
 СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Но у нас нет паровозов! Есть только корабль...
 ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Отлично!
 СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Пиратский. И вам они его не отдадут.
 СТУДЕНТ. Чем чёрт не шутит! (*Профессорам*) Собирайтесь!
 СПУТНИЦА СЕВЕРЬ (*Студенту*). Зря ты это затеял.
 СТУДЕНТ. Увидим!
 ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. (*Профессорам*). Уф! Собирайте шахматы, позже доиграем. Форбицию, за-
 помни расположение фигур.

Профессор Пьетрокарта собирает шахматы в полосатый чёрно-белый саквояж.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Мы готовы.
 СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Подумайте хорошенько.
 ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ (*мечтательно*). Сравнить пути эволюции в Аду и в Раю! Такой шанс выпадает
 лишь раз в жизни. Мы готовы!
 СТУДЕНТ. Мы угоним их корабль. (*Пауза*) Одну секунду! (*Спутнице Северь*) Ты могла бы поехать со
 мной...
 СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Я не могу. Я здесь родилась. Я надеюсь, мы ещё встретимся. Такое у меня пред-
 чувствие.
 СТУДЕНТ. Может быть, Северь. Спасибо тебе за всё. Без тебя у меня не было бы никакой надежды.
 СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Глупости! Мы все, рождённые в Аду, такие.
 СТУДЕНТ. Удачи!
 СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Беги же!

Студент и Спутница Северь жмут друг другу руки. Студент и Профессора бегут к лифту.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ (*вдогонку*). Они на берегу моря. С чёрного хода Отеля.

Сцена поворачивается по часовой стрелке.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

*На сцене – берег моря. Два корабля на некотором отдалении друг от друга. С одного из них пароход-
 ные гудки слаженно играют гимн Советского Союза. Около корабля – десяток праведников. На втором
 – никого не видно. Студент и Профессора выбегают из лифта и растерянно оглядываются.*

СТУДЕНТ. Вот те на! Два корабля! И какой из них наш?
 ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. На одном из них никого, вроде бы, нет. А те – на пиратов не
 похожи. Пойду, спрошу. (*Подходит к горстке людей. Праведникам*) Вы кто?
 ПРАВЕДНИК 1. Праведники!
 ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. И здесь они! (*Праведникам*) Что, тоже сбежали?

Из лифта выбегает Спутница Северь, видит Праведников и подходит к ним.

ПРАВЕДНИК 1. Ну, сбежали! Да, сбежали! Что вам, жалко?
 ПРАВЕДНИК 2. Упаси вас Господь гнать своих гостей!
 СПУТНИЦА СЕВЕРЬ (*Праведникам*). Да я не говорю, что мы вам тут не рады! Но у нас же цивилиза-
 ция! Неужели нельзя было официально, как туристы, приехать... Если бы захотели остаться, мы бы вас
 приняли. Такой простой механизм! Зачем всё усложнять? Колхозники!
 ПРАВЕДНИК 1. Что же нам делать?
 СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Так-то лучше. Плывите на западovосток, потом на север, а потом, повернув на
 девяносто градусов направо, затем восемьдесят – в надиp, уже на североюг. Направьте своего человека
 в Министерство Миграции. Оформитесь там как долгосрочные туристы. Скажите, что Северь просила.

Спутница Северь убегает в Отель.

СТУДЕНТ (*Праведникам*). Скажите, скажите, среди вас нет одной девушки? Беж её зовут. Беж Ин-
 диговна...
 ПРАВЕДНИК 2. Сейчас, у нас тут имеется список, где перечислены все, кто пришёл сюда с нами.
 ПРАВЕДНИК 3. В алфавитном порядке...
 ПРАВЕДНИК 4. А фамилия? Какая была фамилия у этой девушки? (*Праведнику 5*) Подай-ка список,
 брат! (*Праведник 5 подаёт тому папирус*)



СТУДЕНТ. Карфагенова. Карфагенова Беж Индиговна. Вот её фотография!

Праведник 4 смотрит на фотографию, потом проводит глазами по списку.

ПРАВЕДНИК 4. В списке её не числится. Значит, она до сих пор в раю. Мне, право, очень жаль!

СТУДЕНТ *(ко всем, показывая фото)*. А вы не встречали там, в раю, её?

ПРАВЕДНИК 5. Да, я припоминаю. Видел эту девушку у водопада Одовд Йомхо. Она покупала календарь и настенные часы в лавке. Я ещё подумал: как странно! Зачем ей календарь? Я подошёл и спросил. А она ответила: «Мне необходимо знать, какой год на Земле»...

СТУДЕНТ *(поворачивается к Профессорам, радостно)*. Видите, она жива, жива! Айда на второй корабль!

Студент быстро идёт ко второму кораблю и теперь замечает Пиратов.

СТУДЕНТ *(Пиратам)*. Пираты! У меня к вам дело!

ГОЛОС С КОРАБЛЯ. Ты кто?

СТУДЕНТ. Студент.

ГОЛОС С КОРАБЛЯ. Пошёл вон.

СТУДЕНТ. Дело на миллион!

ГОЛОС С КОРАБЛЯ. Разве что! Я Томас Тью – самый грозный пират Индийского океана. Подумай, прежде чем что-то мне предложить.

СТУДЕНТ. Я к вам на корабль хочу!

ТЬЮ. Младше двухсот девяноста лет на работу не принимаем.

СТУДЕНТ. А если юнгой?

ТЬЮ. Юнг младше ста шестидесяти не принимаем.

СТУДЕНТ. Как же так?

ТЬЮ. А ты хотел, чтобы мы стомесячных на работу принимали?

СТУДЕНТ. А... Мне уже есть двести девяносто месяцев.

ТЬЮ. Ну раз так, ты принят. Юнгой.

СТУДЕНТ. Отлично. Когда можно приступить к выполнению обязанностей?

ТЬЮ. Хоть сейчас. Эй, Эвери! Я нам юнгу подыскал.

ЭВЕРИ *(Тью)*. Этот, что ли?

ТЬЮ. Ага!

ЭВЕРИ. Тью, ты что ослеп, мель тебе в печёнку?! Он не из наших. Он не из адовских вообще!

КИДД. Я слышал, сегодня какой-то посланник из верхних миров появился. То ли из Рая, то ли с Земли.

СТУДЕНТ. С Земли.

ЭВЕРИ. Ага-а-а! И что тебе здесь понадобилось?

СТУДЕНТ. Обратю хочу.

КИДД. Это выпад, однако!

ТЬЮ. И что, тебе денег дать на обратный билет?

ЭВЕРИ *(Тью и Киду)*. Он что-то скрывает – вижу по глазам. *(Смотрит на Профессоров)* И эти, с ним, странные какие-то. Давайте-ка их свяжем для начала!

СТУДЕНТ. Не надо.

ТЬЮ. Надо.

Пираты связывают Профессоров и Студента.

ЭВЕРИ *(Студенту)*. Говори, с чем пришёл.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Полетали!

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ *(Профессорам)*. Скажите им правду! Может, отстанут.

СТУДЕНТ *(Профессорам)*. Чего вы так боитесь? Ведь не убьют они вас!

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Позора.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. И скандала.

СТУДЕНТ *(Пиратам)*. Ладно. Я хотел украсть ваш корабль! Поначалу.

ТЬЮ. Каково?! Юнга!

СТУДЕНТ. Но теперь я предлагаю вам сделку.

КИДД. Ну-ну!

СТУДЕНТ. Мы отправляемся прочь отсюда. Из Ада. Мне лично нужно в рай. Им – куда сами захотят. Нам необходим корабль, чтобы было на чём передвигаться. Мы хотели бы одолжить его у вас.

ТЬЮ. «Амити»? Щас.

ЭВЕРИ. А что вы предлагаете взамен?

СТУДЕНТ. Хотите с нами? В рай?

КИДД. Праведничков потрусить? Почему бы и нет.

ТЬЮ *(Киду)*. Я на «Амити» капитан.



ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*Профессорам*). Э, нет. Я с ними не полечу! Они невежи. Они технику поломают.

ТЬЮ (*Профессорам*). Ну так и валите к чёрту без корабля!

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ (*Пиратам*). Давайте меняться. Вы нам корабль — а я вам кое-что интересное. Хотите Плащ Александра Македонского?

ТЬЮ. Зачем?

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. Полная неуязвимость в бою. Могу предложить молот Тора — не оригинал, конечно, но точная копия.

ЭВЕРИ. Хорошая штука, я слышал. Дай-ка посмотреть.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Не давай им ничего. Они обманут. Это же пираты!

ТЬЮ. Я обману? Да ты у Флетчера спроси, у губернатора Нью-Йорка! Я хоть его, хоть другого кого хоть когда?

ЭВЕРИ. Тихо, тихо! Сделка состоится на наших условиях. Мы забираем вещички и отправляемся с вами на «Амити». В случае обмана с вашей стороны — выдаём распорядителям. А с нашей всё чисто. Если согласны — грузитесь.

СТУДЕНТ (*Пиратам*). Развяжите нас. (*Профессорам*) Вы согласны?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Да-да, конечно.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА (*Профессорам*). Вот посмотрите, ничем хорошим это не ознаменуется!

Тью и Эвери развязывают Профессоров и Студента. Профессор О. Глянцев-Несусветлый устанавливает на корабле зеркала, пульт, провода из саквояжа. Кидд ошивается возле пульта и выкручивает оттуда зеркало.

СТУДЕНТ. Отправляемся.

Появляется Спутница Северь.

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Бегите, бегите скорее! Они уже здесь! Они вас схватят!

СТУДЕНТ (*Спутнице Северь*). Северея! А как же ты?

СПУТНИЦА СЕВЕРЬ. Прощай, Человек. Удачи!

Профессор О. Глянцев-Несусветлый нажимает на кнопку и корабль исчезает. Гаснет свет. Постепенно сцена окрашивается бирюзово-сиреневыми лучами. Корабль во вневременьи. Берега нет. Студент и Профессора — за столом с одной стороны корабля, пираты — с другой.

СТУДЕНТ. Где мы?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Не знаю. Но мы движемся в верном направлении. Вверх.

ТЬЮ. Как говаривал капитан Сильвер, пятьсот мертвецов на сундук моряка.

СТУДЕНТ. А не пятнадцать?

ЭВЕРИ. И бутылка рома!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Причём тут бутылка?

КИДД. При роме.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. А ром причём?

ТЬЮ. Да при сундуке же!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. А причём сундук?

КИДД. При моряке.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. При чём же моряк?

ЭВЕРИ. А при мертвецах.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Да? А кто такие мертвецы?

ТЬЮ. А это люди такие, ну, знаете, люди такие...

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. А кто такие люди?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Это биологический вид.

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. А что такое биологический вид?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Существо.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. А что такое существо?

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Это человек.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. А что такое человек?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Это мертвец.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Теперь всё встало на свои места.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. А нам пора занять свои места. Юнга! На мачту!

СТУДЕНТ. Мне и здесь хорошо!

ЭВЕРИ. Вот и прекрасно! Взяли юнга и — гора с плеч!.. Нет, как там... гора с глаз... Нет, не так... с глаз долой?... с горы долой? с плеч долой? Юнга взяли и — голову с плеч долой! Да, кажется так! И довольно.



Профессора вынимают шахматы, раскладывают бывшие четырёхсторонние как пятисторонние, начинают играть, Студент присоединяется к ним. Пираты сидят в стороне и шепчутся.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. На самом деле, мой друг, для того, чтобы познать степень соответствия и возможный уровень замещаемости и даже взаимозаменяемости между реальным и метафизическим миром, необходимо понять, что первично – физика или метафизика. Причём понять это можно, только поверив в это.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. А я вот хотел бы попасть на Землю, чтобы понять основы метакимии через основы биологии. Сколько здесь я не изучал метабиологии – до дыр изучил! – а ещё не пришёл ни к одному выводу...

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Поэтому ты и профессор, а не Министр Экологии Ада.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. ... а поскольку все законы Мироздания применимы во всех областях, я решил рискнуть и поискать соответствия. Например, знаете ли Вы, какой самый лёгкий метакимический элемент в мире? (*Профессора отрицательно качают головами*) Водоворот. А чуть тяжелее? Гений! А знаете, из чего состоит атом гения? Из ядра, которое состоит, в свою очередь, из трёх шестнадцативалентных антинейтронов и тридцати метаклектрониев, вокруг которых вращается минус тридцать инвертированных в точки антипротонов.

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ (*Профессору Петрокарта*). А почему ты, собственно, не Министр Образования Ада?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Ну, каждый добропорядочный, уважающий себя политик должен иметь своего двойника. ... Во имя своей личной безопасности и ...

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. ... и безопасности двойника ...

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Да. А я никак не могу найти своего двойника. Я – неповторим!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Сабо сомой!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. И к тому же я ещё не разработал свою подпись. Но когда разработаю, конечно, вернусь в Ад. С премией. (*Студенту*) Поднять паруса!

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. А я могу рассказать об инертных металлах.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Не надо.

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. А я – об инертных металлах.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Не надо.

Студент делает ход слоном.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*неожиданно кричит*). Земля!!! Лево руля!

Все смотрят за борт. Там плавает огромная бутылка с несколькими книгами.

СТУДЕНТ (*смотрит на бутылку*). Какая же это земля? Это – стекло. И целлюлоза. (*Нервный смешок*)

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*странно взглянув вдаль, затем – на бутылку*). Да не это! Вот там, вдали, я увидел берег!

ЭВЕРИ (*Профессору О. Глянцеву-Несусветлому*). Почудилось тебе это!

ПРОФ. МЕТАФИЗИКИ (*утнетённо*). Да нет же! Там земля была!

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА (*подтрунивая*). А что, по-твоему, получается при умножении. ... я хотел сказать, при диффузии стекла и целлюлозы?

СТУДЕНТ. Ну, не знаю, как тут у вас. ... (*В сторону*) Тоже мне! Алхимики!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*тихо, Студенту*). Алфизики! Алфизики – правильно!

ТЬЮ. А бутылку я бы на вашем месте всё же выловил! Вдруг интересное что ...

Профессор Д'арвин-Эпитэ вылавливает бутылку громадным сачком, откупоривает и достаёт оттуда одну книгу.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Книга. ... (*Задумчиво читает название*). «Неоновые Пожары» ... Хм. ... Мод-но! «Нео-Новые» это значит «Сверхновые» ... Двойное название. (*Открывает книжку, читает*) «Хитрые глубоководные рыбы. ...»

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*разочарованно*). Стихи ...

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. «Хищные холоднокровные рыбы. ...»

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Вот рифма, чёрт подери!..

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. «Рыбы, живущие в омутах Стикса. ...»

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. Чёрт, да под нами живность! Всюду живность!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. «Зыбко петляют меж серых полипов. ...»

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Вот это явная глупость! Зыбко петлять невозможно!

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Где это они видели серые полипы?!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. «Слушают гул человеческих всхлипов. ...»

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Рыбы? Слушают? Гул? Зачем?



ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. «Рыбы тебе не позволят забыть...»

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Ну, извольте! Ерунда это!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. «Будут играть тобой в кегли и в теннис... Будут обглаживать душу их тени...»

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Чью душу будут обглаживать их тени?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Чьи тени будут обглаживать их душу?

ПРОФЕССОР МЕТАБИОЛОГИИ. Да, и вообще сначала съедят сердце души, затем — печень души, ну, а потом — обглаживать всё остальное!

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. А вы уверены, что это про рыб?

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. «Странные глубоководные птицы...». И когда они в птиц успели превратиться? Ведь известно, что...

СТУДЕНТ. Да читайте нормально! Это же лирика!

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Сам читай! Вот! *(Передаёт Студенту книгу)*

СТУДЕНТ. «Грея себя на серебряных волнах и укрощая глубокою полночь...»

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Да кто вообще этот автор? Пусть объяснится!

СТУДЕНТ. «Рыбы тебе не позволят забыть...»

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Опять стали рыбами!..

СТУДЕНТ. «Солнце!..»

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. То про Емелю, то про Ибрагима! *(Вдох, выдох)*

СТУДЕНТ. «Солнце! Не чувствовать, не задыхаться так непростительно долго — двенадцать жизней — простительно!»

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ *(с издёвкой)*. О, да он апологет!

СТУДЕНТ. «Это приводит лишь к атрофии всех нервов и лёгких. Солнце, я знаю, зачем тебе плохо в этой воде и её хороваде. Дьявол распят на кре... *(блденет, шепотом)* с... *(беззвучно)* те...» Посмотрите, что здесь написано!

Студент показывает книгу поочерёдно Профессорам, профессора шепчутся, Профессор Д'арвин-Эпитэ вырывает книгу из рук Студента и бросает её за борт.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Никогда не будет такого! Мы должны выбросить эту книгу за борт. Она должна забыть в течении Леты. Ерьсь какая!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Авторая книга? Что это?

Профессор Д'арвин-Эпитэ достаёт из бутылки вторую книгу.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ *(читает)*. ... «Кустарное воспроизводство вселенных в домашних условиях, близких к отсутствию» ... *(Протягивает книгу Профессору О. Глянцеву-Несусветлому)* Это для вас.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ *(открывает книгу и наугад читает)*. «... матриархальность нео-душевлённых предметов в метафизическом пространстве ещё не доказана, но следствие набирает обороты... Однако то, что этот мир состоит из молекул пустоты, можно считать доказанным. Апустота — да будут благословенны ко мне читатели, если я повторяюсь — является негативом материи...» Глупости пишут... Интересно, чьи этот труды? Опубликовано анонимно.

СТУДЕНТ. Да сколько можно читать?! У нас не библиотека!

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Пора обедать.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Подождите! У нас в бутылке осталась ещё одна книга.

Профессор Д'арвин-Эпитэ достаёт из бутылки третью, последнюю книгу.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Что там?

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. «Об обращениях небесных сфер»...

На лице Профессора О. Глянцева-Несусветлого заметно изумление.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Пойдите! Ведь это же я! Это же я написал! *(Профессору Д'арвину-Эпитэ)* Дай сюда!

Профессор Д'арвин-Эпитэ протягивает ему фолиант.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Как сейчас помню: в 1541 году иду в издательство... Целых два года размышляли печатать или нет. *(Раскрывает книгу, смотрит на первую страницу)* Ну да! Всё верно: 1543 год издания.

СТУДЕНТ. Смотрите, мы плывём. Там внизу...

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Это отражение.

СТУДЕНТ. Нет. Смотрите сами! Мы молодеем на глазах! Теперь вы вообще мальчишки, а я младенец. ТЬЮ *(оглядывая свои руки)*. Что происходит?



ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Всё правильно. Мы возвращаемся назад. Во всех параллелях. КИДД (*Профессору Дарвину-Эпитэ*). Мы не станем дарвинопитеками? (*тот отворачивается, Профессору И. Сусуманскому*) Мы не исчезнем?

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. Мы не можем исчезнуть. Мы мертвы.

СТУДЕНТ. А я?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Примите это. (*Достаёт из кармана странную кольчугу и протягивает Студенту*) Обеспечит вам на некоторое время полную защиту от влияния любых континуумов.

Студент старательно надевает кольчугу. В море мерцает призрак какого-то континента.

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ (*Профессорам*). Обратите внимание на материк по левому борту. Ни о чём не говорит? Это же Атлантида! Эх, сюда бы тех псевдоучёных, которые доказывали мне с пеной у рта, что её не существует. Высадите меня здесь, пожалуйста!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Нет возможности затормозить.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Почему?

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Здесь нет силы трения.

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. Тогда я брошусь вниз!

ТЬЮ. Держите его!

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. Вы не понимаете! Там же атланты!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ (*Профессору И. Сусуманскому*). Коллега, поймите – на самом деле мы никуда не плывём. Мы листаем временные слои. Здесь когда-то была Атлантида.

СТУДЕНТ. Получается, мы почти уже на Земле?

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. Значит, мы находимся в пространстве русла Стикса? Значит, Атлантида, исчезнув, оказалась на дне Стикса. Пустите, я должен это проверить. Атлантида – дитя Стикса. Невероятно! А может быть, и наоборот. Стикс – порождение мудрых атлантов. Пустите! Атланты! Мама, вода! Мама, Стикс! Мама, я купаюсь!!!

СТУДЕНТ. Он сошел с ума!..

Тью привязывает И. Сусуманского к мачте.

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ. Вы лишили меня такого открытия!

КИДД. Смотрите. Он, профессор, и здесь и там, на материке.

Все смотрят в сторону континента.

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Это не он. Это его психоэмоциональный двойник.

СТУДЕНТ. Как это?

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Вы не знакомы с теорией появления двойников? Например, в мире кремниевых форм жизни у каждого человека есть свой двойник!

ПРОФ. О. ГЛЯНЦЕВ-НЕСУСВЕТЛЫЙ. Расскажи о кремниевых формах жизни.

ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Различают два вида кремниевых форм жизни, которые могут существовать отдельно одна от другой. Во-первых, это чисто физическое тело, которому свойственны простейшие эмоции, безусловные и условные рефлексы. Такие тела имеют температуру более тысячи градусов по Фаренгейту, но при этом являются, если можно так выразиться, холоднокровными: при уменьшении температуры окружающей среды их собственная температура неумолимо понижается, и при этом они теряют подвижность. В конце концов, они могут превратиться в камни, и в таком случае ни о какой жизнедеятельности говорить не приходится. Но в некоторых кремниевых видах, так сказать, грязепитающих может развиваться разум, и тогда они становятся разумными. Сознание, как известно, не является физической формой жизни, а потому ступки раскалённой магмы могут являться разве что носителями сознания, которых это сознание способно монтировать и использовать по своему усмотрению. При понижении температуры это сознание способно пребывать в индивидуумах, уже превратившихся в камни и, более того, при высокой своей организации, способно по своему усмотрению покидать камни и вселяться в другие. Хочу напомнить, что развиваться сознание может только в горячей форме кремниевой жизни. Существует ещё не доказанная теория, что ментальные тела человеческих организмов идентичны сознаниям горячих форм кремниевой жизни и способны переселяться в кремниевые биоорганизмы. Но я придерживаюсь совершенно иного мнения. Дело в том, что всё происходит с точностью до наоборот. Именно менталы горячих форм кремниевой жизни периодически переселяются в человеческие тела, поэтому количество душ в земной ноосфере постоянно увеличивается.

ПРОФ. И. СУСУМАНСКИЙ (*радостно кричит издалека*). Alea Ultima Jakta Est! Я назову это море Tempus Non Grata!!! Море, где время запрещено!!! Здесь есть Атлантида! Я обязательно найду и Лемурию!!!

Все смотрят вдаль, на Профессора И. Сусуманского, потом – уже испугано – на мачту. Профессор И. Сусуманский – на материке. К мачте – никто не привязан.



СТУДЕНТ. Надо же! Слинял-таки!
ЭВЕРИ. Туда ему и дорога!
ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА (*смотрит вдаль*). Смотрите! Какое всё квадратное!

Все смотрят за борт. Вдали видна плотина с огромными трещинами. Течение быстро несёт шхуну в трещину.

ПРОФ. Д'АРВИН-ЭПИТЭ. Хорошо, если с той стороны нет водопада. Иначе мы можем разбиться.
ПРОФ. ПЬЕТРОКАРТА. Вы забываете, что мы — души, а души не могут разбиться.
ТЬЮ. И всё-таки, уважаемые души, советую опустить паруса.

Затемнение. Церковные колокола играют гимн Советского Союза.

ИНТЕРМЕДИЯ ТРЕТЬЯ

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН
ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА

Сиреневый Манекен в гостях у Пророчицы Эсмеральды. Пророчица обладает уникальными способностями превращать манекенов в людей и наоборот. В своих гаданиях она пользуется своеобразными картами, на которых изображены разные инопланетяне, привидения, чудища, мифические и сказочные существа. Торшер выхватывает из темноты стол, за которым сидит Пророчица Эсмеральда. В комнате стоят статуи из окаменевшей пыли. Сиреневый Манекен стучится в дверь и бесшумно заходит.

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА. Номер?
СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. 0001.

Пророчица делает глубокий вдох.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Почему здесь так пыльно?

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА. Не знаю. Спроси у пыли.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН (*обращаясь к окаменевшим изваяниям*). Что ты тут делаешь?

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА (*Сиреневому Манекену*). Ну, что отвечает, что рассказывает?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Молчит.

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА. Для инопланетян важно умение покупать бесплатно.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. И что же они покупают у меня сейчас?

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА. Твоё внимание. А значит, твоё время. А твоё время — это твоя жизнь. (*Пауза*). Ты ещё не нашёл свою половинку?

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Нет. Мне нужно знать, где находятся локальные поселения манекенов.

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА. Есть одно село... На востоке. За лесом Живых Деревьев. Село называется Йагобд. Там живут манекены. Девушек там поболее будет, так что ты обязательно найдёшь себе кого-то. Манекенки симпатичнее настоящих девушек.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Почему манекенок больше, чем манекенов?

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА. Потому что Ева появилась из ребра Адама... А сколько рёбер у Адама? Двенадцать. Значит, сколько должно быть жён у мужчины? Двенадцать. Ни одной больше. Знаешь, каково главное наказание бога людям... Наказание — за что? Мужчине — наказание за проступок женщины! Так вот. Оно заключается в том, что мужчин в мире рождается столько же, сколько и женщин. А на самом деле женщин должно рождаться в двенадцать раз больше. Так что общество манекенов более близко к совершенству.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Откуда пошли есть манекены?

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА. Просто люди начали превращаться в свои символы. Они пусты внутри и вычурны снаружи. Им в пору бы носить маски, скрывающие лица, а не тела, ибо красивых тел гораздо больше, чем красивых лиц. Поэтому манекены — это символы людей... Но даже этого они могут довести до конца. В манекенах всегда остаётся какое-нибудь качество и затмевает все остальные...

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Расскажи мне о будущем.

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА. Скоро мир родится.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Что произошло с миром, что вынуждает его родиться?

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА. Люди осквернили все места силы, использовали все возможные символы силы.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Объясни.

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА. Сила — это то единственное, что даёт человеку преимущество в действии. Поэтому любой социальный строй базируется на определённом символе силы. При первобытно-общинном строе символом силы была физическая сила собственно. Потому качество силы перешло в количество силы. При рабовладельческом строе символом веры стало количество рабов у тебя. При



феодалном строе – количество земли. А при капиталистическом – количество денег. Сейчас и деньги отжили своё.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Понятно. Что ты посоветуешь мне?

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА. Не остерегаться враждебного пространства.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Где находится враждебное пространство?

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА. Повсюду.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Как это? Почему?

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА. Если приходится прилагать какие-либо усилия, чтобы видоизменять или дополнять пространство, значит, оно уже изначально враждебно.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Почему?

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА. Потому что пространство изначально не апеллирует к человечеству. Это люди апеллируют к пространству. А за беспокойство нужно платить.

СИРЕНЕВЫЙ МАНЕКЕН. Теперь мне понятно. Спасибо.

ПРОРОЧИЦА ЭСМЕРАЛЬДА. Да не за что, яхотновый вы наш.

Сиреневый Манекен выходит.

Занавес.

Окончание трагедии читайте в следующем номере...

WILLIAM BLAKE

УИЛЬЯМ БЛЕЙК

перевод с английского Игоря Лосинского

ВОЕННАЯ ПЕСНЯ ДЛЯ АНГЛИЧАН В переводах Игоря Лосинского

SONG: MY SILKS AND FINE ARRAY

My silks and fine array,
My smiles and languish'd air,
By love are driv'n away;
And mournful lean Despair
Brings me yew to deck my grave:
Such end true lovers have.

His face is fair as heav'n,
When springing buds unfold;
O why to him was't giv'n,
Whose heart is wintry cold?
His breast is love's all worship'd tomb,
Where all love's pilgrims come.

Bring me an axe and spade,
Bring me a winding sheet;
When I my grave have made,
Let winds and tempests beat:
Then down I'll lie, as cold as clay,
True love doth pass away!

ПЕСНЯ: НАРЯДЫ И ШЕЛКА МОИ

Наряды и шелка мои,
Мой смех и напускная томность:
Всё стало жертвою любви.
Печальная скупая безысходность
На гроб положит тис в обрядах похоронных;
Таков удел всех истинно влюблённых.

Лицо его – как райский сад,
Когда цветы весною всходят.
Но как случилось, что краса
Дана тому, в чьём сердце зимний холод?
Гробница – грудь его, где молят за любимых,
Куда любви приходят пилигримы.

Пусть мне саван принесут,
Пусть принесут лопату, вилы;
Пусть ветры бушевать начнут,
Когда себе я вырою могилу.
С любовью искренней, оставленная ею,
В могилу лягу, глины холоднее.



THE SICK ROSE

O Rose thou art sick.
The invisible worm,
That flies in the night
In the howling storm:

Has found out thy bed
Of crimson joy:
And his dark secret love
Does thy life destroy.

ЧАХНУЩАЯ РОЗА

О, Роза, ты больна.
Невидимый червяк
Парит, где ураган
И вой, и вечный мрак.

Он твой нашёл альков
Карминовых утех:
И тёмная любовь
Сломает жизнь тебе.

WHY ART THOU SILENT AND INVISIBLE

Why art thou silent and invisible,
Father of Jealousy?
Why dost thou hide thyself in clouds
From every searching eye?

Why darkness and obscurity
In all thy words and laws,
That none dare eat the fruit but from
The wily Serpent's jaws?
Or is it because secrecy gains females' loud applause?

ЗАЧЕМ ТЫ, РЕВНОСТИ ОТЕЦ

Зачем ты, Ревности Отец,
Безмолвен и незрим?
Зачем не явишь из-за туч
Себя глазам людским?

Зачем в законах и словах
Твоих так много тьмы,
Что вынуждены плод вкушать
Из пасти Змия мы?
Иль женская вина опять
В привычке тайны восхвалять?

A WAR SONG TO ENGLISHMEN

Prepare, prepare the iron helm of war,
Bring forth the lots, cast in the spacious orb;
Th' Angel of Fate turns them with mighty hands,
And casts them out upon the darken'd earth!
Prepare, prepare!

Prepare your hearts for Death's cold hand! prepare
Your souls for flight, your bodies for the earth;
Prepare your arms for glorious victory;
Prepare your eyes to meet a holy God!
Prepare, prepare!



Whose fatal scroll is that? Methinks 'tis mine!
 Why sinks my heart, why faltereth my tongue?
 Had I three lives, I'd die in such a cause,
 And rise, with ghosts, over the well-fought field.
 Prepare, prepare!

The arrows of Almighty God are drawn!
 Angels of Death stand in the louring heavens!
 Thousands of souls must seek the realms of light,
 And walk together on the clouds of heaven!
 Prepare, prepare!

Soldiers, prepare! Our cause is Heaven's cause;
 Soldiers, prepare! Be worthy of our cause:
 Prepare to meet our fathers in the sky:
 Prepare, O troops, that are to fall to-day!
 Prepare, prepare!

Alfred shall smile, and make his harp rejoice;
 The Norman William, and the learn'd Clerk,
 And Lion Heart, and black-brow'd Edward, with
 His loyal queen, shall rise, and welcome us!
 Prepare, prepare!

ВОЕННАЯ ПЕСНЯ ДЛЯ АНГЛИЧАН

Готовьте, готовьте железные шлемы войны,
 Ведите народы, что брошены в сфере огромной;
 Могучей рукою направит их Ангел Судьбы
 И вырвет из плена, во имя земли, уже чёрной!
 Готовьте, готовьте!

Готовьте сердца для Смерти холодной! Готовьте
 Вы души свои для полёта, тела — для земли.
 Готовьте глаза, чтоб встретили Бога святого,
 Для славной победы готовьте вы руки свои!
 Готовьте, готовьте!

Чей это приговор? Я думаю, что мой!
 Но сердце не замрёт, язык молчать не станет.
 Три жизни дайте мне — умру, идя на бой,
 Но вознесётся дух над эти полем брани.
 Готовьтесь, готовьтесь!

В угрюмом небе Ангел Смерти встал!
 И Всемогущий Бог уж приготовил стрелы!
 Искать обитель света душам час настал:
 По райским облакам пройдут шеренги смело!
 Готовьтесь, готовьтесь!

Солдаты, готовьтесь! Мы с Небом едины в делах.
 Солдаты, готовьтесь! И дел наших будьте достойны.
 Готовьтесь, отцов наших встретите вы в небесах.
 Готовьтесь, сегодня должны вы полечь, батальоны!
 Готовьтесь, готовьтесь!

Альфред улыбнётся, и арфа его запоёт,
 И Норманн Вильгельм, и Львиное Сердце восстанут,
 И с верной своей королевой нас в бой поведёт
 Король Эдуард. И руки они нам протянут!
 Готовьтесь, готовьтесь!

«ФОНОГРАФ»

В рубрике «Фонограф» редакция планирует размещать произведения писателей, ушедших из жизни, а также воспоминания о них.

БОРИС ВИКТОРОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О БУГАЗЕ ПОЭМА

1. Рыбацкий посёлок

Неповоротлив,
беден,
слаб
на берег выброшенный краб.

Заря удачливой кигиткой
с тяжёлой рыбиной живой
приподнималась над водой.
Фосфоресцирующей ниткой
светился край береговой.

А там, над крепостью старинной,
горела поздняя звезда
и пропадала навсегда
из клюва выпавшей ставридой.
И гасла синяя вода.

Но люди брали за основу
границу моря и земли,
в воде по щиколотку шли,
и понимали с полуслова,
и снасти грузные несли.

Я шёл за ними: отрывалась
от побережья коса,
и постепенно открывались
вода,
и твердь,
и небеса;

Поэт. Родился в 16 января 1947 г. в Уфе. Детство поэта прошло в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. С 1957 г. жил в Кишинёве, где впоследствии вошёл в круг литераторов, связанных с литературной студией Рудольфа Ольшевского «Орбита», часто бывал в Одессе. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М. Горького (семинар А. П. Межирова). В 1987 г. переехал в Москву. Лауреат премии «Артнада народов России» за сборник стихотворений «Челоконь». В 2000 г. номинировался на премию «Антибукер-2000». Ушёл из жизни 14 октября 2004 г.

лежало девять мокрых лодок
вдоль берега – наискосок,
и были вдавлены по локоть
их вёсла –
в щебень и песок.

2. Случайные дары

Не в силах высвободить лап
прибоем выброшенный краб.

(Слепа тропа его негладкая
на обездоленной земле,
и неожиданная сладкая
борьба мучительная краткая
с другими крабами в котле!

Не спорьте, будьте осторожнее
отныне, милые дружки. . .)
И неоправданно тяжки,
как будто слёзы замороженные,
медуз прозрачные мешки.

И, точно кошельки разрозненные
с зелёной тиной морской,
валялись мидии, – разбросанные
по-царски щедрою рукой!

3. Ночные купальщики

Транзистор у чужой палатки
зарыт в песок, забыт давно.

Бугаз. Пиратские повадки,
на розлив шабское вино,

и нет отбоя от компаний,
и всем свобода дорога!

Любители ночных купаний
плывут, раздевшись догола,

а с берега по-человечьи
им рукавами машут вещи. . .

– Пойми, в пяти шагах Одесса,
тебя оставят нагишом!

– Да, да, конечно. . .

И пловцом
в запрограммированный с детства,
осуществляющийся сон!

4. Путешествие в глубину, крабы

Ото всех на свете отдалённый,
ввинчиваясь в утреннюю глубь,
чувствую густой воды солёный
привкус каждой трещинкою губ.

При моём вторжение покидает
краб своё случайное жильё,
и вода упруго огибает
тело раскалённое моё.



Женщиною в час прикосновенья,
в мире,
поделённом на двоих,
понимает все мои движенья,
принимает облик мой на миг.

Море, обнимающее сушу,
море, понимающее всех,
ты моё дыхание, как душу
грешную выталкиваешь вверх.

Небеса смыкаются, как клещи,
остужают странным холодком,
и остры оранжевые клешни
под увеличительным стеклом
голубой воды,

а здесь, на жёлтом,
золотом, рассыпчатом песке,
смотрит обвинением тяжёлым
каждый глаз на хрупком лепестке.

И за то, что Бог не пощадил их
в день создания, —
боком на меня
двигается — Богом на шарнирах! —
каждая отдельная клешня.

5. Прожектор

Чёрный берег и дамба.
А за тысячу вёрст,
как паяльная лампа
под сиянием звёзд,
встал прожектор и лодки
осветил, а затем
наши плечи и локти
ярким светом задел.
Замечателен тем он,
что останется след —
бесконечная темень
и спрессованный свет!

6. Воспоминание

Рассыпан деревьев ряд
вдоль берега — так внутри
аквариума горят
зелёные фонари.

Бесшумно вplываюТ в них
прозрачные стайки птиц,
размытые тени их
касаются наших лиц,

вплываюТ под потолки
и там замираюТ вдруг,
и крылышки-плавники
касаются наших рук.

Я знаю, мы — острова,
и с нами в одном кругу
потерянные слова
и лодки на берегу.



Все шорохи унесло
прибоем, оставив нам
единственное весло
и море – напополам. . .

О, кто ты, когда следишь
за стайками рыбоптиц,
и, в сон уходя, летишь
над волнами черепиц?

И как отличаешь ложь
от истины? (третий день
на улице снегодождь,
апрельская дребедень),

а город наш – исполин –
состарился и погас.
О, каторга наших спин,
мучение наших глаз!

Прости же мне этот сон
и то, что я в темноте
невидим и невесом,
как эти слова и те.

И угольной чернотой
накатывает прибой,
смывая хмельной волной
не сказанное тобой,

но это – как черновик,
оставленный на песке,
как самый высокий крик
у ветра на языке. . .

7. Послесловие

Мы в море с тобой уплывали,
качалась луна в стороне
шаландою, полной кефали –
с морской звездой на дне,

дурачились, мир открывали
и губы мочили в вине,
как если б тщета и печали
забыли дорогу ко мне,

как если б мгновения эти
я в будущем мог воскресить,
назначить свиданье в сонете,
в рыбацкой хибаре гостить,
чтоб после любви – на рассвете –
в ознобное море входить!..

1977-1978



ВАЛЕНТИН КОЛОТ

ОТСЮДА НАЧИНАЕТСЯ ЗЕМЛЯ...

ОТРЕЧЕНИЕ

Мне трудно жить, мне дышится с трудом,
Горит огнём натруженное сердце:
Войдя в него, как вор пролазит в дом,
Ты дом сожгла, чтоб у костра погреться.
Живу теперь меж рухнувших стропил.
Подайте погорельцу на верёвку!
А ты — не бойся, грейся у огня:
Я им скажу, как ты лгала, бывало, —
Я сам поджёт, вы слышите меня!
Она здесь даже и не ночевала.

ОСЕНЬ

Школьный двор,
Каре цветочным кантом.
Рассыпая медный звон копилок,
Первоклашка встряхивает бантом.
Надо же ведь — осень наступила!
В нашем парке — краски карнавала,
Мы домой букеты листьев носим:
Осень их для нас разрисовала.
Очень хорошо рисует осень!
Всё слабее шелесты аллеи,
Всё слышнее шорохи дорожек —
Разбазарит осень, не жалея,
Всё, что лето в сумки ей положит.
Вот уж — завертела, закружила
Листья в сумасшедшем хороводе —
То ли заиграла удаль в жилах,
То ли виноград созрел и бродит.
Запускает ласточки-листочки
В небеса пунктиром птичьей стаи...
Долго, в расписном своём платочке,
Машет вслед — покуда не растают.
А потом сереет в кронах сосен,
Дворники метут следы разгула...
В мокром парке тихо плачет осень:
Бал окончен, Золушка взгрустнула.

НА ЗАДВОРКАХ ГАЛАКТИКИ

На задворках Галактики, где-то
Из-под слоя космической пыли
Первозданную глыбу планеты
Мускулистые руки добыли.

Поэт. Родился 17 сентября 1933 г. в Одессе. Публиковал стихи в одесских газетах «Черноморская коммуна», «Комсомольская искра», «Комсомольское племя», «Вечерняя Одесса». Попал в поле зрения Одесской организации Союза писателей СССР, стихи были напечатаны в её альманахе «Литературна Одеса» (№ 20, 1958). Также произведения опубликованы в электронном литературно-поэтическом журнале «Поэзия. Ру», на других сайтах. Был финалистом фестивалей «Пушкинская осень в Одессе — 2009», «Славянские традиции — 2010». Издана книга стихов «Замечания к сотворению мира» (Одесса, 2010). Скончался 8 февраля 2011 г.



В рукавицы легла она ловко,
 Будто век на ладонях лежала –
 Вся в щербатых отметилах ковки,
 В серой корке недавнего жара.
 В ней таилась добротная тяжесть
 Заготовки большого чего-то –
 Ни лица нет, ни профиля даже.
 Так и просит – возьмите в работу!
 Есть к чему приложиться руками,
 Руки здесь повозиться могли бы.
 Руки молча погладили камень
 К ним в ладоши уткнувшейся глыбы...
 Где-то рядом укрыт под золою
 Первый шаг за порог по дороге.
 Ладно – будешь, планета, Землёю.
 Лепят землю и глину не боги.
 ... Ты Землёю хотела – и стала.
 Космонавтам позируешь в люки!
 Повезло тебе, в самом начале, –
 Ты попала в хорошие руки!

У ПАМЯТНИКА НЕИЗВЕСТНОМУ МАТРОСУ

Отсюда начинается земля
 С дорогами её и городами.
 С упрямством рук на ободке руля
 С улыбками, что помнятся годами.
 Неровные обрывы берегов
 Рыжеют как музейная бумага.
 Здесь отгиском приложенных врагов
 Заверена военная присяга.
 Под нею оборвались имена
 И, без владельцев, медленно истлели.
 Здесь соль земли – да сохранит она
 Нетленными дырявые шинели!
 Над пядью той расстрелянной земли
 Гремят раскаты вечного приобоя
 И встал штыком матросский обелиск,
 Оберегая небо голубое.
 Здесь в караулы заступают дни:
 Задрёт да так румянцем и зальётся,
 Когда тихонько звякнет о гранит
 Начищенное бронзовое солнце!
 А мы, приди сюда в такую рань –
 И мы бы тоже, верно, увидали,
 Как волны ткут муаровую ткань
 Отцовской нетускнеющей медали.
 А слева – вслед дымам и кораблям –
 Глядит моя рабочая Пересыпь...
 Отсюда начинается Одесса –
 Отсюда начинается Земля!

СУХОЙ ЛИМАН

Сухой Лиман – сухой бурьян
 Ржавеет по откосам.
 В бурьяне ветер, в стельку пьян,
 Посвистывает носом.
 Налитый вровень с крутизной
 В осколок скифской сини,
 Густой хмельной янтарный зной
 Настоян на полыни.



Земля под маревом жары
Сомлела до заката.
Распльились твёрдые бугры
Её спины горбатой
Лежит ничком гола, черна,
Уткнулась в пыль дороги.
Ползёт на брюхе к ней волна –
Лизать босые ноги.
Вода, года размоют след
И различить не сможет
Следы бывшего краевед,
Турист или картёжник.
Земля распластана, она
Здесь старого издания.
Не шар – как в наши времена –
А твердь для мироздания.
Здесь – утверждайся и владей!
И, впредь, тебе уделом
Глядеть – не льститесь ль где злодей
Владеть твоим наделом.
Земля всегда на всех одна
Нам – нынешним и прошлым. . .
Как волны бились племена,
Как обры погибоша. . .
Я этой степью был пропах,
Всю выходил, как пахарь.
Она была на черепахах,
А не на черепахах.
По бурой глине проступив,
Как пятна бурой крови,
Цвели бессмертники в степи
У были в изголовье.
В их шелест – шагу не шагни,
Шагнул – мороз по коже.
Сплошные Вечные огни,
Земля – души дороже!
Мечом, и, зная, что почём,
Кроили карту мира. . .
Перебирая струны пчёл
Бредёт степная лира.
Стежками стёжка шьёт в цвету,
Да не шелками строчка:
Навyleт выстрочена тут
Сыновняя сорочка.
На вырост вдоль степи погост –
От края и до края.
Горячий след горячих слёз
Тут небо озаряет.

ВЫ, КТО НЕ ХВАТАЕТ С НЕБА ЗВЁЗД

*«В каждом человеке, быть может, убит Моцарт. . .»
Антуан де Сент-Экзюпери*

Вы, кто не хватает с неба звёзд,
Почему вы звёзды не хватаете?
Как всегда на звёзды жадный спрос,
Как и прежде людям не хватает их.
А ведь в небе – только посмотри –
Наперёд, на все тысячелетия
Сколько их, ещё ничьих, горит
Фонарей с обочины бессмертия!

Это не причина – высоко,
 Этим отговариваться нечего:
 Рви звезду, как ягоду – рукой,
 Звёзды ниже роста человеческого.
 Что же вы – такой имея рост
 И беззвёздно жизни коротаете?
 Вы, кто не хватает с неба звёзд,
 Почему вы звёзды не хватаете?

АНАТОЛИЙ АГАМИРОВ-САЦ

«ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ МЕМУАР»

отрывки

Завещательный мемуар. Название, конечно, я стилизовал под любимого мною русского писателя Лескова. В своё время, читая запоем всё и без разбора, довольно рано выделил Лескова, как человека, чей русский язык неподражаем, а отношение его к русской действительности XIX века, то есть лучшего времени в истории Богоспасаемой и нами проклинаемой страны, меня на удивление устраивает и по сию пору. Ругательные наши обороты имеют вековую мхом поросшую историю. Во мху валяются пробки, пустые бутылки, прочая дребедень для будущего развития археологии. Только вот непонятно, как она будет в ней разбираться, современница. Переписывали её тысячи раз на потребу дня, а дней в году, как известно календарных, триста шестьдесят пять, в високосный плюс один. Зачем добавили лишний, как не для самокритики, которая вместе с критикой является самым энергичным двигателем прогресса?

Не я выдумал, а классик всех времён и всех народов, который сказал: «Я постепеновец». До чего же точно сказано! До сих пор история на любых зигзагах, поворотах и «ронверсе» (понятие балетное и спортивное, нормальным людям недоступное) преподносила нам сюрпризы, как правило, неприятные, и теперь я думаю: прерывалась ли цепь злоключений, хотя бы для отдыха людей, в ней участвующих если не полноправными актёрами, то хотя бы статистами? Вечное движение не нуждается ни в изобретении, ни в констатации, а только лишь в участии по славному олимпийскому принципу.

Чтобы как-то своё участие оправдать, на папу и маму ссылаться не буду, родственникам более далёким тоже своё время, посему начну «Завещательный мемуар» совершенно противу правил – с конца. Может быть, тогда начало прояснится. А сейчас всё как есть на сей день.

Сильно перевалив за половину отпущенного мне срока бытования, больше судьбу искушать не буду. А то получится «Мемуар» неоконченным, сто раз пережёванные мысли – недоговорёнными или, что ближе моей профессии – не озвученными.

Сегодня я тружусь на ниве радиовещания в единственном мне доступном качестве: говорю по радио о музыке. С годами выявил такую закономерность: чем дальше текут годы, тем музыки всё меньше, а

Известный на всём советском и постсоветском пространстве музыкальный обозреватель. Восхитительный и парадоксальный. Язывительный умница. Галантный кавалер. Осколок старо-интеллигентской Москвы, живший по понятиям совести и чести. Жизнелюб, музыкант и философ, тонко чувствовавший боль этого мира. Таким остался в памяти обаятельнейший человек – Анатолий Суренович Агамиров-Сац, чьи мемуарные очерки для «Южного Сияния» предоставила московский художник и кинодокументалист, друг Татьяна Михайлова Агамирова.

Родился Анатолий Агамиров-Сац 19 ноября в 1937 году в Москве. Через шесть лет поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, которую окончил в 1955 году по классу виолончели. Затем поступил в Московскую консерваторию и через год перевёлся в класс контрабаса. Одновременно стал работать в Московском государственном камерном оркестре под руководством Рудольфа Баршая. Также работал в камерном оркестре аспирантов Московской консерватории (где также учился) под руководством Михаила Териана. Кандидат искусствоведения. С 1965 года стал работать на Гостелерадио сначала в качестве корреспондента, потом обозревателя и, наконец, генерального комментатора по вопросам музыки на Иновещании. Специализировался по Латинской Америке, работал в эфире с испанским языком. Выступал на радио «Юность», Всесоюзном радио и Всесоюзном телевидении. В 1972 году по политическим соображениям был отстранён от работы на Гостелерадио с формулировкой «запрет на работу в СМИ». Стал писать либретто к балетам и репризы для Московского цирка. Работал вместе с Юрием Никулиным. Сразу после перестройки вернулся на Иновещание, откуда в 1992 году был приглашён на радиостанцию «Эхо Москвы» в качестве музыкального обозревателя. С тех пор работал в этой должности. Продолжал писать для газет и журналов на различную тематику: от джаза и фольклора до классической музыки. Кроме того, сотрудничал с различными российскими балетными труппами. Написал либретто к балету «Булочка» (музыка Оскара Фельцмана), который шёл в региональных музыкальных театрах. Работал с композитором Юрием Саульским.

Анатолий Агамиров ушёл из жизни 21 августа 2006 года.



слов наоборот. Какая-то девальвация понятий. Баланс найти невозможно... Да и повторяю: ничему другому не обучен, ничего другого не умею. Так что считайте, сколько раз на музыке запнулся, столько раз и правду сказал, остальное весьма приблизительно.

Убеждён, читать меня будет интересно. Знал я многих людей, многих слышал в концертах, видел в театрах, в кино и почти со всеми, кого упомяну, сживал за домашними столами, что немаловажно, хотя бы для приблизительного знакомства. Чреда великих прошла передо мной и иссякает неумолимо, логично и столь естественно, что винить некого. Ссылки на время не помогут, потому что многие из тех, коими пренебрегаю, станут гениями в общем мнении без всякого с меня спроса. Я окажусь ещё раз жертвой неприятного сюрприза. Тут не разберёшь в виду исторической близорукости, а она присуща мне с детства, поэтому множество будущих персонажей выплывут как бы из оптического тумана...

Служба на радио, служба журналистская ведёт к совершенно определённой легкомыслию, оно множится на столь же определённую точность информации. Её-то мне как раз не хочется, и в памяти всё время возникает чудное определение Солженицына – «художественное исследование». Общественного вреда никакого – себя исследую. И чтобы никому не было обидно, к себе я абсолютно беспощаден. В «Завещательном мемуаре» так поступать необходимо. Никто не знает, где истина, где правда, и какая между этими понятиями разница. А она есть. Истина вроде оазиса в пустыне или мираж. Правда – тоже мираж, в который автор «Мемуара» верит абсолютно. Что касается читателей, то, проглотив всё написанное, в том числе и мною, с брезгливым удивлением обнаружат, что у автора неприятное лицо. Последнее обстоятельство меня совершенно не смущает, так как не уважая читателей, особенно критиков «чистого разума», «черта ль мне в их мнении»!?

Сомневаться – главная черта еврейского народа. У меня этой черты на двадцать пять процентов и я не дам ей верховодить. Не сомневаюсь в том, что пока пишу, существую. Вот я и поднялся на древние греко-римские, они же позднее немецко-французские, философские котурны.

Окончив вступительную часть, я моментально с них слезу. Только этим я оправдываю затянувшееся вступление к «Завещательному мемуару», который начат в 2004 году от Рождества Христова мною, Анатолием Суреновичем Агамировым-Сац.

Отчество армянское, имя греческое, фамилия, как мне рассказывал мой ереванский дядя, состоит из двух слагаемых (дядя имел ввиду род отцовский): «ага» – на Востоке Ближнем и Среднем значит «господин», окончание отцовской фамилии тянет на «эмира», только не бухарского, а, очевидно, армяно-грузинского. Замечу, к фамилии моей на Кавказе относятся с уважением.

Что касается фамилии матери – Сац, то она явно иудейского происхождения, и в России ещё более знаменита, чем на Кавказе отцовская: композиторы, режиссёры, актёры, юристы, знаменитые и малоизвестные врачи. И как сказал записной государственный остряк Сергей Михалков (имеется в виду автор гимна для всех властей), фамилия Сац расшифровывается как «сила, активность, целеустремленность». Ни одно из этих качеств, в чём вы скоро убедитесь, мне не присуще. Единственно, чем располагаю – лёгкостью, с которой завожу себе знакомых, дружу с ними, выпиваю, на некоторых иногда женюсь, некоторых решительно вычёркиваю из числа близких, завожу новых. Корыстных побуждений во всех изгибах моих поступков никто никогда не наблюдал. За всю свою жизнь я ни разу не слышал обвинений в злонамерениях с целью наживы и обогащения, но зато ангелы с сомнительными лицами постоянно сыплются на меня сверху и, прежде чем в очередной раз сбить меня с ног, обосновывают своё появление нравоучительными тирадами. На днях я возопил: «Не надо меня учить. Пришло время, я сам во всем каюсь и стараюсь это сделать как можно занятнее».

Теперь действительно всё. Я перехожу к своему «Завещательному мемуару»... с конца.

Биография. Невольно задумался... Какие люди, личности, явления, события определили мою жизнь, сделали её целенаправленной, осознанной, заставили задуматься, присесть и рассуждать. Сразу трудности. Событий вокруг меня и со мной было множество. Какие же назвать определяющими? Войны, революции, собственные взлёты и падения... Как-то нескромно получается.

Жизнь графически выглядит как кардиограмма. Да разве у одного меня? Специалисты в белых халатах расшифровывают миллионы таких кардиограмм и задают один и тот же вопрос: «Как же такой человек дожил до...?». Не должен был дожить по всем законам биомеханики. Впрочем, от этих законов погиб Мейерхольд. Преждевременная кончина в результате острого конфликта с окружающей властной действительностью. Он тоже был ангел с сомнительным лицом. Длинноносый ангел и не еврей, как уверены многие. Совсем наоборот. Немец из благородных и богатых, в 1918 году стал комиссаром по делам искусств, не предвидя от сего никаких последствий. А надо бы.

Впрочем, о последствиях мало кто задумывался в памятном мне двадцатом веке, особенно после первой трети его.

В марксизме есть такая философская константа «единство противоположностей». Говорят, марксизм – простая, примитивная вещь. Не тут-то было. Господь Бог утверждает, что даже два листика на дереве абсолютно не похожи. Ну и как в этой связи быть с «единством противоположностей»?

Я знал, и хорошо, двух людей, которых если что и роднило, то основное занятие. Литература. Вспоминаю о них в самом начале «Завещательного мемуара», потому что тянули они меня, сами того не ведая, совершенно в разные стороны. Но оказали самое решительное воздействие на мою судьбу, на течение её, вплоть до сегодняшнего дня. Дышали мне в затылок. По разному дышали. Один всегда коньяком и запахом хороших сигарет, другой росным ладаном и терпким вкусом залистанных книг. Один как-то ска-

зал, что музыка для него – ничему не мешающие шумы. Другой утверждал с горящими глазами, что музыка есть высшая сфера человеческого разума и только она одна может дать истинное счастье. Оба были несчастливы и, по Льву Толстому, мыкались каждый по-своему. Музыку отрицал Николай Эрдман, её обожал Борис Пастернак.

Небритый Моцарт

Между прочим, в конце жизни тяжело болевший Михаил Аркадиевич Светлов прекрасно понимал, что его фундаментальные успехи на литературном и социальном поприщах, которые были заметны уже после войны, его если и переживут, то очень ненадолго. Умирать его положили по настоящему ходатайству Союза писателей СССР в больницу Академии наук на Ленинском проспекте недалеко от универмага «Москва». Он и там ненавязчиво шутил и, когда к нему пришли студенты Литературного института, – он вёл там семинар, – и захватили с собой водку, он отказался, что само по себе было свидетельством дурной болезни. «Мне раков варёных принесли. Как квалифицированный больной говорю, раки требуют пива. А водку унесите с собой, не пропадёт».

Мир тесен. Познакомился я с Михаилом Аркадиевичем Светловым у Алексея Денисовича Дикого. Он, кажется, ставил в Малом театре после войны какую-то его пьесу. К этому времени Светлову дали небольшую квартиру напротив Центрального телеграфа на улице Горького (ныне Тверской). Квартира находилась над магазином «Шампанских вин», и Светлов по этому поводу язвил: «Антисемитское решение Мосгорисполкома и лично товарища Промыслова поместили меня в «Шампанское», как ананас. Но я не Северянин, я Светлов и место моё возле простых напитков».

Тогда в двух шагах от квартиры Светлова на другой стороне Проезда Художественного театра находился московский «Коктейль Холл». Светлов там дневал и ночевал. В качестве особого признания ему подавали яичницу с ветчиной, что, как известно, в меню коктейль-баров не входило. Светлов сидел, опустив небритые складки щёк, и потягивал крепчайший коктейль «Маяк» – чистый спирт, разбавленный сладким ликёром «Бенедиктин», сверху яичный желток. Это было его фирменное «пойло». Я даже помню, как мы сидели с ним на соседних табуретах, когда прибежала его домработница с диким криком: «Михаил Аркадиевич, идите скорее домой. Ваш сын Сандрик выпил бутылку чернил». Светлов взглянул в её сторону и ответил: «Возвращайтесь и дайте ему закусить промокашкой». Сандрику тогда было лет пять. После войны Михаил Аркадиевич женился на признанной грузинской красавице из знатного мингрельского рода Амираджиби. Её звали Родам. Она была головы на три выше маленького Светлова. Родившегося мальчика назвали Александром, что по-грузински Сандро. Я потерял его из виду, когда он поступил во ВГИК. Родам я часто встречал на модных зрелищах, а после смерти Светлова она вышла замуж за итальянского физика-ядерщика Бруно Понтекорво. Они часто заходили в гости к Эрдману. Бруно был заядлым теннисистом, и иногда мы с ним играли. Родам при этом присутствовала неизменно. Второго мужа она далеко не отпускала, хотя он был полной противоположностью гуляке Светлову.

Видимая лёгкость, с которой Михаил Аркадиевич жил, творил и добивался немалых успехов, ошеломляет. Скромный еврейский юноша начал с комсомольских стихов, иногда хороших, иногда откровенно слабых. Лучшие его стихи стали популярнейшими песнями. Например, «Гренада» или «Каховка». Я так и не выяснил, нарочно ли Светлов изменил точное название испанского города Гранада на российское провинциальное Гренада. Какое-то лукавство в этом было, а, может быть, и зашифрованный каламбур.

Его обожали за тихий ненавязчивый юмор, за то, что он никогда не скрывал свою еврейскую идентичность. Я помню историю, рассказанную замечательным эстрадным актёром и певцом Леонидом Утёмовым: «Вышли мы как то с Мишей Светловым из театрального ресторана на улице Горького. Время очень позднее. Ловим такси, но таксисты упорно отказываются останавливаться». Бывали в Москве и такие времена. «Стоим, мёрзнем, не знаем что делать, злимся на ветру. И вдруг Светлов произносит: “Скажи, Леся, откуда таксисты знают, что мы еврей?”».

Помню, мы встретились с Михаилом Аркадиевичем в подъезде дома, где жил Дикий. Светлов временно скрывался у него, так как в очередной раз ушёл от жены. Нужно было подниматься пешком на девятый этаж. Мы шли, Светлов задыхался. Потом спросил, какой этаж, я ответил, что прошли четвёртый. И тут Светлов произнёс:

*«Жили-были дед и баба
На девятом этаже.
Так как лифт работал слабо,
Они умерли уже».*

Я рассмеялся, и подниматься стало легче.

Когда мы поднялись, Светлов посмотрел на меня и картавя сказал: «Старик, мы давно не брились». Он-то был небрит как всегда, а я ещё бриться не начинал, мне было всего четырнадцать. «Хочешь, я тебя научу? У Алёшки есть всякие бритвенные приборы и даже безопасный ножик «Жилет». Он принёс бритву в футляре с фото самого Жилета – вальяжный мужчина с нафабранными усами. Я намазился, и Светлов меня побрил. За неделю мой детский пух превратился в щетину, и вот уже более полувек с лёгкой руки Михаила Аркадиевича я бреюсь каждый день.



[...]

Свадьба Михаила Светлова и Родам Амираджиби игралась в Тбилиси сразу после войны. За столом сидели многочисленные мингрельские родственники и знатные люди Грузии. Светлов был в военной форме. Первый тост провозгласил седобородый мингрел: «Выпьем за нашего дорогого зятя Михаила, потому что он поэт, как Михаил Лермонтов». Потом пили за военные подвиги Светлова, тёзку великого полководца Михаила Кутузова. И так до бесконечности. Не добрались, пожалуй, лишь до архангела Михаила, как вдруг дедушка в черкеске заявил: «Я больше не буду пить за нашего дорогого зятя Михаила». Возмущённые гости вскочили и чуть не хватались за столовые ножи. Дедушка продолжал: «Я хочу выпить за птичку. Когда наш зять Михаил ехал на поезде по Грузии ранним утром в Самтредиа, его первыми приветствовали птички. Я хочу, чтобы все выпили за каждую из них. Сколько птичек, столько тостов». Светлов говорил, что после этой свадьбы он дня три приходил в себя с помощью знаменитых грузинских серных бань. По поводу бань он тоже острил: «Не знаю, почему ими так увлекался Грибоедов, но вонь от них почти двести лет стоит на весь Советский Союз».

Возвратившись с фронта, он пришёл к нам в дом, сказал, что очень торопится, ему необходимо попасть в Сандуновских банях.

*«Это логично после войны
Для французов Сен-Дени,
Для еврея Сандуны».*

Сен-Дени — Триумфальная арка в Париже, возле которой чествовали победителей.

В лице поэта и драматурга Михаила Светлова мы имеем дело с типично русской литературной судьбой в советское время. Талант Михаила Аркадиевича несомненен — и литературный, и человеческий, но его, как сотни, тысячи других писателей, всегда сопровождал страх. С какой стороны не помотришь, литература — публичная профессия, даже если тебя не печатают, не издают. Ты ведь знакомым читать даёшь, а, следовательно, появляешься на публике.

Михаил Светлов имел все основания опасаться. Пока он писал военно-патриотические пьесы для театра или совершенно проходные сценарии в кино, тексты для песен, опасаться, вроде, было нечего. Но если бы он с присущей ему горькой иронией стал бы на бумаге выражать то, что думал, всё бы кончилось далеко не благополучно. С внешней стороны всё обстояло празднично, но Миша Светлов, как называло его большинство знакомых, любил бывать в гостях и там язык, естественно, распускал. Читатель подумает, что я много внимания уделяю личности Светлова в его достаточно мелких проявлениях. Посмотрите на сочинения Светлова сами. Если вы не были с ним знакомы лично, совершенно не поймёте восторгов, окружавших его при жизни. Он обладал удивительной способностью даже самые мелкие подробности своей биографии превращать в афоризмы, которые потом повторяла вся страна. Сами понимаете, в Сталинское время с юмором в стране было плохо, а такие писатели, как Ильф и Петров, скорее исключение из сталинского правила, чем закономерность.

Например, однажды жена буквально вынудила Светлова отдохнуть в модном месте — Доме творчества писателей «Коктебель» в Крыму. Как он не сопротивлялся, в первый день всё-таки пришлось идти на пляж. Рано он не встал, пришёл в самую жару в пиджаке, рубашке. Естественно, весь пляж его знал и бурно приветствовал. Он сел не раздеваясь под жуткими лучами палящего солнца, его стали уговаривать окунуться в море. Когда кто-то крикнул: «Михаил Аркадиевич, вода двадцать шесть градусов!», он вяло ответил: «Когда поднимется ещё на четырнадцать градусов, я буду её пить. А пока ни за что». Встал и поковылял к бару в Доме творчества.

Так, за всеми редкими творческими удачами, проходила жизнь талантливейшего человека, который мог бы быть отличным сатириком. Хотя он прекрасно понимал, что на этом благополучная жизнь кончится.

Сейчас, в XXI веке, очень немногие вспоминают Мишу Светлова. Боюсь, что и я сумел напомнить лишь то, что лежало на поверхности. Копать вглубь, собственно, нечего. Обаятельное пьянство, небритость, блестящие афоризмы, и Светлов стал в ряды исторических фигур, которых почти никто не читает. Чем не самоубийство?

Николай Робертович Эрдман

Он вошёл в мою жизнь сразу по окончании Второй мировой войны. Небольшого роста, крепкий, коренастый, всегда очень хорошо одетый, элегантный, в разговоре иронически заикающийся. Мне объяснили люди, знавшие Эрдмана ещё с молодых его лет, что заикание возникло у него после ареста, а было это в начале тридцатых. До той поры Николай Робертович был чрезвычайно успешным, много писавшим, много ставившим драматургом, сценаристом, либреттистом... а также баснописцем. Впрочем, почему я упускаю главное? Изначально на литературном поприще, а затем даже в энциклопедиях, его именовали поэтом. Более того, в одной из первых советских литературных энциклопедий Николая Робертовича зачислили в имажинисты (литературное течение чисто советское, в которое входил даже Есенин). Позже, где-то в годы шестидесятые, когда я много общался с Эрдманом, он оспаривал свою принадлежность к имажинистам, но говорил об этом не без кокетства, с наигран-

ным тихим возмущением: «Какой я имажинист! Я по преимуществу сатирик. Меня узнали как драматурга-сатирика после пьесы «Мандат». Она шла у Мейерхольда, успех имела «бенгальский» (*любимое прилагательное Эрдмана, означающее превосходную степень — А.А.-С.*). Он мог сказать «бенгальский мерзавец» о человеке, который ему не нравился, но своим негодяйством вызывал повышенное любопытство. Он мог сказать про футбол: «Такой-то имярек забил «бенгальский» гол». . . А вообще-то имелись ввиду всего-навсего тигры, к которым Эрдман, по одной из своих ипостасей циркового либреттиста, конечно, имел отношение.

В глаза при первом знакомстве с Николаем Робертовичем прежде всего бросалось колоссальное обаяние незауряднейшей личности. После ареста он много пил, а посему лицом был красноват. Заикался больше обычного, и только возрастающий дефект речи свидетельствовал о количестве выпитого. В остальном это был джентльмен, на которого спиртное не производило никакого видимого впечатления. И здесь у него были особые пристрастия. Больше всего он любил коньяк, лучше армянский, иногда грузинский, если другого не было, над водкой вздыхал и говорил: «Не мне отрицать этот извозчиный напиток, так как каждую среду и воскресенье я на бегах». Но там он бывал в изысканной компании, сидел на местах для избранных, где до простой водки дело не доходило. Его обычные спутники на бегах — великий актёр МХАТа Михаил Яншин, знаменитый футболист Андрей Старостин и не менее прославленный человек с трудно определяемой профессией. В свое время человек этот был директором джаза Утёсова, затем режиссером цирка на Цветном бульваре, создал два цирка на льду, в двадцатые годы играл на бильярде с самим Маяковским, пил и дружил со Светловым, с кинорежиссером Александровым. Родом был из Одессы во всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть непрерывными остротами на грани хамства и, главное, был незаменимым рассказчиком.

Пора, наконец, назвать его имя — Арнольд Григорьевич Арнольд. Я подозреваю, что это была не фамилия, а, скорее, цирковой псевдоним, который прятал достаточно неподотчетное в биографии Арнольда время эдак с 1916 по 1925 год. Если говорить честно, я ещё должен прибавить ко всему виртуозную игру Арнольда в преферанс по крупному.

Таким образом, вырисовывается довольно любопытная фигура и высвечивается портрет жуира, прожигателя жизни, про которого сам Эрдман говаривал: «Слава Богу, я не играю в карты, а то бы никогда не сел с Арнольдом за один стол. В его присутствии даже пиджак снять страшновато. По-моему, всё, что он приобрёл в цирке, — это принцип: ловкость рук и никакого мошенничества. За второе не поручусь».

Однако с Арнольдом Эрдман дружил и не раз замечал: «Я не знаю, какой он режиссёр, стараюсь его постановки в цирке не смотреть, но рассказчик он бенгальский. Как-то он ко мне зашёл и пересказал американский фильм «Касабланка», да так, что я сразу понял — фильм смотреть не надо, в пересказе Арнольда он лучше». Со своей стороны могу заметить, что при этом разговоре я присутствовал и свидетельствую, что фильм «Касабланка» хуже рассказа Арнольда, хотя рассказ сопровождался одесскими отступлениями, едкими метафорами и «завывательными» репризами.

[...]

Сейчас по позднему воспоминанию я никак не могу сказать, что Николай Робертович был добрым человеком. Если его что-нибудь раздражало, он никогда этого не скрывал. Был нелюдим, хотя общение, особенно с интересными людьми, и непрерывное желание понравиться всем и вся было едва ли не главной составной частью его жизни. Он почти ничего не читал. Газеты не выписывал. Слушал радио. В последней трети своей жизни приобщился к телевидению, хотя ничего для него специально не писал. Весь его большой заработок складывался из киносценариев, преимущественно неудачных, для крупноформатных художественных фильмов, или прелестных, как маленькие бриллианты, шедевров для анимационных лент. Например, «Дюймовочка» по Андерсену или «Федя Зайцев» — нравоучительная сатира для детей.

Всё творческое наследие Эрдмана можно найти, прочесть, но это ничего не даст. Обе пьесы: «Мандат» и «Самоубийца» — глыбы рядом с ворохом мелочей.

Увы, большим пьесам не везло рядом с многочисленными мультиками, на которые он тратил последние силы.

Вся эта кажущаяся лёгкость бытования, светские общения пополам с затворничеством, море коньяка, иссякающие к концу жизни громкие романы, — вот и всё, что осталось бы от Николая Эрдмана, если бы не многочисленные, я бы сказал эпохальные остроты. И какой-то неподражаемый иронический скептицизм человека, свой срок отмотавшего, вкусившего всяческой славы, старавшегося поддержать репутацию модного домашнего философа-скептика.

А ведь слава подлинная, не наносная была в самом начале пути. Затем арест, ссылка. Заступничество Луначарского и Фадеева не помогли. Его арест был первым в среде советских писателей. «Раз ГПУ пришло к Эзопу, чтобы схватить его за жопу. Поступок этот прост и ясен. Пожалуйста, не надо басен». Это одно из кратких «мо» Эрдмана, которые повторяла советская интеллигенция в страшные тридцатые годы. Но это пустяковая детская игрушка по сравнению с тем, что Эрдман писал в этом жанре.

Однажды Василий Иванович Качалов, желая помочь молодому драматургу, прочёл на приёме в Кремле его басню «Ворона и лисица» по мотивам дедушки Крылова. Ехидный смысл первых строчек заключался в прямой цитате: «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. . . Читатель скажет: «Бога нет» и будет прав. Но нет и сыра!». В стране, действительно, было голодно, только что прошла коллективизация. Говорили, именно эта басня привела к аресту Эрдмана.



Думаю, нет. Даже для мстительного Сталина это было мелковато. Ведь посадили тогда не только Эрдмана, а ещё и писателя Масса. Тот был соавтором Эрдмана по сценарию кинофильма «Весёлые ребята». Сталину этот фильм очень нравился, он смотрел его много раз, безудержно хохотал, но авторов сценария решил посадить на всякий случай, чтоб другим неповадно было бездумно веселиться.

Мне кажется, основная причина была не в этом. Сталину особых мотиваций для злодейства никогда не требовалось. Дело в том, что в 1929 году Эрдман закончил пьесу «Самоубийца» и предложил её для постановки МХАТу. Станиславский и вся труппа были в восторге, а цензура запретила пьесу к постановке.

Нелишне напомнить, что первоначально Эрдман предложил пьесу Мейерхольду. Но там последовал личный запрет наркома просвещения Луначарского. Основатели МХАТа написали в Кремль протестующее письмо, утверждая, что пьеса интересная и вдохнёт в театр новую жизнь, в чём коллектив тогда очень нуждался. Не подписал это письмо лишь Михаил Булгаков, который работал тогда в литературной части Художественного театра. Ему пьеса «Самоубийца» решительно не нравилась. А Эрдман в свою очередь терпеть не мог пьесу Булгакова «Дни Турбиных». Впрочем, Николай Робертович неоднократно и доверительно говорил мне: «Нас, сатириков двадцатых годов: меня, Катаева, Булгакова, Зошенко, Олешу, нельзя слушать, когда мы высказываемся друг о друге. Идёт глупая борьба за лоскутное одеяло, которое и без перетягивания разорвётся. Так оно и случилось, а теперь пожинаем последствия».

Николай Робертович Михаила Афанасьевича не очень жаловал, хотя признавал, что «Белая гвардия» — замечательный роман, особенно в части киевской пейзажной, а Булгаковские пьесы никуда не годятся.

С его точки зрения Булгаков, когда у него бывал литературный успех, становился совершенно невыносимым. «Одни его светлые гамашки чего стоят... Провинциальный пижон. Корчил из себя гвардейского офицера. На самом деле был вольноопределяющийся студент-медик военного времени. Из коллег по двадцатым только Ильф и Петров стоят кое-чего. Тут власти промашку дали. Не задушили на корню после первых фельетонов. А уж эти ребята в советской власти разобрались, как никто. Препарировали её по первому классу. И всё сошло с рук. То ли власти читали невнимательно, то ли смеялись до упаду, а сквозь смех не разобрались».

Далее Эрдман произнёс историческую фразу: «Вообще Остап Бендер — первый и последний в советской литературе положительный герой. Настоящий, основополагающий, как Чичиков у Гоголя». Свой восторг перед Остапом Бендером Эрдман повторял неоднократно.

Помню шумное застолье у него дома, на его же, Эрдмана, шестидесятилетие. Пили как всегда очень много. Уже Михаил Царёв, пуская глицериновую слезу, читал стихи Есенина, а Михаил Вольпин говорил о Есенине иронично и достаточно задушевно, дабы они были родственниками. А меня невольно мучил вопрос: почему Николай Робертович подпускает Царёва достаточно близко к себе, хотя знает, что человек он опасный и с советской властью близок не на шутку? Думаю, что причин здесь было по крайней мере две.

В молодые годы Царёв был одним из ведущих актёров театра Мейерхольда. Тогда у Всеволода Эмильевича шёл знаменитый спектакль «Дама с камелиями», где Царёв играл вместе с Зинаидой Райх и, говорят, играл превосходно.

Да, Царёв был действительно превосходным актёром. Я видел его Дядюшку в «Селе Степанчикове» Достоевского. Там он был вровень с Игорем Ильинским, чей Фома Опискин, наверное, не забудется никогда. Думаю, именно талант Михаила Ивановича Царёва был одной из причин интереса Эрдмана к нему. С другой стороны, близость с Царёвым в известной степени легализовывала положение самого Эрдмана, за которым тянулась репутация бывшего ссыльного и вообще диссидентствующего писателя.

Однако на похороны по умершему Николаю Робертовичу Царёв не пришёл. Кстати, в тот момент на западе Европы и в США с громадным успехом шла пьеса Эрдмана «Самоубийца», рукопись которой вывез за границу какой-то югославский журналист.

Мы сидели у только что скончавшегося Николая Робертовича. Его близкий друг и соавтор Михаил Вольпин позвонил Сергею Михалкову с просьбой предоставить один из залов Дома литераторов для гражданской панихиды. Михалков ещё не знал о кончине драматурга. Но нимало не смущаясь сказал, что Дом литераторов будет занят, так как вот-вот должна умереть Вера Инбер!.. Это была одна из трагикомедий советских литературных похорон. Примерно то же было и с Пастернаком, но об этом позже.

Вместе с Михаилом Вольпиным я разбирал весьма скудный литературный архив Эрдмана. Мы надеялись, что Николай Робертович писал для себя, в стол. Но ничего не было обнаружено.

Более поздние архивисты из самозванных родственников и заезжих американских специалистов по советской литературе двадцатых годов тоже ничего не нашли. Сохранилась лишь безумно интересная личная переписка, где такие корреспонденты, как актриса Ангелина Степанова, Надежда Осиповна Мандельштам, великая киноактриса Любовь Орлова и эстонская красотка Эве Киви... Но ни единой строчки, написанной рукой Мейерхольда, Таирова, Немировича-Данченко, Дикого... Есть подозрения, что все эти письма Эрдман уничтожил сам перед арестом после разговора на Лубянке. Он понял, что ему придётся уехать в места отдалённые и следов оставлять нельзя.

Тогда же он написал обожаемой им маме письмо, где деликатно намекал, что ему придётся уехать, и подписался «Твой Мамин-Сибиряк». Так он потом подписывал все свои письма из ссылки, которая по сравнению с тем, что делалось с его коллегами дальше, была неприятной, вынужденной, но почётной в глазах добрых знакомых прогулкой.

Друзья ездили к нему на поселение, особенно Ангелина Степанова, гостили там. Муж Ангелины Александр Фадеев выпросил у Берии для Эрдмана ссылку в город Александров под Москвой.

Дальше было совсем интересно.

Эрдман жил в Александрове, потом в Волоколамске. Любопытное время для него. Он пытался что-то писать, у него даже купили сценарий «Старый наездник». Появились какие-то денежки, и тут сюрприз: неожиданно стараниями нескольких знакомых, а главным образом, великолепного актёра Юрия Любимова, Николая Робертовича пригласили в Ансамбль песни и пляски Наркомата внутренних дел литературным консультантом. Такой уж был обычай. Чуть ли не каждое советское учреждение, область, край, завод должны были иметь свой собственный ансамбль песни и пляски. Порядок сей носил эпидемический характер. Таким образом, создался некий либерализм конца тридцатых годов, который символизировался переводом в Москву из Тбилиси грузинского функционера Лаврентия Берии. Кровавый след, оставленный алкоголиком Ежовым и завершившийся расстрелом Бухарина, некогда близкого соратника Сталина, таким образом пытались подмыть. Берия освободил из лагерей небольшое количество заключённых и восстановил их в поверженных правах. Прежде всего, это были крупные военачальники, такие, как будущий маршал Константин Рокоссовский. Именно в этот период и был создан Ансамбль песни и пляски НКВД.

Служа там, Эрдман от души иронизировал. Придя к матери в гости, получив новенькую чекистскую форму, он долго стоял перед старинным зеркалом в бронзовой оправе, висевшим в передней, и, привычно заикаясь, поправляя фуражку с голубым околышем, произнес: «Мама, не беспокойся. Это за мной пришли». При данном высказывании присутствовал его брат, знаменитый цирковой и театральный художник, Борис. Он-то и разнёс эту остроту несгибаемого Николая Робертовича по всей Москве.

О своей службе в Ансамбле НКВД Николай Робертович отзывался с иронией и неохотно. Там были сфокусированы все лучшие артистические силы советского искусства. Эрдман и Вольпин – литературные консультанты. Блестящий солист Большого театра, танцовщик Георгий Фарманянц – главный балетмейстер. Музыкальный консультант – Арам Хачатурян. Первая скрипка оркестра и дирижёр – Юрий Силантьев. Конферансье – Юрий Любимов. Главный хормейстер – Александр Свешников и т.д. Позже Эрдман сказал: «Если бы в помещение клуба НКВД, где мы репетировали, попала бомба, советское искусство прекратило бы течение своё».

Эрдман и Вольпин ездили с Ансамблем по стране на все гастролы. Самое любопытное – младшие командирские чины им дали, но судимости не сняли и реабилитации они не получили. У них это обстоятельство вызывало поток каламбуров. Между прочим, они точно замечали, что не могут представить себе Ансамбль песни и пляски Гестапо. Или оркестр Государственной безопасности под управлением Фрица Крейсера (очевидно, имелся в виду Силантьев). «Со вкусом у Гельсы с Гимлером было получше». Но, безусловно, самым «любимым» героем Эрдмана и Вольпина все-таки оставался Берия.

Был в Ансамбле НКВД некий технический работник по имени Николай Николаевич. В трудные военные годы он легко доставал дефицитные напитки. В это время до Москвы докатилась американская оперетта, где была знаменитая ариетка, воспевавшая «Цветок душистых прерий». Водконос Эрдмана Николай Николаевич напевал: «Цветок душистых прерий Лаврентий Палыч Берий».

Летом 1953 года, когда Берия был арестован, Эрдман позвонил домой Луначарской. К телефону подошёл я, сказал, что Наталья Александровны нет дома. Тогда Эрдман сделал сообщение, которое меня громом поразило. Он спросил: «Толя, ты помнишь “Цветок душистых прерий”? Так вот, – пауза, – “Цветочек” посадили. Поздравляю тебя и Наташу. Это исторический момент». После чего трубка было повешена. Все это Эрдман сказал за два дня до официального сообщения об аресте.

Через пару лет после окончания войны Эрдману с Вольпиным предложили написать киносценарий о героической партизанской борьбе на Северном Кавказе. Министр кинематографии Большаков и руководитель Мосфильма Пырьев дали понять, что фильм должен быть приключенческий, трюковой, с многочисленными конными номерами. Денег не жалели, выбор актёров любой. Кто-то порекомендовал на главную роль совсем мальчишку Сергея Гурзо. К этому времени он уже снялся в роли Сергея Тюленина в кинофильме «Молодая гвардия» по военному роману Александра Фадеева о партизанском подполье в Краснодаре. Для «Смелых людей» – будущего советского вестерна, Сергей Гурзо учился скакать верхом и занимался борьбой самбо (самооборона без оружия). Съёмки проходили в живописных местах на Северном Кавказе в районе Голубых озёр. Это Кабардино-Балкария значительно выше Нальчика, в горах. Из знаменитых актёров в фильм был приглашен Ростислав Плятт, игравший трусливого и глупого полковника вермахта, возглавлявшего подразделение по борьбе с партизанами. Авторы проводили на Северном Кавказе всё время. «Там воздух чище, чем на бегах, – резюмировал Эрдман и добавлял, – а дагестанский коньяк не хуже армянского. Он жёстче и напоминает местную водку. Словом, там можно жить».

В результате фильм получился непохожим на шаблон тогдашнего военного проката. Сборы у публики он делал невероятные и был одобрен в Кремле. Эрдман этой ленте стеснялся в силу её пропагандистского оскала и открытой агитационности.

Министерство кинематографии СССР выставило продукцию Эрдмана и Вольпина на Сталинскую премию. Решение было рискованным. С одной стороны, авторы – политзеки, с другой – работники Ансамбля песни и пляски НКВД. Как известно, все лауреатские списки просматривал и утверждал сам Сталин. Память у него была сумасшедшая, особенно когда касалось дел неблагоприятных. Кинофильм «Смелые люди» на премию пропустили. Сталин лично установил третью премию вместо назначенной второй. Политзеки Эрдман и Вольпин получили значки с профилем Сталина бронзового достоинства и небольшую денежную награду, поскольку двадцать пять тысяч рублей делили на всю съёмочную группу.



Эрдман отлично понимал, что для легализации его положения звание Лауреата Сталинской премии – шаг в высшей степени положительный. Так и появилась у Эрдмана первая и последняя Государственная премия СССР. Пили по этому поводу на бегах в ложе для творческой элиты беспробудно. Упомянутый выше Арнольд наладил доставку коньяка прямо на трибуны через конюшни. И водку «Кизлярскую» не забыл.

Для Николая Эрдмана и Михаила Вольпина был открыт путь в большую кинематографию. Дело хорошее. Но, забегаю вперёд, скажу, что особых творческих результатов оно не дало. Последующие фильмы, в частности, «Каин XVIII» по сказкам Евгения Шварца – хорошее кино. Блестящие актёрские работы Эраста Гарина и Юрия Любимова, достаточно смелые аллегории авторов сценария, но всё это как-то не сложились в великую ленту. Подозреваю, что была упущена некая сатирическая энергетика. Может быть, потому, что Николай Робертович уже начинал серьёзно заболевать.

На очереди была очередная творческая оплеуха. Эрдман получил заказ на сценарий о футболе. Страна бредила кожаным мячом. Лужников ещё не было, а центральный стадион «Динамо» был заполнен до отказа на лобном матче, после которого публика, не желая ломиться в метро, громадной колонной шла по центральной части Ленинградского проспекта (она тогда была бульварной) и горячо обсуждала всё происшедшее.

Николай Робертович футболом горячо интересовался, дружил со знаменитым комментатором Вадимом Синявским и с блестящим нападающим «Динамо» Константином Бесковым.

В качестве консультантов авторам сценария предложили таких знаменитостей, как тренер Михаил Якушин и нападающий Григорий Федотов. Основа интриги будущего фильма – недавние триумфальные гастроли футболистов московского «Динамо» в Англию. Они тогда здорово сыграли, победив с общим счётом «19:9». Но то, что основной процент мячей был забит в ворота любительской команды Уэльса, никого не волновало. Мы заставили себя уважать на родине футбола!

Не надо забывать, что уже шла «холодная война». Черчилль произнёс свою знаменитую речь в Фултоне. Наши отношения с другими союзниками по антигитлеровской коалиции шли под откос, и сценарий Эрдмана получился не спортивным, не комедийным. . . из всего фильма в памяти осталась только песня Блантера «Выше знамя советского спорта».

А потом последовала разгромная статья в «Правде», напечатанная на второй странице, как рецензионный подвал. Называлась она «Неудачный фильм о спорте». По Москве поползли слухи о том, что Сталин отозвался о фильме, как о ходульном и пошлом. Кстати, говорилось, что в нём были заняты великие актёры, чего я сейчас никак не могу припомнить, скорее там снималась желторотая молодёжь. Из ветеранов, помню, был знаменитый вратарь Анатолий Акимов. Фильм, действительно, получился неудачным: интриги натянутые, драматургия высокопарно-эстрадная. . . Высшую категорию ленте не дали, но денежные сборы она имела большие. Так что Эрдман, потирая руки, говорил: «В нашей стране и футбол на высоте, даже неудачный фильм даёт хороший прокат и потиражные».

Далее пошли анимационные удачи по сказкам Перро и Андерсена. Обретен был статус-кво, но, к сожалению, далеко не во всём.

Врачи заставили Николая Робертовича бросить курить трубку, обнаружив кожный рак на языке. Затем тяжёлое воспаление лёгких с подозрением на рак. Короче говоря, ему пришлось пролежать в больнице с радиоактивными иглоками в языке, которые, чтобы он их не проглотил, приклеивали на ниточках с внутренней стороны щеки.

Так он и лежал с иглоками во рту, приговорённый к полному молчанию. Нельзя было ни пить, ни курить. Настроение было гнусное. Тогда-то Эрдман ещё более сблизился с актёром Юрием Любимовым. Любимов приходил в больницу, рассказывал массу забавных вещей и, между прочим, делился своими планами организации на основе собственного курса в Вахтанговском училище нового театра. В ответ Эрдман только мычал и писал Любимову записки.

Николай Робертович был в тот момент женат на рядовой артистке кордебалета Большого театра, дочери обрусевшего англичанина, женщине сухой, расчётливой и резкой. Она виртуозно материлась, что очень забавляло Эрдмана. У этого легендарного бабника был странный вкус. Он, конечно, любил интересных женщин, но как бы отсекал от себя любого человека женского пола, обладавшего умом и обаянием, могущего оказать на него какое-либо влияние. Как я теперь понимаю, он и в браках оставался одиноким, живущим своими законами и своими пристрастиями. Не дай Бог их было нарушить. В ответ он метал такие ядовитые словесные стрелы, что это мало кто из женщин мог перенести. Он замыкался в своём кабинете, неохотно выходил к гостям в столовую и иногда внезапно исчезал.

Эти обстоятельства и дали основание считать, что он постоянно что-то пишет «в стол» для будущего свободного читателя.

Ничего подобного. Он просто поденно работал. Когда удачная мысль приходила в голову, торопился её записать. Многие из своих сценариев для кукольных фильмов он диктовал Наталии Горчаковой, дочери Николая Михайловича Горчакова, ассистента и литературного сотрудника самого Станиславского.

Скажем прямо, не очень везло Эрдману с браками. Он несколько раз женился, но к жёнам относился, скажем мягко, без преклонения.

Меня всегда восхищал эрдмановский метод ухаживания. Не скрою, я ему подражал и подражаю до сих пор. Да, метод этот несколько старомоден. Один из главных постулатов Эрдмана: «Современные женщины, независимо от возраста, совсем не избалованы, чем моложе, тем наивнее. Если, расставаясь с ней, подаёшь пальто, она убеждена, что ты любишь её и легко женишься». Увы, он был прав. После

войны мужчин не хватало, и прекрасный пол жил несбыточными ожиданиями, основанными на собственных представлениях о счастливой любви.

Эрдман вряд ли этим пользовался, скорее, ставил некий эксперимент, проверяя воздействие своего мужского обаяния. Женщины к нему рвались, но настоящей семейной жизни не получалось. Вокруг этого всегда присутствовал какой-то холодный этикет и классически подтверждалось пушкинское: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей».

Ни в драматургии Эрдмана, ни в его сценариях, ни в стихах настоящей любовной лирики нет. Всё больше добрая, а иногда и недобрая усмешка. Обожание, которым его награждали женщины, с годами становилось всё более кратким. Бывшие жёны старались устроиться понадежнее, получше. Детей не было. Так что после смерти Николая Робертовича с авторским наследием, да и с имущественным, возникли проблемы.

Самое ужасное, что обнаружилось после смерти Эрдмана, следующее: примерно с середины тридцатых годов он ничего серьёзного не писал. И причина этому одна — страх! Он никогда на эту тему не заговаривал, но я заметил, когда что-то ему рассказывали из последних событий общественно-политической жизни (после смерти Сталина об этом можно было говорить свободно), он вдруг прерывал собеседника странным вопросом: «Всё это хорошо. Но скажите, когда опять будут сажать?».

Хрущёвскую оттепель Эрдман принял без видимого энтузиазма, но интерес к тому, что происходит в политике, естественно, возрастал. На него ужасное впечатление произвело самоубийство Фадеева. Он считал этот выстрел закономерным и говаривал, что «душитель русской литературы совершил благородный и красивый поступок, застрелившись из пистолета своей партизанской молодости».

Николай Робертович стал чаще встречаться с его вдовой, Ангелиной Степановой, говоря, что она, как никто другой, нуждается в моральной поддержке. У Эрдмана и Степановой, кроме нашумевшего давнишнего романа, было, как ни странно, нечто общее, их весьма роднившее. Трудно себе представить более закрытых людей. Эта закрытость проявлялась и в их личном общении в возрасте уже преклонном. Создавалось впечатление, что оба они хотят сказать друг другу нечто особенно важное, но не говорят, дабы друг друга не ранить.

Я присутствовал при таких трудных диалогах и признаю, что в отличие от других знакомых Эрдмана, Ангелина Степанова меня открыто недолюбливала. Однажды, когда Николай Робертович похвалил мой перевод и моё концертное чтение «Истории солдата» Игоря Стравинского-Рамо, Ангелина Степанова, не замечая моего присутствия, завила, что это любительские вариации на давно известные темы. Я не обиделся, так как к этому моменту воздействие моей работы на публику было строго проверено и сомнений не вызывало. Хотя нелишне вспомнить и другие реакции на эту мою первую серьёзную попытку написать стихи.

К этому времени созрел скандал с «Доктором Живаго» Пастернака. Всё государственное внимание было обращено в эту сторону. Надо сказать, что роман «Доктор Живаго» Николай Робертович прочёл одним из первых. Когда все наперекор здравому смыслу ругали роман, Николай Эрдман заметил: «Самая значительная прозаическая вещь в русской литературе XX века. Она будет жить долго. А стихи к роману вечны. Гениально Борис Леонидович придумал в качестве бессмертного приложения тетрадку стихов Юрия Живаго. Хотел позавидовать, да глупо».

С Пастернаком он встречался, ездил в Переделкино и со мной, и с Борисом Николаевичем Ливановым. Только тесной дружбы с Пастернаком не выходило. Борис Леонидович очень много, если не всё, воспринимал близко к сердцу и был чрезвычайно открыт. Эрдман — полная ему противоположность. Всегда отшучивался, а свою литературную деятельность продолжал называть «поденщиной» или «исправительными работами» и даже кокетничал этим: «Зарабатываю для ипподрома и на коньяк. Баста».

Не знаю, удалось ли мне передать страшную трагедию талантливейшей личности, сломанной советской властью ещё в начале творческого пути?.. Эрдман никогда не был ни трусом, ни слабаком. То, что с ним произошло, я описал в достаточных подробностях. Не хватает одного — деятельного участия Эрдмана в работе Театра на Таганке под руководством Юрия Любимова.

Буквально с самого начала при постановке любой пьесы Юрий Петрович не начинал работу без благословения Николая Робертовича. Однажды он сделал ему заказ на инсценировку «Героя нашего времени» по Лермонтову. Эрдман жаловался, что немеет перед прозой гениального русского поэта, что у него перо валится из рук. Может быть, в качестве самозащиты, Николай Робертович на все корки разносил драму «Маскарад», хотя видел её в блестящем исполнении Рубена Симонова и Аллы Казанской. Он был настолько несправедлив к этому произведению Лермонтова, что когда я как-то к нему зашёл и застал в гостях Бориса Барнета, который был тогда женат на Алле Казанской, Эрдман тихо сказал: «Хорошо, что ты пришёл. А то мне надоело говорить о том, как Аллочка велика в плохой пьесе русского гения». Естественно, из инсценировки ничего не вышло. Её потом дописывала популярнейшая тогда актриса, умная и чуткая женщина Людмила Целиковская. Но и у Люси ничего не получилось.

А я поймал себя на том, что до сих пор, перечитывая «Героя нашего времени», думаю о Николае Робертовиче, которому эта неудача была чрезвычайно тягостной.

Конечно, Эрдману было лестно корректировать всю работу Театра на Таганке. Но настоящего творческого удовлетворения он от этого не получал. Его раздражали пьесы по Трифонову, прозу которого он не любил, особенно «Дом на набережной», приводивший его в тихое бешенство. Спектакль «Мастер и Маргарита» (Москва стояла тогда за билетами по ночам) он тоже отринул, произнес фразу поистине



мудрейшую: «То ли Бог, то ли Сатана, то ли Рыбка, то ли Пипка. . . Никак этот дуализм не возьму в толк».

Не так давно я был в Театре, выпил у Юрия Петровича немного водки перед началом спектакля на тему «Доктора Живаго», и с удовольствием обнаружил в кабинете большой портрет Николая Робертовича Эрдмана. Надо бы попросить копию для себя. . .

Жаль, что так мало осталось от Эрдмана, я имею в виду литературу. Попытка гарвардского докторанта Джона Фридмана издать полного Эрдмана, включая даже цирковые работы – дело благородное. Но стихи, басни на английском языке очень теряют. Обаятельные мультики в пересказе мало что значат. Я также думаю, что для Джона Фридмана, с которым я хорошо знаком и который любезно ссылался на меня в своих сочинениях, был труднодоступен тот Эрдман, коего мы, очень немногие, знали хорошо.

Сверлит голову неприятная мысль: Николай Эрдман напомнил мне трагическую судьбу поэта и драматурга Михаила Светлова: яркое начало, совпавшее с послереволюционным периодом. Затем словно перегоревшая лампочка или гасла, или еле светила из остаточного принципа. Но ежели источник света трясли или передвигали, контакты вновь соединялись, вспыхивало нечто настоящее, то ли в разговорах, то ли в анекдотах, а потом опять блеклая повседневность. Бега, коньяк или. . . нечто в этом роде.

По-моему, пьеса «Самоубийца» – факсимиле судьбы самого Николая Робертовича, где есть как всегда и правые, и виноватые. Роковая фигура героя, который достаточно твёрдой рукой, словно скульптор, высекает собственные магические контуры, несомненна. На всё воля Божья. Творец, как известно, самоубийство не поощряет. Мы, жившие и знавшие Эрдмана, должны помнить, сожалеть и простить.

«ОКОЁМ»

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ СИЛА КРЫМА

С 25 по 30 августа в г. Шелкино (мыс Казантип, АР Крым) прошёл Международный фестиваль литературы и культуры «Славянские традиции – 2011». Фестиваль с таким названием уже в третий раз собирает литераторов Украины, России, Беларуси, других стран СНГ и дальнего зарубежья на берегу Азовского моря, и даёт им возможность не только представлять вниманию собратьев по перу свои произведения, но и общаться с мэтрами современной литературы, редакторами литературных журналов.

Наряду с авторами из других стран и городов в финал конкурса «Славянских традиций – 2011» вышли и двенадцать членов Южнорусского Союза Писателей: Ксения Александрова, Ирина Василенко, Владислава Ильинская, Александр Хинт, Сергей Нежинский, Виктория Колтунова, Илья Рейдерман, Александр Семькин, Анна Стреминская, Валерий Сухарев, Полина Тараненко, Людмила Шарга. Многие из них не только прошли в финал литературного конкурса фестиваля, но и заняли призовые места, получили награды и премии. В номинации «Стихотворение о любви» второе место заняла молодой поэт, уже печатавшаяся в первом номере «Южного сияния» Владислава Ильинская, третье место разделили между собой – опубликованные в первом же номере журнала Илья Рейдерман и Анна Стреминская. А поэты из дружественного города Ильичевска, также члены ЮРСП, заняли первые места – Александр Семькин в номинации «Поэзия, свободная тематика», Ирина Василенко в номинации «Стихотворение о любви». В номинации «Малая проза» второе место завоевала Виктория Колтунова. Литературной премией им. Юрия Каплана были отмечены поэты Александр Хинт, Владислава Ильинская и Анна Стреминская. Были наши писатели отмечены и призами зрительских симпатий, подтвердив тем самым слаженную работу жюри. Помимо финалистов конкурса в составе одесской делегации присутствовали гости фестиваля Ольга Ильиницкая и Евгения Красноярова, а также члены жюри фестиваля Станислав Айдинян и – ваш непокорный слуга...

В рубрике «Окоём» на этот раз мы публикуем произведения победителей фестиваля «Славянские Традиции – 2011» в основной поэтической номинации, а также стихотворные подборки победителя в номинации «Стихотворение о любви» Ирины Василенко и победителя в номинации «Литературный перевод» Бахытжана Канапьянова.

Сергей Главацкий

АЛЕКСАНДР СЕМЬКИН

МЛАДШИЙ

Что ты, куда ты?! Одумайся, младший брат!
Мир за окошком оскалится, словно хищник.
В пыльной коробке, где нас уложили в ряд,
Свет абсолютно лишней.

Только представь, что тебе предстоит пройти,
Вдруг пропадёшь или заживо будешь съеден...
Братик наш маленький, из двадцати пяти
Ты был отлит последним.

Олово – мягкий металл, так откуда взял
Ты эту храбрость, отвагу, упорство, стойкость?
Дух безрассудства нас всех за собою звал,
Но не ушло нисколько.



На подоконнике, лишь обернись на миг,
Брат наш любимый, не терпящий лжи и фальши.
Был ты один одноногим из всей семьи,
Ну, а шагнул всех дальше. . .

УСТАЛЫЙ ДОЖДЬ

В какой карман ни упадёшь –
настигнет молния-застёжка,
затем пойдёт усталый дождь
на тонких морозящих ножках
по лужам циркулем круги
расчерчивать для каждой капли. . .
А мне б коснуться снов других,
а мне бы роль сыграть в спектакле,
в котором радуга бежит
цветасто в небо, словно в детстве. . .
Растёт сценарий пьесы Жизнь –
четвёртый в нём десяток действий,
и я (действительно ли тот,
кто бредил радугой вначале?)
бреду в застёгнутом пальто,
в дожде, в тумане, и в печали. . .

ЗИМНИЙ СОН

Зима, как зверь свирепый, мглу
грызёт, являя прикус волчий.
Мой крик сползает по стеклу,
но молча.

Слепая ночь горчащий яд
со льдом мешает в кружке стужи,
рождая сто миров, где я
не нужен.

Мой сон метелью снежных бритв
разбит на множество осколков,
и я не сплю, я лишь убит
и только.

ДЕДУШКА ЭМ

Вот, сидит-тоскует, вздыхает снежно:
никому не нужен, себе тем паче;
раз в году лишь вспомнят зимой, а между –
хоть бы кто. . . и плачет. . .

Мятая шубейка, изношен посох,
в бороде – капуста, солома, щепки. . .
Всё в избёнке старой неладно, косо;
на дверях – дощечка:

«Дед Мороз», и кто-то в корявых скобках
приписал «Алкаш», что, по сути, верно –
он чертей зелёных уж видит, год как. . .
Снег струится вверх, но

подползёт декабрь и дышать полегче
станет деду. В среду придёт почта.
Есть в конвертах то, что его так лечит –
славный детский почерк. . .



ВОЙТИ В ВЕСНУ

Здесь даже воздух слыл покорным.
 Но взбунтовались зеркала,
 Из амальгамы вырвав с корнем
 Тоску, которая лгала.

За ними встрепенулись окна,
 Ворвался в комнату сквозняк,
 И он опять вернуть помог нам
 Тепло каминного огня.

Проснулись все часы внезапно:
 В гостиной, в спальне на стене...
 И был их бой подобен залпу
 Старинных пушек в мир теней.

И замок наш вместили под своды
 Седьмое небо в облаках,
 Где ощущением свободы —
 В моей руке твоя рука.

Мы до утра с тобой отпустим
 Поводья, сны, печаль и слуг
 И на закате цвета грусти
 Войдём тихонечко в весну.

НЕ РАСПЛЕСКАТЬ...

В небеса, к мирам иным
 расцвела дорожка-скатерть,
 я несу в ладонях сны —
 как бы мне не расплескать их?..
 Каплей скатывать с горсти,
 словно сказочник Лукойе,
 я не дам тебе грустить —
 ремесло моё такое.
 Как прививка от зимы,
 расчудесная пилюля —
 взят у памяти займы
 сон о будущем июле,
 где от светлых брызг цветных
 у тебя намочило платье.
 Я влюблён в такие сны,
 только бы не расплескать их...
 Говорят, что смерти нет,
 страх киношно-несерьёзен
 в тех краях, где сон-птенец
 в клюве нам приносит грёзы —
 весь нахохленный, смешной,
 вот бы кроху приласкать и
 напоить мечтами, но
 так, чтоб вдруг не расплескать их...

Летевший по параболе,
 Тяжёлый серый камень
 Раздумывал: пора бы мне
 К весьма ударной карме



Добавить чуть духовности,
Вонзившись в небеса, и
Всем, кроме синяков, нести
Пророчества писаний,

Служить адептам истины
Подобием скрижалей –
Фанатикам неистовым,
И те – чтоб вслед визжали...

Но сила тяготения,
Шепнув с ухмылкой «хватит»,
Взрастила молча тень его
На сморщенном асфальте.

Окончен путь увесистый –
Сверкнувши сизым боком,
Мечтатель наш в кювете стих,
И, знаешь, слава богу...

Я – РОБОТ

Не помню, кем выпущен был этот джинн,
Но вот он, итог многолетней войны:
К утру на планете закончится жизнь.
Я – робот, убийца тепла и весны.

Не ем и не сплю, не дрожу на ветру,
Смертелен, бессмертен, сметлив вместе с тем,
Искуснейший плод человеческих рук,
Распявший создателей всех на кресте.

Земля, как большой галактический морг,
Усеяна грудой безжизненных тел,
Но где-то в развалинах бывших домов
Последняя плещется горстка детей.

Бреду на охоту, скрипят под ногой
Обломки иллюзий, осколки стекла...
Но что это? Чу! Не почудилось? Горн!
Навстречу мне строим идёт третий класс,

И громко скандирует: «Хватит чудить,
Актёр, губернатор, Шварцнеггер Арнольд!»

Мне глючит систему, летит жёсткий диск,
И датчики жизни фиксируют ноль...

ИГОРЬ КУЧЕБО

Дождётся небо пустотелое луны.
Тепла дождётся мёрзлая земля.
А я? Чего жду я? Чего ждут сны
от спящего меня,
когда приходят ровным наважденьем?



Я утром вижу только отраженья,
 немые отблески зажжённого огня,
 сменившегося всполохом рассвета.
 Чего ждут летом сливы, яблони от птиц,
 гнездящихся в солоноватых буклях.
 Чего ждет слово, сложенное в буквах,
 от букв? Только ли лишь звуков?..
 И я, спускаясь к берегу, шепчу,
 что ничего от жизни ждать я не хочу.
 Что жизнь моя — не зал для ожиданий...
 И спиннинг выпустит блесну забросом дальним.
 Она пройдёт не торопясь реку-Оку.
 Вдоль берега к сухому тростнику.
 Здесь плещется в вечернем свете жерех.
 Здесь ветер, словно мысли на лету,
 с размаху рассыпается о берег.

Что там в пути?
 Что нам пророчит старость?
 Любовь, хоть и просил уйти, осталась,
 Как тихая невидная болезнь,
 Зашедшая в хроническое русло.

И в хронике заснеженных небес
 сплошное обострение, и чувства,
 закатанные в хрупкие снежки,
 бросает мальчик в ледяную крепость.
 Зима хоть не пришла ещё, но крепнет
 немое ощущение, что жив —

и мальчик улыбается в окне.
 Смешной, в огромной кроличьей ушанке.
 Салазки выросли и превратились в санки
 и с осликом приехали ко мне.

Тихе. Тихе.
 Слышишь? Слышишь?
 Как поёт ночной сверчок:
 В доме бабушки под крышей
 поселился мотылёк.
 Баю-баю. Спи, малышка.
 Баю-бабочка моя.
 Все уснули, даже мышка,
 даже мышкина семья.
 Даже бабочка в плафоне
 крылья свесив на просвет,
 спит. И даже на Афоне
 в храмах погасили свет.
 Баю-баю. Баю-баю,
 спи, а я во сне с тобой
 в салки снова поиграю,
 словно прошлою зимой.
 Мы играем. Баю-баю.
 Мы давно уже во сне.
 Разрешим, давай, трамваю:
 пусть развозит первый снег.
 Баю-баю. Спи малышка.
 Баю-бабочка моя.
 Все уснули, даже мышка,
 даже мышкина семья.



Убить стихотворением порзу.
Оклеветать на кухне занавески.
Нарисовать на ватмане грозу.
Уехать ненадолго в Спас-Залесский.

Нет, не товарняком, он не прибудет,
а в расписной телеге цирковой.
Где всё одно, медведи, словно люди,
где всё одно – в пути или домой.

Здесь нет убийства в телефонной будке.
Здесь не взрывают бомбой Опера.
Здесь по утрам приносит незабудки
береговой взъерошенный туман.

Протрёшь глаза с утра, бывало, выйдешь
и удивишься, как бросает тень
из шифера растресканная крыша.
Ты крикнешь: «Хей-я».
А в ответ: «Терень! Терень!»

Разряженную густоту лесную
вбирает нецелованное утро,
как будто ландыши венчаются, как будто
хмельных ручьёв звучат, как струны – струи.

Нет, не гитары, и не фортепьяно –
Орфоэпические струны междуречий.
Кузнечики собрались на поляне,
готовят речи.

О равновесии, о водонедостаче...
О том, что мало светового дня.
– Коровка Божья, ну о чём ты плачешь?
– О том, что нету Бога у меня.

Это марш согласных и несогласных гласных.
Череда поколений от «я» до «ять».
Вспять повёрнутое словами время.
Отражённая в небе речная гладь.
Алфавитные поколения – это звуки,
прежде всего, к примеру: *ши шц* –
слышится шум вагонов,
оловянные солдаты, кипящие в эшелонах,
пушки, направленные в тебя.
А потом поля, щавелем поросшие.
Тишина гробовая. Цветы – цветы!
Да поэзия с птичьего цоканья снизойдет до лая.
Что это? Как это? Не сойти б с пути.
Не сказать бы лишнего чего.
Смотрит в лица.
– Рядовой Авель.
– Я.
– Шаг вперёд.
Вечер. Пятница. В магазине народ.
А Иосиф плащ примерить возьмёт,
издали похожий на плащаницу.

АНДРЕЙ ШУХАНКОВ

Блаженны нищие сумой —
 ничем иным. . .
 И бег бездомного домой
 грозит сквозным
 подъездом вытертых калош,
 безлодьем крыш,
 где, отличив от правды ложь,
 уже не спишь. . .
 Блаженны нищие. . . Зачем?
 В чём виден прок,
 когда пророчащих в парче
 ласкает ток
 толпы заблудшей и слепой
 людских теней?..
 Горит свеча за упокой
 прошедших дней,
 где я с душой не говорил,
 где лес из ряс,
 где мне глаголющий привил
 за бесом пляс. . .
 Блаженны нищие вдвойне,
 а я не нищ.
 И, умываясь в серебре
 былых кострищ,
 кроплю языческой строкой
 колоду лет. . .
 А за божественной рекой
 всё тот же Свет.

Наши флаги потрёпаны в битвах погибших племён.
 Наши жёны примерили траур и стали красивы.
 Паралипоменон. Я открыл Паралипоменон
 и увидел всё те же миры и всё те же разливы.

Никогда человек не ступал по священной земле
 без меча. Никогда человек не испытывал трепет
 без разбитых зеркал. Никогда он не верил золе,
 как не верит гончар материалу, из коего лепит.

Мы ласкали траву против шерсти, кропили вином
 перекрёстки чужих, недоступных и правильных жестов.
 И не знали, что смысл изначально ютился в одном
 всепрощающем месте, где нет ни цветов, ни оркестров.

Это там зарождались падения звёзд. Это там
 на руках убаюкали радугу синие птицы.
 Это там золотыми лучами сияющий храм,
 что всю жизнь в неразгаданных снах нам пытался присниться.



НА ПОЛОСЕ...

Ты видишь, как витиевата
разорванная летом вата
легко летящих облаков,
снующих глыбами, горбами,
параболами и губами,
лакающими молоко?

Они не признаны, но граций
всегда пленяло в них купаться
и целоваться, уходя,
вечерний сумрак заплетая
в косу сорвавшегося с края
косого ручейка дождя.

И я смотрю на них тоскливо
на белой полосе прилива...

ЧАНГУ

Бунин. Новелла. Собака пьёт
водку, которая не идёт
ни хозяину, никому...
Непостижимо уму моему
осознавать, что собака пьёт
водку, которая не идёт,
а обжигает гортань, скользя
вглубь организма.
Не пить нельзя...

Утро снимает прохладу с крыш.
Если не бредишь – должно быть, спишь,
или глаза боятся смотреть
дальше ресниц, где обычна смерть,
та, что безродна и голодна
водку из блюда почти до дна
черпает сломанным языком.

К горлу опять подступает ком...
Это не кома – это предел
бывшего, ставшего не у дел.

Мимо часов проползает тень.
– Что это было?
– Вчерашний день!
Ты не находишь внутри зеркал
кромку лица, но его оскал
будит по памяти мотив,
ищущий взглядом аперитив.

Мягкий зевок меж клыков стёк
пьяной собаки, как намёк
на иллюзорность многих вещей
в частности...
да и жизни вообще...

ИРИНА ВАСИЛЕНКО

MEIN LIEBER

Уходит эпоха, mein lieber, уходит неслышно эпоха,
 Ломаются судьбы, и в мареве лета осталась лишь кроха
 Того, что цепляло, держало, стирало границы
 И в руку ложилось пером пролетевшей жар-птицы.

Уходит эпоха, mein lieber, но ты остаёшься со мною.
 Как глупо мы колкие дни разбавляли войною,
 Сжигали мосты и листали разлук неизбежность,
 На краешке лета теряя последнюю нежность.

Mein lieber, my darling, мой свет в запотевшем оконце,
 Взгляни: слишком мало любви и надежды – на донце.
 Кончается лето, уходит эпоха – легко, по-английски,
 А мы остаёмся – без солнца и прав переписки.

МИР ЛОВИЛ ИХ, НО НЕ ПОЙМАЛ. . .

Она – дитя полусонных улиц, старинных книжек и резких фраз.
 Упрямо любит ночное небо – и года два, как не любит джаз.
 Забыты догмы, близки созвездья, далёк от нормы её уют.
 Пусть где-то слева осталась рана – но то пустое, её зашьют.

Он глушит водкой тоску. Усталость бездомной кошкой скребётся в дом.
 Когда-то мир он ловил в капканы, швырял под ноги, вязал узлом.
 Теперь вокруг карнавальным праздник, но это рю – чужой банкет.
 И к цифре «сорок» несёт машина – к звезде? к врагу? к себе? в кювет?..

Что будет завтра?.. Пока неважно. Дыши спокойно, не плачь. молчи.
 La dolce vita полна сюрпризов, пока горит фитилёк свечи. . .

. . . С усмешкой смотрит их южный город, как ей в ладони летят слова.
 Послушай, солнце, пора привыкнуть, что жизнь обычна, а смерть черства.

БОЛЬНИЧНОЕ

«Кто знает – поймёт: это тяжкая мука...»

Костя Елумахов

Кто знает – поймёт: это тяжкая мука:
 Сквозь дни, что листаешь неспешно, как книгу,
 Шагнуть в Зазеркалье, сжав пальцы (ни звука. . .)
 Ломая запястья. . . (не вырваться крику)

Сжимаясь в комок – до утра, до озноба,
 Вымарывать в памяти тягу к полёту.
 Девятая жизнь. «Снято!». Прежние – проба.
 «Вам время платить по небесному счёту».

Слеза чуть приметна на влажной ладони. . .
 Но ты прорываешься – сдавленным стоном.
 Разорвано, скомкано тихое «больно»:
 «Ах, барышня, что ж вы, не спите, довольны –



она продолжается... вы заплатили» –
 За жизнь, что прекрасна, пока ты вздыхаешь,
 За белые флаги, что бьются на шпигеле,
 За право любить – даже если теряешь.

ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЕТА

Всё не ложатся строки в такт,
 всё не кончается суббота,
 сама с собой заключишь пакт
 о том, что твой конёк – свобода,
 и будет горе – не беда
 (а только горькое лекарство),
 всё – трын-трава. Белиберда,
 а у тебя – сирени царство,
 а у тебя растёт жасмин,
 и в голове гуляет ветер,
 и рыжесть – лучший витамин,
 когда вокруг всё в чёрном свете.

К себе прислушайся: жива?
 Пусть всё вокруг летит, искрится!
 ... Под каблучком хрустят слова,
 и лето в дверь уже стучится...

И кто-то тебя костерит, ругает, полощет имя, как простыню.
 А ты, надменно ведя бровями, ни в грош не ставишь всю их грызню.
 Смешливо смотришь на лица-маски: опять, скрываясь, кого-то пнёшь?
 Тебе их жалко – у них есть жало, вот только осы не носят мёд.

С тобою – утро, корицы привкус, горчащий кофе и тёплый взгляд.
 Ты засмотрелась опять на небо, в котором рифмы, смеясь, шалят.
 Добавишь в кофе щепотку соли, добавишь в будни глоток шабли...
 Пусть мир – как книга, где на страницах – излом сюжетов картин Дали –

Ты в Зазеркалье, и хрупок воздух, но кто-то держит твою ладонь.
 И кто-то рядом, и всё надёжно: свеча не гаснет, горит огонь.
 Взрывает время мосты и стены – и чью-то глупость развеет в прах.
 Ты замираешь в Его ладонях, и бьётся сердце в Его руках.

БЛЮЗ ДЛЯ ТЕБЯ

В колонках чуть слышно играет блюз, и я – на его волне... Тону в тихих нотах, иду на дно, вся в звуках, как в западне... Меня перемякло на сотни клемм, и логика – стороной. Послушай, ведь это так просто: быть, не вместе, но всё ж – с тобой. Ловить дыханье, держать ладонь, и гладить щетину щёк. И верить глупо, что мой упрёк (их тыщи!) водой между пальцев стёк...

Слова осыпаются мишурой, ты знаешь, они – ничто. И я, засыпая, шепчу в плечо: пожалуйста, будь со мной. Не надо вечность – она мираж, не выдержать бега дней. Сегодня, слышишь – сейчас – побудь, и всё заполни собой. Я буду просто смотреть в глаза, ловить не в силки – в тепло. Оно ведь живо (пока ещё) пока, когда ты – со мно...

... в колонках тихо играет блюз, а я – всё в свою игру. Пишу сценарий, где каждый шаг – к тебе, и рядом с тобой. А утром разбудит, растормошит ворвавшийся в окна свет, и я поверю нелепо, что разлуки и боли нет. Что где-то (близко?), в твоей стране, ты помнишь, что я жива, стекаю стихами в твою ладонь...

... и нас друг без друга нет.

БАХЫТЖАН КАНАПЬЯНОВ

Тебя звали Алма¹,
тебя называл
половиной
зелёного города,
имя твоё
торопливой строкою кассира
вписывалось
в голубой бланк
авиабилета,
когда к тебе я спешил,
ты шутила при встрече:
– Парень, не так переводишь,
меня звать – «не бери»,
Имя моё,
что плод,
на который
наложен запрет.
Не так переводишь,
парень,
э, не так.

¹Алма (*казах.*) – яблоко, второе значение – «не бери».

ТУРПОЕЗДКА

Сверял гекзаметром Афины,
Но не нашёл, чего искал.
Передо мной одни руины,
На сто столетий опоздал.
В углу кофейни тихо сел я
Оплакивать свой древний путь...
Найти бы время «Одиссею»
Перечитать когда-нибудь.

Где дышат Патриаршие пруды
Вечерним светом отражённых окон,
Там над скамейкой, где сидела ты,
Свисая с ветки, шелковичный кокон
В угоду рифме твой напомнит локон.
И повторится всё: сидела ты,
Дышали Патриаршие пруды
Вечерним светом погружённых окон.
Быть может, персонажи баснописца
Из дерева и камня оживут.
Мартышка, рак, ворона и лисица
К скамейке подлетят и подползут
И скажут мне, что, опустив ресницы,
Вчера весь день она грустила тут.



Пришли неизвестно откуда,
Уйдём неизвестно куда.
Последняя выбита ссуда
На смутные эти года.

Быть может, к последнему морю
Выводит дорога судьбы,
Где к звёздному тянется рою
Блаженная пыль ворожбы.

Мне слово моё нагадали
На строчках святого шитья.
Мелькнула цыганкою в шали
Бездомная муза моя.

И прячась строкою в дискету,
Проступит на той стороне
Тот образ, что виден поэту
В небесном предутреннем сне.

ЗНОЙ

Ущелье спит.
Сынишка чабана,
Что выскочил
Из мелководной речки,
Дрожит и льнёт
Всей робостью овечьей
К груди широкой
Старца-валуна.

Мерцала стрекоза
Невдалеке.
И мальчик виден был —
В её зрачке.

Запах рук твоих и волос
После встречи с тобой унёс.

Сквозь ладонь посмотрел на свет —
Ничего там, в ладони, нет.

Не поверив, к лицу поднёс —
Запах рук твоих и волос.

СТАРАЯ АЛМА-АТА

Н.И. Овчинникову

Природой сотворённый сад камней
Меж горных речек двух — Алмаатинок.
Там засмотрюсь на тишину снежинок,
Прислушаюсь к дыханию огней.

Мне в мире нет и не было родней
Той улочки, где чёрно-белый снимок
Всплывал из ночи памяти, а в ней
Звон под карнизом родниковых льдинок.



И в рифме «горы-город» есть ландшафт,
Там в мамин я закутывался шарф
В одном из обживаемых ущелий.

Пугасов мост. Фуникулер. Базар.
Кресты могил, и на холме мазар –
Сквозь голубые царственные ели.

ДОЛИНА

Сержану Канапьянову

В долине таял образ дня,
Рождались тени.
Куст превращался возле пня
В рога оленя.

Бездонно следом ночь плыла,
Дышала тучей
Сквозь слой воздушного стекла
Над горной кучей.

Войду ли в ночь... Но белый конь
Скачком с кургана
Обронит и в мою ладонь
Росу тумана.

В ней возгорится образ дня
Лучом кристальным...
Всё повторится без меня
В долине дальней.

«ЛИТМУЗЕЙ»

ПАВЕЛ КРЮЧКОВ

ОДНАЖДЫ В ЧУКОВСКОМ ДОМЕ перedelкинские кроки

Памяти Клары Лозовской и Владимира Глоцера

Иногда я пытаюсь вспомнить тот день.

Это было почти сорок лет тому назад. В подмосковном Перedelкине, в бывшей усадьбе писателя, философа и общественного деятеля девятнадцатого века Юрия Самарина располагался детский пульмонологический санаторий номер тридцать девять, а проще говоря – лечебно-оздоровительное учреждение для детей, больных лёгочными заболеваниями. Туда и привезли из Москвы мальчика-первоклассника, который страдал непонятной хворобой: аллергией на городскую пыль. Добрейшая участковая врачиха-еврейка, которую звали Дора Соломоновна Геллер (мальчик и его мама произносили её имя просто как «дорасоломонна») сама подыскала ребёнку этот перedelкинский оазис. Она объяснила маме мальчика, что в санатории он сможет учиться по обычной школьной программе, играть с другими ребятами в подвижные игры на свежем воздухе и принимать какие-то волшебные грязевые ванны.

И что вековые сосны непременно сделают своё чудесное дело – больной поправится.

Так и случилось. Мальчик прожил в этом санатории почти до четвёртого класса, изредка наведываясь в Москву, удивляя столичных одноклассников своими появлениями. И выздоровев, снова стал жить в городе. Первое время он неохотно вспоминал свою «лесную школу», точнее, не любил припоминать печальное: астматические приступы, драки с вновь прибывающими на лечение мальчишками, тоску по дому и маме.

Доносившиеся от железной дороги гудки поездов только усиливали все эти печали.

Но и хорошее не забывалось: крепкая дружба с другим мальчиком, страстным книголюбом и художником, который по вечерам увлекательно пересказывал прочитанное, трогательная санаторская обезьянка в зарешеченном вольере, пение революционных песен вместе с воспитательницей под рояль, ночные летние костры на берегу самаринского пруда и регулярные походы в Дом-музей Корнея Ивановича Чуковского.

... Подобно многим, мальчик произносил имя этого знаменитого детского писателя в одно слово – «корнейчукковский»: как и миллионам других детей, сказочные поэмы Корнея Чуковского нашему мальчику когда-то читали вслух. Он, конечно, этого не помнил («Муху-Цокотуху» и «Бармалей» читают малышам года в два), но волшебные ритмы и удивительные герои прочно осели в какой-то дальней, «запасной» памяти.

Дом писателя городскому мальчику нравился. Два диковинный балкона, открытый и потаённый (Корней Иванович называл его «кукушкой»), широкая нижняя веранда с квадратными ящичками-столбиками для цветов (летом здесь росли оранжевые настурции), задняя липовая аллея, крыльцо с перилами, бронзовая табличка с именем хозяина. Рядом – кнопка звонка.

А уж в самом доме!

... Вслед за приветливой хранительницей дети медленно поднимались по узкой, высокой лестнице в просторный кабинет. Там их встречала картонная, разноцветная, украшенная картинками из сказок Чуковского многогранная люстра, жёлтый плюшевый лев, говорящий по-английски, настоящий головной убор индейского вождя из орлиных перьев, Чудо-дерево на письменном столе, украшенное крохотными башмачками и сапожками.

И – красно-белый Шалтай-Болтай. И – море книг.

Потом нас просили сесть на корточки и закрыть глаза.

Раз... Два... Три! Мы поднимались и открывали глаза – под настоящий железнодорожный гудок. Нашим взорам предстал небольшой металлический паровозик, который вольно разъезжал туда-сюда по чуковскому кабинету и, натываясь на наши ноги, немедленно давал задний ход. Он катил себе и катил, гудя и пуская дым из закопчённой трубы, а мы, затаив дыхание, мечтали только об одном: чтобы это

волшебство не кончалось. Мальчик и представить тогда не мог, что спустя много лет он сам, будучи экскурсоводом дома-музея Корнея Чуковского, поведёт стайку новых санаторских детей в этот диковинный кабинет, понемногу научится рассказывать о жизни и трудах его хозяина, и даже примет участие в составлении одного из томов его многотомного собрания сочинений.

... А тогда на дворе стояла зима 1973 года.

И тем семилетним мальчиком был, признаюсь, именно я. Автор этих заметок.

Корней Чуковский прожил в Переделкине три последних десятилетия долгой, почти девяностолетней жизни. Тут он написал свои поздние книги о Чехове и Некрасове, об Уолте Уитмене и русском языке, об искусстве художественного перевода и детской психологии. Тут создавалась и его книга литературных портретов (изобретенный им самим жанр) — знаменитые «Современники».

Здесь он сложил и свой шеститомник, безжалостно искалеченный цензорами.

Отсюда уезжал за докторской мантией в Оксфорд.

В Переделкине, после войны, Корней Иванович написал и свою последнюю сказку «Бибигон», по названию которой недавно поименовали столичный телеканал.

Наконец именно тут он выстроил на свои деньги детскую библиотеку и заложил традицию ежегодных праздничных костров — «Здравствуй, лето!» и «Прощай, лето!».

Здесь, на сельском кладбище он похоронил жену, с которой прожил полвека.

Здесь знал горе, знал и счастье.

Но сейчас я не пишу о нём биографическую или какую другую познавательную статью, — их написано немало. Пожалуй, я только ещё напомним себе, что в новом веке вышло из печати его пятнадцатитомное собрание сочинений и внушительная книга о нём самом в популярной серии «Жизнь замечательных людей». Ну и доложу, что ныне живёт и здравствует литературный фестиваль его имени и учреждена одноимённая премия.

А уж сборники сказок переиздаются чуть ли не каждый день.

Внучка и наследница Корнея Ивановича — Елена Пезаревна Чуковская — ежедневно и неустанно строит и строит посмертную писательскую судьбу своего знаменитого деда.

Благодаря этой подвижнической работе, этому самоотверженному служению, Корней Чуковский прочно вернулся в русскую литературу в своей полноте: яркий критик Серебряного века, вдумчивый текстолог, языковед, переводчик, историк словесности и знаток детской психологии. Теперь отечественному читателю доступны все его литературные труды, стоит только захотеть их прочитать.

Я же пока пишу, как пишется, — что-то вроде заметок на полях собственных впечатлений, записываю, как говорили в его поколении, «кроки», — иногда заглядывая в тома собрания сочинений и выверяя цитаты. Пишу, поглядывая из окна его тёплого дома, который, приустав от ежедневных экскурсий, возможно, еще вспоминает звук его бодрых стариковских шагов, помнит шелест книжных страниц и поскрипывание его карандаша, — который то лихорадочно, то аккуратно выводил напротив чужого текста какой-нибудь комментарий, прихлынувшее замечание или ассоциацию.

Его многолетний секретарь Клара Израилевна Лозовская любила на своих экскурсиях цитировать пометку в одном из томов собрания сочинений Чехова, стоящего справа от изголовья постели Чуковского. Там, напротив «портретного» пассажа в «Рассказе неизвестного человека» — «Лицо у него было холёное, потёртое и неприятное» — Корней Иванович уничтожающе начертал: «Таков Вл. Набоков».

... Между тем, в другом углу кабинета, на крышке книжного стеллажа, мирно стоит в коробке набоковский четырёхтомник. Это перевод «Евгения Онегина» на английский язык, вместе с комментарием великого англомана к пушкинскому роману.

С восхищёнными — в том числе — пометками Чуковского.

Ровно за пять лет до своей кончины Корней Иванович затеял, как он сам сообщал в одном из писем «писать о «Евгении Онегине» Набокова и о других «Онегиных». Он изучил гору источников, вступил с автором этого четырёхтомника в одностороннюю и весьма ехидную полемику, не забыв отметить, что комментатор обнаружил «благоговейное преклонение перед гением Пушкина и большую эрудицию по всем разнообразным вопросам, связанным с «Евгением Онегиным»».

А всего за неделю до смерти, уже из подмосковной кунцевской больницы, Корней Иванович сообщил о своей незавершённой работе академику М. П. Алексееву: «...фрагмент можно напечатать лишь при условии, что читателю будет объяснена литературная значительность В.В. Набокова. В этой объяснительной части, должны быть сделаны нейтральные ссылки на его романы «Пнин», «Приглашение на казнь», «Защита Лужина», «Лолита» и другие произведения, в частности, переводы Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Без этого моя статья не имеет права существовать».

В начале 1965-го, приступая к изучению набоковского труда, он писал другому своему корреспонденту: «Очень интересная работа. Я ведь помню Владимира Набокова — четырнадцатилетним мальчиком. Уже тогда он подавал большие надежды. Его комментарии очень колючие, желчные, но сколько в них свежести, таланта, ума!..».

И еще ранее, зимой 1961-го, Корней Иванович отмечал в дневнике: «Теперь читаю книгу Vladimir'a Nabokov'a "Pnin", великую книгу, во славу русского праведника, брошенного в американскую универси-



тетскую жизнь. Книга поэтичная, умная — о рассеянности, незрелости и забавности и душевном величии русского полупрофессора Тимофея Пнина. Книга насыщена сарказмом — и любовью».

Набоков и Чуковский. Тут есть о чём поговорить.

На одной из экскурсий я в просветительском азарте сказал однажды, что из русской и мировой литературы можно выбрать любое значимое имя, написать рядом с ним «... и Чуковский», — тут же появится тема для разговора.

Это действительно так. И перedelкинский дом Корнея Ивановича, та необыкновенная празднично-рабочая обстановка, которая сложилась ещё при жизни хозяина, все эти тысячи книг, картины, рисунки и фотографии на стенах, все эти бесконечные игрушки со всего света — сами собой подталкивают меня к десяткам таких разговоров. Чуковский и Лев Толстой. Чуковский и Блок. Чуковский и Чехов.

И — Солженицын. И Честертон, и Оскар Уайльд, и Доктор Сьюз. И даже Юрий Гагарин.

Клара Израилевна свидетельствовала, что на встрече Корнея Ивановича с первым космонавтом (их совместную фотографию Чуковский поставил у себя в кабинете), двадцатисемилетний Гагарин поцеловал у автора «Мойдодыра» руку.

... Помню, как-то были у меня на экскурсии продвинутые старшеклассники, и я им преподнес всё ту же нехитрую мысль — о соединении имён. Кто-то сказал: «Толкин?» Только я хотел заговорить об «оксфордском поколении», о многолетней любви Чуковского к английской эссеистике, как мой взгляд упал на решётчатую металлическую полку англоязычных книг, укреплённую на бывшей печке. Эта полка украшена одним из первых изданий «Властелина колец», а рядом и стоит «Хоббит», и книги не так давно ушедшего в иной мир Джона Р.Р.Толкина.

Итак, господа, «The Lord of The Rings».

После восхищенной паузы я насмешливо добавляю: «... И заметьте, что придите вы лет двадцать тому назад, присутствие этой книги в библиотеке Чуковского не произвело бы на вас ни малейшего впечатления. Фильма-то ещё не было».

Время движется быстро. Кажется, еще недавно перестроечные журналы и альманахи наперехват печатали выдержки из книг русского мыслителя Василия Розанова. Но вот уже подошло к завершению издание его фундаментального многотомника, вот уже не одна монография о нём выпущена в свет и обсуждена заинтересованным научно-критическим кругом, и ореол легендарности давно сменился рабочей читательской атмосферой.

А у меня в памяти середина 1980-х: Клара Израилевна бережно достает из шкафа затрёпанный томик «Опавших листьев» и читает с листа длинную дарственную надпись: «Nota Bene: Книги замечательных авторов и замечательные сами по себе критики должны покупать на собственные деньги. Что же это за любитель литературы (= критик), которому жаль на книгу и незатасканную мысль вынуть из кармана 2 р 50 к? «Да ты лучше не обедай, а купи стихов Лермонтова, песен Кольцова, Полежаева и Розанова». Вот, молодежь, (и Корней Иванович Чуковский), слушай, что говорит Василий Розанов 59 лет».

Я запомнил эти слова с Клариного голоса, потому что, будучи студентом, приезжал на её экскурсии чуть ли не каждую неделю, и сейчас воспроизвёл эту цитату по памяти.

Но потом все-таки проверил: совпало почти дословно.

Моя дорогая Клара Израилевна Лозовская, автор чудесных «Записок секретаря», семнадцатилетняя помощница Корнея Ивановича, умерла менее года тому назад, в далёкой Америке, куда Чуковский безуспешно мечтал поехать, куда его даже приглашали в начале 1960-х на конгресс по искусству перевода.

Вот об этой самой Америке (вспомним, что во многом именно благодаря К.Ч., мы знаем и любим О'Генри и Марка Твена) Корней Иванович и писал зимой 1963-го своей заокеанской корреспондентке, бывшей киевлянке Татьяне Фесенко.

Только я начну эту цитату всё-таки с перedelкинской темы.

«... Сегодня я совершил более печальную прогулку. Дело в том, что в Перedelкине есть чудесная старинная церковь, и при ней — на холме — кладбище. Там похоронена моя жена Мария Борисовна († 1955), там и моя будущая могила. Сейчас февральская (очень милая мне) вьюга, я пробрался туда пешком, постоял над могилой и поглядел вниз на чудесную заснеженную поляну, у края которой видны дачи друзей (писателей), и в том числе поэта, погребённого тут же, под тремя старыми соснами. А поляна называется «Неясная поляна». <...>»

Вы говорите о поездке в США. Она представляется мне очень нетрудной. Самолёт не утомляет меня. Если я не помру к лету и если подготовлю собрание своих сочинений для Гослита, я стану хлопотать о поездке в США, побываю в Кэмдене в доме Уитмена, побываю в Бостоне (Эмерсон и вся его группа), посмотрю памятники Фенимору Куперу, Гансу Андерсену, Линкольну и т. д., побываю в картинной галерее Вашингтона, о которой мне рассказывали чудеса. <...> «Фантастичні думи, фантастичні мрії» — но почему же не пофантазировать в разговоре с друзьями?»

Вы, конечно, обратили внимание на украинскую фразу? Судя по всему, это цитата из Ивана Франко.

*Якби я не дурень, що лиш в думках кисне,
Що співа і плаче, як біль серце тисне,*

*Що будуще бачить людське і народне,
А в сучаснім блудить, як дитя голодне,
Що із неба ловить зорі золоті,
Але до дівчини приступити не вміє, –
Ідеали бачить геть десь за горами,
А живеє щастя з рук пустив без тями
І тепер, запізно, плаче і дуріє –
Фантастичні думи! Фантастичні мрії!*

К Одессе, где прошло его детство и юность, незаконнорожденный Николай Корнейчуков, с 1920-х официально ставший Корнеем Чуковским, относился болезненно. А вот язык украинский – настоящий, «корінний» – обожал, страницами цитировал Тараса Шевченко, писал о нём проникновенные статьи ещё в начале века.

Упомянутый в письме поэт, погребённый под соснами – это Борис Пастернак.

«Неясная поляна» нынче застроена дорогими коттеджами. Писательских дач за ними почти не видно.

Словом «друг» Корней Иванович пользовался и осторожно, и безоглядно. Он любил это слово. Я сейчас вспомнил, что его дневник, большие фрагменты которого начали публиковаться в начале горбачёвской перестройки, а потом, с середины 1991-го стали издавать и двухтомником, – мне поначалу давала читать всё та же незабвенная Клара Израилевна. Запись, которую я сейчас приведу, была сделана девяносто лет тому назад, в новогоднюю полночь.

«1922 год был ужасный год для меня, год всевозможных банкротств, провалов, унижений, обид и болезней. Я чувствовал, что черствую, перестаю верить в жизнь, и что единственное мое спасение – труд. И как я работал! Чего я только не делал! С тоскою, почти со слезами писал “Мойдодыра”. Побитый – писал “Тараканище”. Переделал совершенно, в корень свои некрасовские книжки, а также “Футуристов”, “Уайльда”, “Уитмэна”. Основал “Современный Запад” (один из последних русских независимых журналов – П. К.) – сам своей рукой написал почти всю *Хронику* 1-го номера, доставал для него газеты, журналы – перевел “Королей и капусту”, перевел Синга, – о, сколько энергии, даром истраченной, без цели, без плана! И ни одного друга! Даже просто ни одного доброжелателя! Всюду когти, зубы, клыки, рога! И всё же я почему-то люблю 1922 год. Я привязался в этом году к Мурке (любимой дочери, умершей в 1931 году – П. К.), меня не так мучили бессонницы, я стал работать с большей лёгкостью – спасибо старому году! Сейчас, напр., я сижу один и встречаю Новый год с пером в руке, но не горюю: мне моё перо очень дорого – лампа, чернильница, – и сейчас на столе у меня моя милая “Энциклопедия Британника”, которую я так нежно люблю. Сколько знаний она мне дала, как она успокоительна и ласкова...».

Кто-то мне рассказывал, что однажды, проходя мимо «Британники», Чуковский ласково провел по её корешкам ладонью и вымолвил: «Мой верный, надёжный друг...»

Энциклопедия и сейчас стоит на стеллаже между двумя кабинетами, только позолота с её корешков облезла, а обложки утратили прежний нарядно-зелёный вид.

Когда Корней Ивановича не стало, и Лидия Корнеевна Чуковская сохранила его переделкинские комнаты в том виде, в каком он их оставил; когда в самодеятельный музей потоком пошли посетители, – преданные его памяти и его делу обитатели дома продолжили своё привычное дело. Но уже без него.

Литературовед и архивист Владимир Глоцер, автор чудесной книги «Дети пишут стихи» (1964), – много лет помогавший Корнею Ивановичу в его литературной работе, поддерживал традицию костров: приглашал писателей и артистов, собирал на праздники ребятишек. Нынешний заведующий музеем, многолетний хранитель дома Чуковского Сергей Агапов недавно рассказывал, что костры были приостановлены в середине 1970-х, когда Лидию Корнеевну исключили из Союза советских писателей. На одном из праздников она поднялась на привычную лесную сцену-эстраду, чтобы поприветствовать собравшихся, подошла к микрофону... и «люди в штатском» просто вырубил звук.

Четверть века дом Чуковского боролся за право существовать, бывал и под судом, и под следствием. Он чуть не погиб, но – всё-таки выжил, несмотря на все усилия специфических организаций, надзирающих за жизнью людей.

Он выжил, иногда думаю я, благодаря энергии любви, содержащейся в сказках Чуковского. Благодаря их героям и их читателям.

Да Корней Иванович, он и сам писал по другому поводу: «Мы знаем, так бывает всегда. Слово поэта всегда сильнее всех полинейских насильников. Его не спрячешь, не растопчешь, не убьёшь. Это я знаю по себе... В книжке «От двух до пяти» я только изображаю дело так, будто на мои сказки нападали отдельные педологи. Нет, на них ополчилось все государство... Боролись с «чуковщиной» – и были разбиты наголову. Чем? Одеялом, которое убежало, и чудо-деревом, на котором растут башмаки».



Клара Лозовская приезжала в его дом, как и в прежние времена. Она водила экскурсии, помогала разбирать архив, участвовала в подготовке первых посмертных изданий Корнея Ивановича.

Летом 1968-го, то есть за год до своей кончины, Чуковский записал в дневнике: «Очень помогает Владимир Осипович – идеальный секретарь – поразительный человек, всегда служащий чужим интересам и притом вполне бескорыстно. Вообще, два самых бескорыстных человека в моём нынешнем быту – Клара и Глоцер. Но Клара немножко себе на уме – в хорошем смысле этого слова – а он бескорыстен самоотверженно и простодушно. И оба они – евреи, т. е. люди наиболее предрасположенные к бескорыстию. (См. у Чехова Соломон в «Степи»). Самые бескорыстные люди, каких я знал в своей жизни: Моник Фельдман (владелец книжной лавки, даривший книги неимущим покупателям), студент Рейтер, в Лондоне мистер Бахман и – Таня Литвинова. Все до одного евреи».

Фотопортрет Татьяны Максимовны Литвиновой Корней Иванович повесил слева от своего стола. Над этой фотографией – портрет Велимира Хлебникова, рисунок великого художника Серебряного века Бориса Григорьева, сделанный в куоккальском кабинете Чуковского. Если присмотреться, то в глубине комнаты виднеется и профиль молодого Корнея Ивановича.

Эмигранта Григорьева скрывали от русского зрителя десятки лет. Совсем недавно в Москве и Питере прошли его очередные триумфальные выставки. Четыре рисунка из переделкинского дома побывали на них. На экскурсиях мы подробно рассказываем об этих рисунках.

... Иногда посетители спрашивают, а кто эта женщина с печальным лицом, чья фотография висит под Хлебниковым. Я говорю, что это Татьяна Максимовна Литвинова – художник, переводчик, знаток английской литературы, близкий друг Корнея Ивановича... Что ей посвящено немало строк в его дневниках. Говорю-говорю, и думаю, что ведь в это самое время она, разменявшая девятый десяток лет, наверное, сидит сейчас в своём полуродном Лондоне и, возможно, читает какую-то книгу. Например, перечитывает любимого Диккенса. А почему нет?

В начале так называемых «нулевых» годов в музей пришла женщина. Не помню сейчас, была ли она в тот день одна, или с друзьями. Проходя в прихожей мимо довольно известной фотографии, на которой Корней Иванович разговаривает с маленькой девочкой, симпатичная посетительница средних лет неожиданно сказала: «Очень приятно видеть здесь своё детство. Это – я».

«Как?! Вы – Надя Шаманина?» (На обороте фотографии было написано имя девочки)

«Да... Надя. Надежда Николаевна. Я ведь жила в Переделкине. Нас в тот день долго фотографировали. Какое счастье, что был Корней Иванович».

Я немедленно побежал за своим фотоаппаратом.

Павел Крючков,
*литературный критик,
сотрудник отдела поэзии журнала «Новый мир»,
сотрудник Музея К.И. Чуковского в Переделкино*

АННА БОЖКО

ОДЕССИТ И ПЕТЕРБУРЖЕЦ (О пребывании Корнея Чуковского в Одессе)

Многие одесситы знают, благодаря повести «Серебряный герб» (первоначальное название «Гимназия»), что К.И. Чуковский свои детство и юность провёл в нашем городе, но далеко не каждый знает, что родился он вовсе не в Одессе, а в Северной Пальмире – Санкт-Петербурге.

Рождённого 19 марта 1882 г. младенца Николая Корнейчукова крестили во Владимирской церкви Санкт-Петербурга. Мать новорожденного – девица Екатерина Осиповна Корнейчукова принадлежала к крестьянскому сословию. К этому времени у девицы Корнейчуковой уже имелась трёхлетняя дочь Мария. Отца у обоих детей, по документам, не было. Отчество «Васильевич» Николай получил по имени свершившего крещение батюшки. В Петербурге мать с детьми жила до тех пор, пока Коле не исполнилось три года, а затем уехала с ними в Одессу. Отцом детей был студент Эммануил Соломонович Левенсон, в семье которого полтавская крестьянка Екатерина Корнейчукова работала одно время горничной.

Вот полная версия семейной истории в изложении Корнея Чуковского, записанная литературоведом Ольгой Грудцовой:

«Отец кажется инженер. Я отца не знал. Отец очень любил мать, хотя она была полуграмотная, прачка. Он вывез её в Петербург, они жили внебрачно. У них родилась дочь, моя старшая сестра Маруся. Я был маленький, когда отец разошёлся с матерью. Он женился на женщине своего круга, но, как видно, продолжал любить мою мать. Она переехала с детьми в Одессу. Он много раз посылал ей деньги, но она была гордая и отсылала их обратно. В доме хранилась пачка писем отца к матери. Он посылал ей розы в письмах. . . Мне очень жаль, что эти письма не сохранились».

Одесский краевед Наталья Панасенко обнаружила в городских архивах, что Эммануил Левенсон 1851 г.р. был потомственным почётным гражданином Одессы. Некоторое время он жил в Петербурге, в это же время там жила и Екатерина Осиповна с детьми. В дневниках К. Чуковского упоминается, что мама подарила ему своё обручальное кольцо, которое носила сорок пять лет. Возможно, что родители Корнея Ивановича были обручены, но не венчались?

В 1885 г. Эммануил Левенсон бросает свою гражданскую жену с детьми, и она вынуждена вернуться из северной столицы на тёплый юг, в Одессу. Вероятно всё же, что те деньги, которые присылал отец, не всегда отвергались: впоследствии и Маруся и Коля были отданы матерью в учебные заведения. Дочь — в Епархиальное училище, сын — во Вторую прогимназию, которая затем стала Пятой гимназией (восьми-классной). И всё же из-за постоянной нужды Екатерина Осиповна вынуждена была работать прачкой, чтобы хоть как-то прокормить себя и двоих детей.

Нужно сказать, что тот факт, что мальчик был незаконнорожденным, очень болезненно отразился на его психике. Он всю жизнь ощущал себя в какой-то мере ущербным и неполноценным, избегал распросов об отце. Просил называть себя «просто Коля», а не по отчеству, которое у него постоянно менялось: «Васильевич», иногда «Эммануилович», а затем «Иванович».

Поселилась семья во флигеле, в доме Макри на Новорыбной (Пантелеймоновской) улице № 6. Так описывал свою квартиру Чуковский в автобиографической повести «Серебряный герб»: «Комната была небольшая, но очень нарядная, в ней было много занавесок, цветов, полотенец, расшитых узорами, и всё это сверкало чистотой, так как чистоту моя мама любила до страсти и отдавала ей всю свою украинскую душу». Впоследствии, в 1897 г. семья переехала по адресу: Канатный переулок № 3 (дом Брашмана).

Екатерина Осиповна преклонялась перед умом и образованностью, стыдилась своей украинской речи, считая её малограмотной, и мечтала о том, чтобы дать детям образование. Ещё до гимназии, когда маленькому Коле было пять-шесть лет, мама нашла средства, чтобы поместить его в детский сад мадам Бухтеевой (её объявления можно было найти в «Одесских новостях»).

«Мы маршировали под музыку, рисовали картинки. Самый старшим среди нас был курчавый, с негритянскими губами мальчишка, которого звали Володя Жаботинский. Вот когда я познакомился с будущим национальным героем Израиля — в 1888 или 1889 годах!!!», — писал Корней Иванович в своем «Дневнике».

Вторая одесская прогимназия помещалась на ул. Пушкинской № 18. Десятилетний Коля Корнейчуков поступил сюда осенью 1892 г. (затем, когда она становится Пятой гимназией, то переезжает по адресу: Ново-Рыбная № 13). С гимназией у Коли связано было очень многое, и всё это великолепно описано в «Серебряном гербе». Достаточно упомянуть хотя бы только то, что в своё время Николай Корнейчуков учился в одном классе с будущим писателем Борисом Житковым: «С Борисом Житковым я познакомился в детстве. . . Мы были однолетки. . . Он учил меня всему: гальванопластике, французскому языку. . . , завязыванию морских узлов, распознаванию насекомых и птиц, предсказанию погоды, плаванию, ловле тарантулов. . .

. . . Ранней весной он стал учить меня гребле не в порту, а на Ланжероне, близ пустынного берега. . . В то время он часто жаловался, что ему не хватает воску для ловли тарантулов. Как я соображаю теперь, воск был нужен ему главным образом для изготовления «ектографов»; чтобы пополнить его скудные запасы, мы оба без особого труда похищали огарки во всех окрестных церквях и часовнях, главным образом в Афонском и Ильинском подворье, тут же на Пушкинской улице. К тому времени я стал бывать у него в доме и познакомился со всей его семьей».

Нужно сказать, что Николай рано стал литератором. Именно ему пришла в голову мысль издавать гимназический рукописный журнал. По воспоминаниям литературоведа Л. Когана, современника Чуковского, в журнале принимал участие ещё один прирождённый литератор, одноклассник Корнейчукова, впоследствии фельетонист «Одесских новостей» под псевдонимом Альталена (Владимир Жаботинский). «Журнал был явно оппозиционным и. . . попал в руки директора. Юнгмейстер расвирилел. . .

Прошло две недели, и вот снова появился новый номер журнала. . . На большой перемене к директору подошли оба издателя и вручили ему один экземпляр. . . Юнгмейстер больше не распекал издателей, а созвал педагогический совет, который и исключил из гимназии обоих издателей».

Но одесский краевед Наталья Панасенко утверждает, что в воспоминания Когана закралась неточность, и Чуковский с Жаботинским учиться в одном классе никак не могли, хотя Владимир и учился в Пятой гимназии несколько лет. Общеизвестно также, что Жаботинский оставил гимназию по собственной воле, уехав как корреспондент «Одесского листка» сначала в Берн, а потом в Рим. Как бы то ни было, но из гимназии Корнейчуков был исключен, и существовала ещё одна версия его исключения: в то время существовал указ о «кухаркиных детях», то есть об освобождении гимназий от детей из низших сословий.

Николай после исключения хватается за любое занятие, лишь бы найти себе заработок: «Меня выгнали из гимназии, я живу чем попало: то помогаю рыбакам чинить сети, наживляю перемёты, то клею на



перекрёстках афиши о предстоящих гуляньях и фейерверках, то, обмотав мешковиной свои голые ноги, ползаю по крышам одесских домов, раскалённым безжалостным солнцем, и счищаю с этих крыш особым шпателем старую, заскорузлую краску, чтобы маляры могли покрасить их заново» (К. Чуковский «Серебряный герб»).

В то же время, тайно от всех, он считает себя великим философом. Прочитав два десятка разнокалиберных книг – Шопенгауэра, Михайловского, Достоевского, Ницше, Дарвина, – он сочинил из этой мешанины свою собственную теорию о самоцели в природе и считал себя выше чуть ли не всех философов. Каждую свободную минуту он бежал в библиотеку и читал запоем без всякого разбора и порядка и Куно Фишера, и Лескова, и Спенсера, и Чехова.

В 1898 г. в жизни Коли случилось большое событие, которое определило всю его дальнейшую жизнь. Совершенно случайно он купил на рынке «Самоучитель английского языка» Олендорфа. Самоучитель был растрёпанный, с чернильными и сальными пятнами. И всё же, не дойдя ещё до дома, Коля получил первые драгоценные сведения, что ink – это чернила, а dog – это собака, а spoon – ложка. И вскоре так увлекся английским, что целый год не расставался со своей изодранной книгой. Даже на крыше, во время работы, Коля Корнейчуков писал: «I look», «My book», «I look at my book». Благодаря нескладному самоучителю, который избобиловал фразами такого рода: «Есть ли у вас одноглазая тетка, которая покупает у пекаря канареек и буйволов?», «Любит ли двухлетний сын садовника внучку своей маленькой дочери?», Корней Чуковский прочитал в своей жизни тысячи английских книг. Также открыл он для себя и потрясающую поэзию Уолта Уитмена, и в семнадцать лет стал её переводить. В то время в Одессе он жил своей собственной жизнью, вдаль от семьи, стараясь существовать на свои собственные заработки.

Его философией заинтересовался один из его школьных товарищей (Владимир Жаботинский). Он был так добр, что пришёл к Николаю на чердак (в то время Корнейчуков жил на чердаке), и ему первому Коля прочитал несколько глав из своей сумасшедшей книги, написанной полудетским почерком. После того, как Владимир прослушал одну из глав, он сказал: «А знаешь ли ты, что вот эту главу можно было бы напечатать в газете?» (глава эта была о современном искусстве, и называлась так: «К вечно юному вопросу»). Жаботинский сам отнёс главу в редакцию «Одесских новостей» главному редактору Хейфецу.

Через какое-то время глава была напечатана. Редакция в примечании назвала автора «молодым журналистом, мнение которого парадоксально, но интересно». За статью Николай получил гонорар – целых семь рублей, и он смог наконец купить себе на толкучке новые брюки. Подписана была статья псевдонимом – Корней Чуковский, который со временем полностью заменил подлинное имя и фамилию писателя. Так началась его работа в газете: «Я писал в этой газете о чём придётся, главным образом о картинах, потому что выставки картин бывали часто – и передвижная, и выставка южнорусских художников. Я писал о книгах, о картинах, и, кроме того, в редакции я считался единственным человеком, который понимал английские газеты, приходившие туда. И я делал из них переводы для напечатания в нашей газете и сразу зажил можно сказать миллионером, потому что в общем я уже получал в месяц рублей 25 или даже 30» (К. Чуковский «Как я стал писателем»).

Иногда газета предлагала своему молодому сотруднику интервьюировать писателей, художников, артистов, и он таким образом перезнакомился не только с коренными одесситами, но и с литераторами, приезжавшими из Москвы и Петербурга: Л. Карменом, А. Федоровым, И. Бунным, А. Польшким, С. Городецким, М. Пустыниным, А. Куприным. Он стал участником одесского Литературно-художественного кружка, читал там доклады: «К толкам об индивидуализме», «О критике», «Нужен ли народный театр» и др. Зарабатывал Николай уроками, газетными корреспонденциями, святочными рассказами, безыменными предисловиями и рецензиями. . . Писал даже гимназические сочинения по три рубля за штуку на любую тему. И настойчиво продолжал изучать английский язык.

В эти годы Колю Корнейчукова посещает и первая большая любовь. В дневнике за 1901 г. есть запись: «Может быть мне надо кончать гимназию» – почти сразу же за размышлениями о женитьбе: он был давно и серьёзно влюблён в «девушку со смелыми и живыми глазами» – Марию Гольдфельд. В марте 1901 г. он говорит всем, что едет в Аккерман держать экзамен. На самом деле, – похоже, он собирается уезжать, причем вместе с любимой. «Уедем, Коля, отсюда», – говорила она ему.

Маша жила на той же Ново-Рыбной, через два дома от того, в котором провёл своё детство Николай. «Мы здесь бушевали когда-то любовью» – записал К. Чуковский в своем «Дневнике». Девушка была весёлая и решительная; Коля замечал в ней и чрезвычайно ценил некое «босячество» – готовность идти, куда глаза глядят, совершать отчаянные поступки, не обращая внимания на одобрение или неодобрение окружающих.

Семейство Маши было самое что ни на есть мещанское, где «дряхлое пианино, изрыгающее из своего нутра бесконечные гаммы. . . а вечером улыбающееся гостям старческой беззубой улыбкой». Семейство наверняка не желало выдавать дочь за такого кандидата: незаконнорожденный, иного вероисповедания, без профессии, без образования, без денег. Но Николай и Маша лелеяли мысль о бегстве и об иной жизни – деятельной и разумной. Они то ссорятся, то мирятся, ходят друг к другу, бесконечно много читают вместе – от Шестова до Неведомского, от Маркса до Михайловского, слушают доклады в Литературно-артистическом обществе. В конце концов Маша прибежала к жениху в одном платье, крестилась, и через два дня, 26 мая 1903 г. молодые обвенчались в одесской Крестовоздвиженской церкви.

В мае 1903 г. «Одесским новостям» понадобился собственный корреспондент в Лондоне. Чуковский в то время был единственным сотрудником газеты, который владел английским, кроме Жаботинского,

который его и порекомендовал. Коля и Маша потому и обвенчались перед поездкой, чтобы не расставаться на неопределённый срок, а ехать вместе. Газета обещала сто рублей ежемесячно. Молодожены выехали в Лондон поездом в первой половине июня, весёлые, счастливые, с огромной корзиной, в которой среди прочего необходимого лежали и два увесистых российских утюга.

Из Лондона в Одессу Чуковский посылал корреспонденции, которые печатались в «Одесских новостях» почти каждую неделю: «С конгресса Армии спасения», «О спиритизме», «О радиин», «Об английском театре», «Англичане и Чехов» и мн. др. Статьи его также публиковались в «Южном обозрении» и в некоторых киевских газетах.

Он продолжает совершенствоваться в английском языке, читает Диккенса, Ренана, Теккерея, переводит Браунинга, Суинберна, Россетти, изучает философию и политэкономии, зарабатывает перепиской каталогов в Британском музее. Гонорары из России поступают нерегулярно, а затем и вовсе прекращаются. Беременную жену пришлось отправить к свекрови в Одессу, чтобы избавить её от нищеты и голода на чужбине.

Потом Чуковский вспоминал: «Жил я в комнате с камином, который я конечно же не топил, т.к. у меня угля не было, но сажа валила при малейшем ветерке ужасная. Я сражался с нею, руки у меня всегда были чёрные, как у трубочиста. В той комнате, в которой я поселился, раньше жил вор. Этот вор заказал себе на целый месяц вперед доставку хлеба и молока. И вот, бывало, когда постучит молочник – “Milk!” – крикнет он совсем как у нас: “Молоко!”», – и я бегу вниз быстрыми ногами, потому что соседи ринутся за этим молоком, хватаю это молоко (оно было в таком ведерке маленьком) да ещё хватаю булку и съедаю её – это на весь день, и вот шатаюсь по Лондону, предлагая свои «услуги в разных предприятиях» (К.И. Чуковский «Как я стал писателем»). «Девочка, я безумно одинок, вокруг меня свиные морды какие-то», – пишет он в то время жене.

К концу лета 1904 г. положение корреспондента «Одесских новостей» в Лондоне становится совершенно невыносимым, и Чуковский возвращается в Одессу, где его ждут мать, жена и трёхмесячный сын Николай (в то время семья жила уже на улице Базарной № 2). Снова – жизнь в Одессе, снова – фельетоны в «Одесских новостях», еженедельные «Заметки читателя», снова переводы, рецензии, статьи об Уитмене, стихотворение «Одинокая ласточка» и роман в стихах «Нынешний Евгений Онегин» в четырёх песнях, об одесской жизни тех лет.

Он пишет в своём «Онегине» об одном из героев, явно имея ввиду самого себя:

*«Он к одиночеству стремился,
И в 19 лет женился!
И стал, как горьковский Сокол
Свободен, смел, могуч и гол.
Стремясь к мистическим высотам,
Поклонник Канта и поэт –
Всё вдохновенье юных лет
Он меркантильным отдал счётам».*

В 1905 г. Чуковский становится свидетелем восстания на броненосце «Потёмкин». Он дважды побывал на восставшем броненосце, принял письма у восставших моряков к близким. Все события на восставшем броненосце Чуковский описал в очерке «1905 г., июнь». Эти дни произвели на Корнея Чуковского такое впечатление, что, уехав из Одессы в Петербург, он начал издавать там сатирический журнал «Сигнал». После четвертого номера Чуковский был посажен в тюрьму и отдан под суд. И только благодаря защите знаменитого адвоката Грузенберга, который вёл все судебные дела литераторов, защищал Горького и Короленко, Чуковский был оправдан и спасён от Петропавловской крепости.

В Петербурге начался совсем другой этап жизни молодого литератора. Он всю жизнь считал себя петербуржцем, поскольку там родился. Он не всегда лояльно отзывался об Одессе в своих письмах. И всё же Одесса оставила заметный след в жизни и творчестве Корнея Чуковского.

Анна Божко,

ведущий научный сотрудник Одесского литературного музея

ЕВГЕНИЯ САМОЙЛОВА

СТИХИ НА КРЫШЕ очерк

Имя Корнея Чуковского слабо вяжется с определением «одессит». Ни характерного местного колорита, ни воспевания Одессы с её дворами, Привозом, Молдаванкой и портом, ни ностальгии по юности и детству, проведённым в Южной Пальмире, в их ярком выражении мы не находим ни в художественной



прозе, ни в дневниках писателя. Вот одно из описаний одесского дворика из автобиографической повести «Серебряный герб»: «Вот и его двор — очень длинный и узкий, сверху донизу набитый жильцами. Таких дворов немало в нашем городе. Все их жильцы копошатся не в комнатах, а тут же во дворе, у своих керосинок, корыт и кастрюль: тут они жарят скумбрию на подсолнечном масле, тут же, не отходя от порога, выливают грязные помои; тут же ссорятся, ругаются, мирятся — и непрерывно весь день с утра до вечера кричат на бесчисленных своих малышей, которые тоже кричат, словно дикие. Когда, бывало, ни войдёшь в этот двор, кажется, что там произошла катастрофа — обрушился дом, или кого-нибудь режут, — между тем это обыкновеннейший двор, до краёв заселённый южанами, которые просто не способны молчать». Взгляд, скорее, жителя столицы, чем одессита. Копошадися жильцы, крикливые южане, «дикие» дети, вся атмосфера окраинных кварталов и одесских доходных домов, в одном из которых провёл детство Коля Корнейчуков («Вот и дом Макри, вот и наша помойная яма, прикрытая железным листом», — говорит герой повести «Серебряный герб», приближаясь к дому, в котором живёт), чужда и враждебна умному, способному, талантливому мальчику. Оскорбления, притеснения, чувство вины и «позора» за свою незаконнорожденность, страх быть исключённым из гимназии наложились в сознании мальчика на нелёгкий быт семьи Корнейчуковых. С одной стороны — исключение из гимназии из-за происхождения и низкого социального статуса, которое заставило мальчика работать, с другой стороны — борьба с самим собой, с желанием забросить самообразование, приносящую небольшие деньги работу, огрубление нежной, восприимчивой души, которое привело к разрыву с семьёй, к самостоятельной полуголодной жизни. Сильный характер, умение переломить себя не позволили будущему писателю «пойти в босяки и стигнуть в морозную ночь под эстакадой в порту». Но постоянная боязнь такой судьбы, наверняка, осталась в подсознании Коли Корнейчукова, навсегда увязавшись с Одессой.

В нашем городе достаточно мест, связанных с именем Корнея Чуковского. В Одесском Литературном музее — экспозиция, посвящённая писателю. Одна из улиц — правда, в частном секторе, на десяток домов — названа его именем. Есть и мемориальная доска — на доме № 14 по Пантелеймоновской улице. Хотя «ни одного внятного подтверждения этого адреса нет», как отмечает Н. Панасенко в исследовании «Чуковский в Одессе». Вполне возможно, что это один из адресов отца Корнея Чуковского, Эммануила Соломоновича Левенсона, но не в Одессе, а в Санкт-Петербурге, взятый краеведами на вооружение из обнаруженного в Государственном архиве Одесской области свидетельства на проживание (паспорта), выданного Э.С. Левенсону «Запись «Пантелеймоновская д. № 14» была сделана в Петербурге в 80-х годах (1880-х — Е.С.). И тут возможны два варианта: или это дьявольское совпадение, или здесь исток заблуждения, объяснение, почему в Одессе мемориальная доска появилась там, где она сейчас висит», — отмечает исследователь. Или, спросим мы, мистический факт, в котором проявилось нежелание Чуковского отождествлять себя с провинциальной Одессой своего детства? «Путаница»? Шутка с того света... К этому можно добавить, что оба дома, в которых квартировала семья Корнейчуковых — дом Макри по Новорыбной (ныне Пантелеймоновской), 6 и дом Баршмана в Канатном переулке, 3 — не сохранились, словно всё, связанное с нелёгким детством писателя, должно было так или иначе невосстановимо кануть в небытие. Даже дом по улице Еврейской, 22, — в нём находился детский сад мадам Бухтеевой, который посещал пятилетний Коля Корнейчуков, — исчез с карты города. Зато здания, в которых блистал с докладами об искусстве молодой Чуковский, стоят до сих пор — главный корпус университета на Дворянской № 2, Клуб литературно-артистического общества (ныне здание Одесского литературного музея) на Ланжероновской № 2, зал «Унион» на Троицкой № 43.

Но необходимо помнить и то, что именно в Одессе, выковывался железный характер будущего писателя, именно здесь он выработал привычку к писательскому труду, открыл для себя мир литературы. Здесь, в Одессе, на заднем дворе дома Макри, маленький Коля с товарищем забирался в «каламашку» — похожий на корыто полукруглый ящик для вывоза снега и мусора, — в которой они часами рассказывали друг другу «истории о следопытах, людоедах, ковбоях, огнедышащих горах и африканских миражах», частично почёрпнутых ими из журнала «Вокруг света». Может быть, небылицы в «каламашке» стали первыми сказками Корнея Ивановича? Работая шпательщиком после исключения из гимназии, на крышах, которые Коля должен был очищать от ржавчины и старой краски, он писал английские слова, а потом «шагал над этими тарабарскими строчками, пытаясь затвердить их наизусть», декламировал стихи Эдгара По. «Однажды, когда я был в порту, меня поманил к себе пальцем незнакомый матрос и сунул мне в руки толстенную книгу... Вечером, после работы, я ушёл на волнорез к маяку и увидел, что это книга стихов, написанная неким Уолтом Уитменом... Я был потрясён новизной его восприятия мира... Я стал переводить Уолта Уитмена...», — вспоминает Чуковский в очерке «Как я стал писателем». Переводы Уитмена принесли ему первую славу в литературных кругах.

Высокий, сутулый, нескладный мальчишка с раскрытым растрёпанным томом стихов у маяка на молу, далеко выдающемся в Чёрное море — наверное, лучший памятник маленькому Чуковскому, будущему «лучшему критику Серебряного века», первому в России исследователю «массовой культуры», будущему доктору литературы Оксфордского университета, переводчику и сказочнику, который навсегда вошёл в русскую литературу и мировое литературоведение. Памятник, который никогда не поставят в Одессе...

НАДЕЖДА АГАФОНОВА

СКАЗКА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ – НАМЁК... (критические заметки)

Табу на определённые литературные произведения существовало во все времена. Книги изымали, запрещали, жгли, не допускали к печати. Глядя на забитые до отказа полки книжных магазинов, сегодня трудно представить, что ещё каких-то полвека назад сотни книг находились под пристальным вниманием цензоров и часто были недоступны рядовому читателю. Ещё сложнее вообразить, что жесточайшей цензуре подвергалась детская литература.

Ни в царской, ни в советской России свобода печати книг, в том числе и сказок, не приветствовалась. Так, вышедший в 1832 году (время царствования Николая I) «Пяток первый» собрания сказок В.И. Даля был немедленно конфискован за «насмешки над правительством». А в 1855 году было запрещено печатать очередное издание известной сказки Петра Павловича Ершова «Конёк-горбунок».

За шесть лет до этого цензоры постановили: в книгах, «назначаемых для чтения простого народа», не должно было быть «не только никакого неблагоприятного, но даже и неосторожного прикосновения к православной церкви и установлениям её, к правительству и ко всем поставленным от него властям и законам». Неуклонно следуя этому принципу, цензурный комитет посчитал оскорбительным употребление крестного знамения и упоминания имя Божьего во многих шуточных сценах «Конька». Сказку не напечатали, невзирая на то, что немногим раньше, в 1834 году, первая часть и несколько стихов из второй части сказки были опубликованы, а летом того же года увидело свет полное отдельное издание «Конька-Горбунка».

Нешуточная дискуссия развернулась в 1897 году вокруг пушкинской «Сказки о царе Салтане». Члены Учёного комитета Министерства народного просвещения всерьёз обеспокоились возможностью попадания сказки в народные читальни. Чопорные цензоры сочли недопустимым чтение детьми таких опасных строк:

*«А потом честные гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних».*

Судьбу сказки решило голосование членов Учёного комитета. На заседании Особого отдела с перевесом в один голос победили защитники Пушкина, и сказка без изъятия указанных строк была разрешена – правда, только в сельских школах. Объяснялось это тем, что ученикам в сельской местности, «растущим в иных условиях, слова эти представляются совершенно естественными и не вызовут в воображении никаких картин, от которых их следует оберегать».

Цензура, учреждённая царским правительством, ослабела лишь в начале двадцатого века, но, как писал Владимир Набоков, «удивительным и ужаснейшим образом воскресла при Советах». Сказку как литературный жанр объявили одним «из самых сильных орудий социального восстания». Для борьбы с ней в начале 20-х гг. была подготовлена благодатная идеолого-пропагандистская почва. Именно тогда в свет вышли печально известные трактаты Э.Яновской – «Сказка как фактор классового воспитания» и «Нужна ли сказка пролетарскому ребёнку?». Руководители «Харьковской педагогической школы» выпустили сборник статей «Мы против сказки», во всех красках описывающий вред сказочной фантазии для будущих строителей коммунизма. Таким образом, лозунги «Кто за сказку – тот против современной педагогики» и «Долой всякую сказку» начали активно воплощаться в жизнь.

Списки антисоветской литературы составляла сама Н. Крупская, занимавшая должность председателя Главполитпросвета при Наркомпросе. Перечень запрещённых авторов, среди которых оказались даже Платон и Декарт, вновь пополнился П.П.Ершовым. На этот раз его сказка была признана антипролетарской и даже в некоторой степени... порнографической!

Вот как с классовых позиций рассматривал содержание «Конька-горбунка» Лев Жмудский, политредактор ГИЗа: «Фабула – православный (это всюду автором подчёркивается) Иван-дурак наперекор своим умным собратьям становится царём – нельзя лучше сатира на дореволюционную Россию. Но беда в том, что услужливый автор, как националист – ненавистник «басурман» и мечтающий о «святом кресте даже на Луне» (конечно, в области сказочных достижений), глубоко верует в звезду Ивана-дурака. Не в пример сказкам Пушкина, сказка Ершова – лишь лубочная карикатура на них. По части воспитательной для детей в ней всё от реакционного и непедагогического, – здесь всё по царю мерится и по боярам. Восхваляется «Царь-надежа», которого, конечно, народ встречает восторженным «ура». На с.42 – даже порнография – царь, «старый хрен», жениться хочет: «Вишь, что старый хрен затеял: хочет жать там, где не сеял! Полно! Лаком больно стал!» На основании вышеизложенного считаю «Конёк-горбунок» к выпуску весьма нежелательным, если не недопустимым». Становится понятно, что после такого заключе-



ния об издании Ершова не могло быть и речи.

Говоря о «достижениях» коммунистической цензуры, нельзя не упомянуть и баталлии вокруг «Курочки Рябь». Казалось бы, что может быть безобиднее этой сказки для самых маленьких? Однако между Главным управлением по социальному воспитанию (Главсоцвос) и Государственным учёным советом (ГУС) возник серьёзный спор по поводу оценки «Курочки Рябь». Деткомиссия при ГУСе была решительно против издания сказки, сочтя её буржуазной. Другая же комиссия – при Главсоцвосо, напротив, включила её в список литературы, одобренной по темам ГУСа. Аналогичная дискуссия разгорелась и вокруг сказки «Белочка». Но были ли в итоге запрещены оба произведения – точно неизвестно.

С каждым годом маховик цензуры стремительно набирал обороты. 12 июля 1923 года Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит) направило в соответствующие инстанции циркуляр, согласно которому были запрещены произведения с чуждой и враждебной пролетариату идеологией, в том числе детские с элементами буржуазной морали, с восхвалением старых бытовых условий и т.п. В СССР развернулась масштабная антисказочная кампания, направленная на искоренение всего, что не способствовало коммунистическому воспитанию подрастающего поколения. Апофеозом деятельности цензоров и гонителей сказок стала борьба с произведениями патриарха детской литературы – Корнея Чуковского.

В середине 20-х годов к борьбе с «чуковщиной» призывало уже целое войско цензоров, журналистов, учителей, воспитателей, литературных критиков и даже родителей, чьи возмущённые обличительные письма охотно печатали ведущие газеты страны.

«Среди моих сказок не было ни одной, которой не запрещала бы в те давние годы та или иная инстанция, пекущаяся о литературном просвещении детей», – рассказывает Чуковский в книге «От двух до пяти».

Сказка «Мойдодыр», например, была осуждена Главсоцвосом за то, что в ней Чуковский якобы оскорбил... трубочистов. Как пишет сам Корней Иванович, «с этим приговором вполне согласилась обширная группа тогдашних писателей, в числе двадцати девяти (!) человек, которая так и заявила в “Литературной газете” в “Открытом письме М.Горькому”: «Нельзя давать детям заучивать наизусть:

*А нечистым трубочистам
Стыд и срам, стыд и срам! –*

и в то же время внедрять в их сознание, что работа трубочиста так же важна и почётна, как и всякая другая». Кроме того, один из журналов, активно включившийся в борьбу с «чуковщиной», подчёркивал вредность «Мойдодыра», так как он «развивает суеверие и страхи».

«Крокодила» же вообще осудили по всей строгости. Один из авторов сборника «Сказка и ребёнок» З.К. Столица утверждал, что «несомненно, поэма эта антипедагогична». В газетах и на собраниях объявили, будто бы автор изобразил в сказке мятеж генерала Корнилова, хотя она была написана годом раньше, чем был поднят мятеж.

Запрещение «Крокодила» вызвало протест ленинградских писателей и учёных, написавших письмо в педагогическую Комиссию ГУСа. Разрешение «издать книгу небольшим тиражом» было получено, но через несколько месяцев взято назад, несмотря на вмешательство Горького. Люди, подписавшие протест, были названы «группой Чуковского».

Переизданию сказки в начале 1928 года предшествовала цензурная эпопея «Крокодила», которую Чуковский восстановил в своём дневнике: «Задержан в Москве Гублитом и передан в ГУС <Государственный Учёный Совет при Наркомпросе> – в августе 1926 года.

Разрешён к печати Ленинградским Гублитом 30 октября 1927 г., после 4-месячной волокиты. Но разрешение не подействовало, и до 15 декабря 1927 г. книжку рассматривал ГУС.

Я была Кр<упской>. Она сказала, что я вёл себя нагло. 15 декабря разрешили – но “в последний раз” – и только 5000 экземпляров. 21 декабря Главлит, невзирая на ГУС, окончательно запретил “Крокодила”. 23 декабря оказалось, что не запретил окончательно, но запретил “КРУГУ”. Отказано. Тогда же – в “Молодую гвардию”, не купит ли она <...>

27.XII. в шесть час. вечера на комиссии ГУСа разрешено 10000 экз. “Крокодила”.

Последнюю, «свинцовую» точку-пулю в дискуссии о сказках Чуковского поставила вдова покойного вождя, в феврале 1928 года. В статье «О «Крокодиле» К. Чуковского», напечатанной в газете «Правда», Н.К. Крупская менторски вопрошает: «Что вся эта чепуха обозначает? Какой политический смысл имеет? Какой-то явно имеет. Но он так заботливо замаскирован, что угадать его довольно трудно. Или это простой набор слов? Однако набор слов не столь уж невинный. Герой, дарующий свободу народу, чтобы выкупить Лялю, это такой буржуазный мазок, который бесследно не пройдёт для ребёнка. Приучать ребёнка болтать всякую чепуху, читать всякий вздор, может быть, и принято в буржуазных семьях, но это ничего общего не имеет с тем воспитанием, которое мы хотим дать нашему подрастающему поколению. Такая болтовня – неуважение к ребёнку. Сначала его манят пряником – весёлыми, невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдёт бесследно для него. Я думаю, что “Крокодила” нашим ребятам давать не надо, не потому, что это сказка, а потому что это буржуазная муть».

Помимо этого, Крупская усмотрела в сказке ярко выраженную ненависть к Некрасову: «Автор влагает в уста крокодила пафосную речь, пародию на Некрасова». Сказку запретили.

Ко времени появления рецензии Крупской на «Крокодила» половина детских книг Чуковского уже была запрещена ГУСом. Тем не менее, «Крокодил», как позднее писал Чуковский, был просто «счастливчиком по сравнению с “Мухой-цокотухой”, от которой не раз и не два спасали советских детей».

Поэт писал начальнику ленинградского Главлита И.А.Острцову: «В Гублите мне сказали, что Муха есть переодетая принцесса, а Комар — переодетый принц!.. Этак можно сказать, что Крокодил — переодетый Чемберлен, а Мойдодыр — переодетый Милоков. Кроме того, мне сказали, что Муха на картинке стоит слишком близко к комарику и улыбается слишком кокетливо. Возражают против слова “свадьба”. Это возражение серьёзное. Но уверяю Вас, что муха венчалась в ЗАГСе. Ведь и при гражданских браках бывает свадьба... Мне посоветовали переделать “Муху”. Я попробовал. Но всякая переделка только ухудшает её...»

В другой раз шквал критики обрушился на «Муху» за то, что в неё Чуковским «было протаскано» двестише «А жуки рогатые, / Мужики богатые». Поэта обвинили в том, что он, выражая сочувствие сельской буржуазии, восхваляет кулацкое накопление.

«В третий раз злополучная «Муха» подверглась осуждению за то, что она будто бы подрывает веру детей в торжество коллектива...», — продолжает Чуковский в книге «От двух до пяти» (глава «Борьба за сказку»).

Поэт также вспоминает, как услышав по радио детскую оперу М.И. Красева по сюжету «Мухи-цокотухи», один из жителей Забайкалья, медицинский работник Владимир Васьковский, написал в «Литературную газету»:

«Такие сказки не нужно было не только музыкально оформлять, но вообще выпускать в свет. Сказка вызывает у ребят определённое сочувствие к бедной, невинно пострадавшей мухе, к “храброму” комару и другим паразитам. И странно: с одной стороны, в нашей стране проводится систематическая беспощадная борьба с насекомыми, а с другой — отдельными (!) писателями выпускаются в свет произведения со стремлением вызвать к паразитам сочувствие».

«Литературная газета» не поддержала Васьковского. Пожаловавшись в другую инстанцию, он добился рассмотрения бумаги Комиссией по детской литературе Союза писателей. В письме этот ярый «борец за нравственность» повторил свои нападки на «Муху», а заодно и на рассказ Евгения Чарушина «Волчишко», в котором, к величайшему его возмущению, детям внушаются зловерные симпатии к волкам. Как результат — опера Красева была признана вредной и уже больше не звучала в эфире.

Нападки на Чуковского не прекращались и в середине века. В 1960-м году в «Литературной газете» появилось письмо с нелепыми обвинениями, выдвинутыми против «Мухи-цокотухи». Кандидат исторических наук из Душанбе А.П. Колпаков горел от возмущения: «Корней Чуковский проповедует любовь к мухе-цокотухе, он выдает её замуж “за лихого, удалого молодого комара!”».

«Это противоестественно, чтобы комар мог жениться на мухе, — негодует Колпаков. — Вошь, — наставляет историк, — не может жениться на клопе и комар на мухе. Это всё несусветная чушь и обман». Заканчивалось письмо призывом смело жечь «бесполезную книжку», «история от этого ничего не потеряет».

Когда же Чуковский обнародовал свои переводы народных английских стихов для детей, в печати мгновенно появилась разгромная рецензия. Т. Чугунова осудила поэта за «формалистическое кривлянье и рифмованное сюсюканье», за которое «Детиздату должно быть стыдно от того, что он выпускает такие недоброкачественные книжки, как “Котауси-Мауси”».

Остракизму подверглись и зловерные фантазии барона Мюнхгаузена, чьи приключения в изложении Чуковского только-только начали появляться на книжных прилавках. Бурное развитие мракобесных теорий о воспитании реалистов привело к тому, что в советской прессе стали появляться вот такие открытые письма Чуковскому (думается, что поэт уже успел к ним привыкнуть): «Товарищ Чуковский! Купила я своей восьмилетней дочке вашу книжку “Приключения Мюнхгаузена”... <...> Каково же было удивление и разочарование дочери, а вместе с ней и моё, когда мы стали эту книгу читать... <...> Местами книга заставляет ребёнка смеяться, но обязательно с восклицанием: «Вот так врёт!». В большинстве же случаев ребёнок недоумевает. Меня интересует одно: для чего, товарищ Чуковский, вы переводили эту книгу?.. Нельзя же врать без оговорки на протяжении сотни листов!».

В заключение письма подпись: «Вязники, Ивановской области. Заведующая библиотекой С.Д. Ковалёва». Как говорится, без комментариев...

Вместе с «Приключениями барона Мюнхгаузена» из библиотек изымались и «Приключения Гулливера», и «Робинзон Крузо». По мнению критиков-антисказочников, вымысел в этих произведениях превышал все установленные для него нормы. Доставалось от блюстителей народного блага и многим другим сказкам, о чём также не преминул рассказать Корней Иванович:

«В Ростове-на-Дону некто П. (не Передонов ли?) тиснул в ту пору статью, где грозно осуждал знаменитую сказку о Мальчике с пальчик за то, что в сказке изображены людоеды. Должно быть, он полагал, что ребёнок, прочитавший эту сказку, вырастет и сам людоедом».

А в Оренбурге какой-то Булаков так прямо и напечатал на белой бумаге, что волшебная сказка — это школа полового разврата, потому что, например, в сказке «Золушка» злая мачеха, которая из одной только потребности мучить насыпает своей падчерице золы в чечевицу, есть, несомненно, садистка, а принц, приходящий в восторг от башмачка бедной Золушки, есть замаскированный фетишист женских ножек!



В г. Горьком А. Т-ва напечатала тогда статейку о том, что ребёнок, наслушавшись сказок, проникнется психологией морального безразличия, начнёт стремиться не к коллективному, а к индивидуальному счастью – очевидно, станет растратчиком или скупщиком краденого».

Что говорить – от жестокой советской цензуры в начале прошлого века пострадал даже главный сказочник планеты – Андерсен. Появление сборника датского писателя в частном издательстве «Космос» вызвало бурю возмущения в высоких инстанциях УССР.

8 июня 1929 года Президиум Центрального бюро Кабинета детского движения при ЦК ЛКСМУ, а 3-5 августа Коллегия НКО УССР издали специальные постановления, в которых осуждали издание сказок Г.Х.Андерсена. Власть требовала общественного порицания в прессе самой возможности использования сказки в воспитании и обучении. Иначе и быть не могло – в государстве был взят решительный курс на выпуск книг для детей рабочих и крестьян. Андерсен в этот курс никак не вписывался и, по сути, был объявлен вне закона как писатель, идеализирующий классового врага – короля, царя, пана, отдающего свою дочку за полцарства и другие богатства.

«... Искоренить из нашего обихода такие методы критической мысли не так-то легко, и было бы нелепо надеяться на быстрый и стремительный успех... <...> Борьба предстоит упорная», – писал в 1956 году Чуковский. И хоть успех этот действительно не был скорым, век идеологической тоталитарной цензуры – уже, к счастью, история. На смену ему пришла эпоха цензуры коммерческой, потакающей дурному вкусу. Ко всеобщей радости, к старым добрым сказкам судьба благосклонна. Сегодня их печатают охотно и много, на любой смак и кошелёк. Одного только «Крокодила» Чуковского я насчитала в магазине шесть или семь книг, и все – в исполнении разных издательств. От Чуковского не отстаёт и «Золушка» с «Курочкой Рябой», и многие другие, с детства любимые сказки. Но при всём богатстве выбора хочется верить, что не заставят себя ждать и гениальные сказки талантливых современников. Ведь по сравнению с веком минувшим, сегодня возможности сказочников поистине безграничны.

Литература:

1. 100 запрещённых книг: цензурная история мировой литературы / Николай Дж. Каролидес, Маргарет Балд, Дон Б. Соува, Алексей Евстратов; пер. с англ. Э. Богдановой. // Екатеринбург: Ультра. Культура, 2008.
2. Блюм Арлен. Буржуазная Курочка-Ряба и православный Иван-Дурак // Родина. – № 3, 2000.
3. Крупская Н.К. «О «Крокодилье» Чуковского» // Собрание сочинений К.И. Чуковского в 15 томах, т. 2, М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2001.
4. Петровский М.С. Что отпирает «Золотой ключик»? // Петровский М. С. Книги нашего детства: Книга, 1986.
5. Чернопиский М. Парівна родом із високого, блискучого замку. Іван Франко про естетичну сутність народної казки // Вісник львівського університету, серія філол. 2006, вип. 37.
6. Чуковский К.И. От двух до пяти. / Собрание сочинений К.И. Чуковского в 15 томах, т. 2, М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2001.

«ШКАФ»

ЕВГЕНИЯ КРАСНОЯРОВА

ЗАГЛЯНУТЬ В МЕЖДУРЕЧЬЕ

(опыт прочтения книги Светланы Василенко «Проза в столбик». – М., 2010)

Книга Светланы Василенко «Проза в столбик» вышла в свет в 2010 году, и уже собрала определённое количество рецензий и откликов. В большинстве из них отмечается высокое мастерство автора, который сумел в единый сплав слить множество разрозненных картин и картинок, переплетя свою судьбу и судьбы знакомых ему людей с судьбой великой и непостижимой – Родины. Все отмечают лёгкость, с которой читается книга и запоминаются составившие её образы. «Простота их не кажется изначальной. Наоборот, возникает ощущение той самой высшей формы простоты, возникающей из сверхсложного», – говорит Г. Шевченко. В. Курбатов отмечает «естественное дыхание», пронизывающее книгу, в каждом тексте которой «увидишь полноту печали и света, вспышку жизни, моментальный снимок судьбы». Чем же так захватывает с первой страницы «Проза в столбик» Светланы Василенко? На чём зиждется «простота» каждого текста и книги в целом, отчего, взяв её в руки, уже не отложить, не дочитать до конца? Конечно, дело в мастерстве, в опытности писателя, в умении отбирать главное, и ненужное в художественном произведении неумолимо отсекает. В его душе, настезь открытой миру, жаждущей ощущений, переживаний, определённых знаков, за которые зацепляется душа художника, чтобы остановиться на время и запечатлеть прочувствованное – в стихах, в прозе, в прозе в столбик ли – не так важно для того, кто будет внедряться в текст не как филолог, а как читатель.

Книга стихов Светланы Василенко и передо мной поставила вышперечисленные вопросы. Поэтому мне пришлось подойти к ней с позиции уже не того, кто воспринимает, а, скорее, того, кто долго вглядывается в объект, чтобы понять, как он сделан. Второй текст в книге, озаглавленный «Автопортрет в пейзаже» привлёк мое внимание не только отмеченной рецензентами яркостью и по-

этичностью образов. Предваряющий основной массив текстов и благодаря названию декларируемый как личная позиция (не только лирического героя, но и самого автора текста) по отношению к «городу и миру», он показался мне знаковым, и стал для меня тем самым ключом, который приводит в движение сложный механизм книги, выверенной, как часы.

Сразу скажу, что и до рассмотрения этого текста мне приходилось заниматься исследованием поэтического и прозаического текста ниже применённым способом, и результаты этих исследований во многом были неожиданными, и вместе с тем, опровергать их было бы странно, потому что к расшифровке текста мной была применена наука о символах¹. При прочтении любого художественного произведения, если, конечно, текст этот принадлежит руке мастера, поэта, сознательно, но чаще всего бессознательно, обращающегося к архетипам, интерпретация символов выводит текст на новые уровни – как сказанного автором, так и воспринятого нами.

Итак, «Автопортрет в пейзаже». Текст делится на семь смысловых отрезков, каждый из которых мы заключили в косые скобки.

*/Степь,
Пахнущая чистой
Хлопчатобумажной футболкой
На теле любимого мужчины,
Который был до тебя
жизнь назад./
/Змея на дороге,
Полная яда,
С глазами рассерженной прачки.
Или где я могла видеть женщину
С таким же злым и бессильным взглядом?
Может быть, она была подавальщицей
Или посудомойкой в заводской столовой?*

¹ При толковании символов и символических рядов использованы следующие издания: энциклопедия «Мифы народов мира» под редакцией С.А. Токарева (М.: Советская энциклопедия, 1987), «Словарь символов» Х.Э. Керлота (М.: «RELF-book», 1994), «Энциклопедия символов» Дж. Купера (М.: Ассоциация Духовного Единения «Золотой Век», 1995), «Словарь символов» Дж. Трессидера (М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999).



Не помню./
 Кузнечик
 С внимательным взглядом зелёных глаз
 Инопланетянина,
 Играющего со мной в салки./
 Река, названная по имени
 Монгольской девочки,
 Тысячу лет назад влюбившейся в русского князя
 И здесь утонувшей, – Ахтубой./
 Журавль,
 Отставший от стаи,
 Жалкий, словно после похмелья,
 На другом берегу./
 А на этом – ворона,
 Терзающая брошенный кем-то пакет
 С надписью «Мальборо»./
 Ля
 На остывшем песке
 Любящая тебя./

Каждая из смысловых частей текста посвящена беглому описанию объекта, заявленного в начале отрезка: степь, змея, кузнечик, река, журавль, ворона и «я», т.е. герой. Пять из них напрямую связаны с символами, обозначают определенные понятия и явления. Последний, не явленный прямо, мы расшифруем путем истолкования всех предыдущих символов. Толкование же самого первого, «степь», ни в одном словаре символов мы напрямую не нашли, но связанные с ним символы «долина», «поле», дают возможность поставить и его в интерпретируемый ряд и начать с него «толкование». Необходимо отметить не только прямой «повествовательный» символизм, присутствующий в тексте. Важно для нас и порядковое число появления того или иного символа в нём. Играет роль и цвет объекта. Он не всегда указан напрямую, и поэтому не будет считаться нами как безусловное звено символического ряда. Однако подробность текста и некоторые внетекстовые моменты позволяют с некоторой условностью восстановить палитру. Так, например, «Автопортрет в пейзаже» написан в сентябре. Если текст был написан «по живому», в том же месяце, то мы можем представить себе цвет описываемой степи как жёлтый, серо-жёлтый. Если же текст был написан раньше, то мы знаем, что степь зелена обычно только в период цветения – весной. Летом она выгорает на солнце, поэтому цвет её всё же оставим «жёлтым». Змея с глазами, полными яда – скорее всего разновидность гадюки, цвет которой в зависимости от области обитания разнится, но все же приближен к коричневому. В случае с кузнечиком и вороной всё ясно. Журавль, скорее всего журавль-красавка, – серый. Река – приближенная к синему цвету. Для удобства интерпретации обозначим символы из каждого смыслового отрезка текста как триаду: объект – число (порядковый номер) – цвет объекта.

Итак, первая триада в нашем случае «степь – единица – жёлтый». Как уже говорилось, отдельного символа для понятия «степь» нами не найдено, однако из сходных символов «долина», «поле» мы связали бы его Матерью-Землей, с проявлением защищающего женского начала. В символизме

Мать-Земля тесно связана со всем, что относится к такому понятию как Magna Mater (Великая Мать) – прототип, соответствующий женским божествам Иштар, Исиде, Астарте, Кали-Дурге, Гее и Деметре. Magna Mater – это объективная истина Природы. Она же – «повелительница всех элементов, изначальное дитя времени, Царица всех духовных вещей, смерти и бессмертия, прародительница всех существующих богов и богинь, одним движением пальца управляющая светом Небес, благотворными морскими ветрами и печальным безмолвием подземного мира» (по Апулею). Мать – архетипическая женщина, первоначало всего живого, первичная полнота, содержащая все принципы. Она символизирует все фазы космической жизни, объединяет все элементы, как небесные, так и хтонические. Это хранительница ключей плодovitости и врат рождения, смерти и воскресения, она олицетворяет мудрость, способствует трансформации человека от самого элементарного к самому высшему уровню. Символическое значения степи-Матери подкрепляется и её порядковым номером появления в тексте. Она упоминается первой. Единица же символизирует начало, перводвижитель, первичную целостность, бытие, источник жизни, божественную сущность и открытие человеку духовной сущности, она приравнивается к мистическому Центру. Последний член триады, цвет, в нашем случае жёлтый – ассоциируется с просветлением, рассеиванием и широким обобщением. Как видим, участники триады не противоречат, а дополняют друг друга, обозначая некую мистическую точку, из которой посредством встречи с перво-сущностью, с первобожеством начинается путь – Путь познания, путь трансформации сознания при соприкосновении с бессознательным, не явленным ни в жизни, ни, соответственно, в тексте открыто и гласно.

Второй отрезок текста основан на описании змеи – глаза её полны яда и напоминают то рассерженную прачку, то подавальщицу или посудомойку. Этот поэтический образ при расшифровке также становится прозрачным и отсылает нас к явлениям космогонии древних. Змея – один из самых известных атрибутов античной Медузы Горгоны, то есть Magna Mater в её ужасном и разрушительном аспекте. Горгона – символ дурного взгляда, деструктивных сил зла. В то же время видимая змея – это лишь тленное проявление первопричинного вневременного Великого Невидимого Духа, хозяина всех природных сил. Она – страж порогов, храмов и эзотерических знаний. Она появляется второй. Двойка в символике в первую очередь обозначает конфликт и противовес, преходящее, подверженное порче. В эзотерической традиции двойка рассматривается в качестве чего-то зловещего. В тексте – помимо того, что змея появляется второй, у неё два – злых, дурных – глаза. Она пытается остановить героя в его пути, в точке первоначала, не пустить дальше. Два – число, ассоциирующееся с Великой матерью. Отсыл к Magna Mater явлен в подавальщице из заводской столовой, так как все символы еды ассоциируются с Богиней-Матерью. Кроме того, в символике пища – это все

воды, реки, фонтаны и родники, поэтому в наш ряд вписываются и прачка, и посудомойщица. Поэтическая ассоциация не случайна и в этом отрезке текста. Цвет змеи, скорее всего, коричневый – ассоциирующийся с землёй, с бедной глинистой почвой, с наказанием, он подкрепляет символизм и двойки, и змеи – знаков земли и женского начала.

Следующая триада: кузнецик – тройка – зелёный. Кузнецик определён в тексте как инопланетянин, пришелец. Пришелец – в символике тот, с кем связана возможность незаметных перемен или изменений в целом, это носитель божественных и магических сил. Голова кузнецика представляет собой треугольник, обращённый вершиной вниз – эта фигура обозначает женское начало, воду, холод, природу и символизирует Великую Мать. Пристальный взгляд в символике имеет своё определенное значение – он ассоциируется со знанием, традиционно отождествляется со знакомством или осведомленностью. Возможно, кузнецик, как одно из воплощений Magna Mater, узнаёт героиню, признаёт в ней способность к самосовершенствованию и разрешает вступить на Путь? Подтверждение этому даёт его «порядковый номер» в тексте, потому что именно тройка символизирует духовный синтез, творческую силу, рост, движение вперёд, являясь формулой для творения каждого из миров. Тройка олицетворяет решение конфликта, поставленного дуализмом (а в тексте змея с «глазами рассерженной прачки» противопоставлена кузнецнику «с внимательным взглядом зелёных глаз инопланетянина»). Она образует полукруг, включающий зарождение, зенит и нисхождение, который графически близок к символу «U», символизирующему женское принимающее начало, Великую Мать. Цвет же кузнецика, зелёный, соответствует функции восприятия, он часто связан с потусторонним (кузнецик – инопланетянин!), и в христианской традиции символизирует рост духа святого в человеке.

Четвёртая триада: река – четвёрка – синий. Общее значение символа «река» – это мировой поток явлений, течение жизни. Существуют Река жизни – царство божества (в нашем случае Magna Mater), макрокосм и Река смерти – явное существование (в нашем случае герой), мир изменений, микрокосм. Между реками Жизни и Смерти существует то самое Междуречье, в которое – сознательно или бессознательно – стремится герой, стремится поэт. Божеством стать нельзя, с ним можно только соприкоснуться, оторвав себя от мира изменений, вырвавшись из микрокосма, чтобы, вооружившись полученным впечатлением, вернуться в него обратно, иначе воды реки превращаются в границу между миром живых и мертвых, и зачастую уже не отпускают обратно, в реальность. Утонуть – значит потерять свою индивидуальность в океане недифференцированного целого. Так погибает монгольская девочка, не сумевшая разобраться в жизни, не сумевшая отстоять себя от Реки смерти. Млечный путь, незаметный в современных городах, очень хорошо просматривается в степи, и зачастую олицетворяется с Небесной рекой. Пространство,

длящееся между небесной и земной реками, выводит нас с плоскостного уровня чисел «два» и «три» к четвёрке, символизирующей пространственную структуру. Синий, цвет реки, ассоциируется с небом, истиной, откровением, мудростью. Это цвет Великой Матери, бесконечное пространство, которое, будучи пустым, может содержать всё.

Пятая триада: журавль – пятёрка – серый. Одно из символических значений птицы, помимо обозначения души, духов – это возможность общаться с богами или входить в высшее состояние сознания, мысли, воображения. Как видим, герой продолжает свой Путь, от земной реки продвигаясь всё ближе к тому, что связано с небесным, сакральным. Как символ общения с богами, символ духовного и телесного возрождения, даже «отставший от стаи, жалкий, словно после похмелья» журавль кажется нам знаковой фигурой в данном отрезке текста. Как птица, он, с одной стороны, приближён к сакральному, как «похмельный» и «жалкий» – всё-таки к мирскому, к человеку. Он появляется в пятом условном отрезке текста. Пятёрка – символ человека, его микрокосма. На фигуру человека с раскинутыми в стороны руками и ногами (вспомним Витрувианского человека) похожа пентаграмма. Пусть условно, но и журавль, стоящий на двух ногах и раскинувший в стороны крылья, схож с пентаграммой-человеком. Цвет журавля, как нами оговаривалось выше, скорее всего серый. Серый – это нейтральный цвет. Именно сохранение нейтралитета – основная черта настоящего посредника.

Следующая триада: ворона – шестёрка – серо-чёрный. Ворона – также птица, также, как и журавль, вестник богов. Но ассоциации, связанные с этим символом, скорее носят знак «минус»: связь со смертью, уединением, одиночеством. Само расположение птиц – журавля и вороны – можно с некоторой натяжкой, но всё же истолковать символически. Журавль стоит на одном берегу, на другом, «на этом», ворона терзает «брошенный кем-то пакет». В «Упанишадах» упоминаются две птицы на Космическом Древе: одна ест, другая её сторожит – они символизируют индивидуальную и вселенскую души, то есть микрокосм и макрокосм. Намёк на Древо можно воспринимать как очередное указание на Центр, к которому держит свой Путь герой. В символике также важен и момент борьбы птиц со змеями, изображающий фундаментальный конфликт между светом и тьмой, духом и плотью. В нашем случае этот конфликт отсутствует, силы находятся в некоем равновесии, возможно шатком, но имеющем место быть. Можно добавить, что с символическим значением журавля имеет много общего и цапля – птица вод, которая рядом с чёрной вороной образует противопоставление солнечного и лунного, света и тьмы. Некий союз противоположностей подкрепляется символическим значением числа «шесть», которое обозначает равновесие, единство полярных сил. С другой стороны, оно соответствует прекращению движения. Цветовая ассоциация с вороной – скорее чёрная. Чёрный цвет – первобытная тьма, тёмный аспект Великой Матери, которая в очередной раз подспудно заявлена в тексте. В то же время интересна и



символическая интерпретация цветовой гаммы «терзаемого кулька»: фирменная гамма сигарет «Мальборо» – это чёрный и красный на белом фоне. В алхимии, и в последствии, символике, ряд «чёрный-белый-красный» описывает путь духовного восхождения, «Великого Превращения», который достигает высшей точки в создании «золотого», философского камня. Золотой – божественная сила, великолепие просветления, обретение первоначальной чистоты человеческой натуры. Возможно, именно в золото и окрашивается следующий, последний отрезок текста, в котором не заявлен ни один цвет, и триада превращается в диаду «герой-семёрка»?

Именно в последней, седьмой части текста является нам герой, человек, сочетающий в себе материальное и духовное, небесное и земное, образ универсума. Только осознавший своё бытие приходит к пониманию себя в качестве символа. Он становится «универсальным человеком», обозначаемым термином «мезокосм» – средним между конкретным индивидом и универсумом. Он, пройдя Путь познания, оказывается в Междуречье. Именно так соединяются микрокосм и макрокосм, сердце соединяется с Солнцем в Мистическом Центре. Шесть отрезков текста, шесть символических ступеней – прогресс, проходящий через шесть чакр для того, чтобы раскрыть не имеющей названия и не представленной визуально седьмой чакры – центральной точки, в которой преодолевается течение времени, разрушение и уничтожение (река, песок). Достижение Центра – постижение целостности, непроявленного бытия, соединение времени и пространства, пересечение микрокосма и макрокосма, где исчезают противоположности. Из этой точки всё возникает и возвращается к ней в ходе двух движений – центробежного и центростремительного, символизируемых также выдохом и выдыханием, циркуляцией крови от центра сердца. Это точка, где производится пространство, и не только материальное, но и художественное тоже. Семёрка лишь подытоживает конечный смысл толкования – она являет собой планетарный и моральный порядок, символ Центра, она является первым числом, охватывающим и духовное, и временное – совершенство, уверенность, безопасность, покой, восстановление целостности.

«Автопортрет в пейзаже» в подобном толковании превращается не в беглый набросок на белом листе, не в зарисовку родного автору пейзажа или простое описание его чувств, нет. В нескольких десятках слов текст отражает некий путь, который,

быть может, растянулся на целую жизнь, но увенчался соприкосновением с сакральным, и как результат – постижением смысла, возвращением к Знанию. К тому Знанию, которое получил Один от Игдрасиля. Кистине. Поэтому все слова, все тексты, следующие за «Автопортретом», освещены лучами истинного, солнечного света, поэтому и находят они отклик в сердце, воспринимаются как откровение, полученное шаманом в минуты камлания, пророком в минуты общения с Высшим.

Символы, заявленные в «Автопортрете» будут повторяться в книге и дальше. Мы предоставим читателю получить удовольствие от поиска их в казалось бы простых, реалистических текстах, и не будем омрачать удовольствие от узнавания сакрального названием его. Интуитивно автором «Прозы в столбик» создан тот подтекст, который заставляет вдумчивого читателя самого становиться на Путь познания, сопоставлять, искать, причащаться. Это не просто увлекательное чтение, не сентиментальное выдавливание жидкости из слезных желез: «утопленница, Мадонна, подсолнух, танки, Родина...». Это ключ от той дверцы, которую все мы, как правило, держим на прочном замке – от сердца. От микрокосма, познание которого ведет нас к большему, к Большому.

Мы не зря упомянули Игдрасиль – скандинавское Космическое древо. На Древо мира указывают в рассмотренном нами тексте такие символы как птицы (журавль и ворона). С символикой дерева тесно связана змея. А соединение растения (дерева) и камня проявляется в таком атрибуте Великой Матери, неоднократно и многогранно заявленной в тексте, как колонна, столб – ось мира и эмблема божественной силы, земной и космической энергии. Проза Светланы Василенко преобразована именно в «столбик» (со столбами связана сила и храбрость легендарных героев – Кухулина, Самсона, Геракла). Почти на каждом развороте книги мы видим по два текста. Так позволим же себе исследовательскую вольность – уподобить каждый из текстов колонне. Тогда книга стихов приобретет ещё один неявленный с строках смысл: две колонны олицетворяют опору Небес, Небесные врата. И чтобы попасть в Храм, нужно пройти между ними (постичь контекст). Прохождение между двумя колоннами символизирует постижение, переход к новой жизни. К новым смыслам, скрытым за простыми, безыскусными на первый взгляд словами, сложенными в поэтический текст.

ВЛАДИМИР ГУТКОВСКИЙ

ОГЛЯДЫВАЯСЬ ВДАЛЬ

(рецензия на книгу Дмитрия Бурого «Киевский сбор». – Киев, 2011)

Известный киевский поэт, представляя на презентации свою книгу, откровенно назвал её книгой избранного. Наверное, так оно и есть. Но, учитывая, что автор находится в самом расцвете творческих сил и

даже ещё не на середине жизненного пути, вернее будет назвать её книгой первого избранного.

Избранное неразрывно связано с отбором. Ясно, что выбирать есть из чего, и Дмитрий Бурого

осуществляет этот отбор со свойственными ему основательностью, деликатностью и вкусом.

Избранное — это ещё и избрание, и избранничество. И все эти высокие понятия включены и выражены в названии книги. «Киевский сбор». И сбор поэтического урожая, и целительный врачующий душу и тело словесный отвар, и причастность к киевскому литературному братству, и комплот киевских же истории, духовности, географии, топографии, ментальности. И многое другое.

Книга оформлена скупой, выразительно и благородно. Даже ещё не открывая её, многое можно почувствовать и предчувствовать. Только глядя на обложку.

А внутри находишь поэзию, которую равно хорошо и читать, и слушать. Можно заслушаться. А потом и зачитаться.

Стихи Дмитрия Бурого, как правило, включены в исторический контекст и географический ландшафт. Знакомясь с ними, совершаешь своеобразное путешествие в пространстве и времени. Неизменно захватывающее и безупречно поэтически оформленное.

Голос поэта звучит то одически торжественно и величаво:

*Начинается город с верлибра, начинается Киев
с дождя...*

То пластично, гибко и подвижно:

*Приюти меня речь, приручи.
Поручи, препиная дорогу,
выговаривать горечь по слогу,
чтобы были слова горячи...*

При этом его поэтические формулы глубоки, чеканны и зачастую универсальны.

«... в гостях у собственных воспоминаний...» —

так мог бы сказать о своем творчестве любой поэт. Но так сказал только Дмитрий Бурого.

Он поэт киевский по ощущениям и всемирный по чувствам. Он укоренён в киевскую культуру и открыт культуре мировой, с которой на ты.

Когда автор говорит:

*Сотрапезник, соратник, сородич,
сопричастник житью-бытию...* —

он, по сути, обращается к самому себе. Потому он так зорек к приметам городского быта, ведь даже самые незначительные его изменения свидетельствуют поэту о неумолимом ходе времени, течение которого он так остро ощущает.

*За паузой Серебряного века
перенесли двадцатое столетье...*

И далее:

*Ничто, казалось бы, не предвещало
перехода в следующее столетие...*

Но вот уже вошли в полную силу новый век, даже новое тысячелетие. А поэт всё так же следует по выбранной дороге, по предвечному пути слова.

*Вот и стучит дорога, словно печатный пресс.
Русь, ты сбывлась из слога. Слогом твой будет
крест.*

Несмотря ни на что, общую тональность книги можно, пожалуй, охарактеризовать как оптимистический пантеизм. Но это не означает, что порой в ней не звучат нотки трагической самоиронии.

*Мы сами по себе — предметы ритуала.
Продлённое родство, отсрочка до поры...*

Я очень люблю заглядывать в оглавление книги. Ведь совокупность названий стихов, их зачинов сама по себе представляет впечатляющую картину. Небольшой срез-перечень для книги Дмитрия Бурого: Колокол — Речь — «Спиши меня на гордость и обман...» — «Живу на барабанной пустоте...» — Спичечный поезд — Пастушок-шепоток — Попугай Сократ — Шуг — «Кто тебе ветер...» — Перелётное небо — «У бессонницы упрямая звезда...» — Снежный кот — Постмодернизм... И т. д., и т. п... Впечатляет, не правда ли?

Авторский Post Scriptum, прозаический текст, которым Дмитрий Бурого завершает свою книгу, — одновременно и подведение её итогов, и ключ к её пониманию. Этот текст мог бы книгу предварять и тем самым настраивать на восприятие стихов, но автор предпочёл этому прямое поэтическое высказывание и обращение к читателю, и только в самом конце приоткрыл некоторые коды к шифру своих стихов.

Ограниченный объём рецензии не позволяет достаточно детально остановиться на основных темах поэтического творчества поэта, проанализировать его образную систему, стиль, словарь и много других аспектов и нюансов. Но это вполне может самостоятельно сделать вдумчивый читатель, если должным образом подготовится к чтению этой книги.

Такой осмысленной встречи я им (книге и читателю) от души желаю.



АРКАДИЙ РОММ

ЗА МИНУТУ ДО СЛАВЫ

(рецензия на книгу Игоря Потоцкого «Стихи для Люды». - Одесса, 2011)

О славе Булат Окуджава заметил, что она не жена, а вдова. Если стремишься к ней, то пиши, поэт, как в последнюю минуту, с исповедальной искренностью. И на листе белоснежном – очертания твоих слов, словно следы на снегу. Потом их, конечно, затопчут. Но снова будет снег, и вновь следы.

Снежные видения в летнюю жару так заманчивы. И впечатление от новой книги стихов Игоря Потоцкого совпадает с ними. Собственно, о снеге как таковом там немного. Лишь однажды. И с сожалением, мол, долго его не было. Зато вдосталь первоснежия воображаемого, искреннего и искристого, когда звучно поскрипывает при ходьбе первозданная гладь, наполняя всё вокруг жизнью.

*Она была моей, всё остальное вздор.
Есть страсти горизонт и страсти коридор.
И есть её глаза, где неба синева,
И я произношу нежнейшие слова.
Всё остальное – вздор! Она была моей.
Нам было хорошо, прогулки всё длинней,
Накаты волн любви легко достигли звёзд,
И мир закручен весь, и он совсем не прост.*

Мне в этих стихах мешает строка, «и есть её глаза, где неба синева». Хотя тут мог бы с собой и поспорить. Но если поэт написал, значит, так надо. При этом куда важнее, насколько отлично его «и мир закручен весь, и он совсем не прост» от хрестоматийных окуджавовских строк: «возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Да и вообще у Игоря Потоцкого о том, чтобы не взяться, а взять. И не о дружбе, о более глубинном. Он рвёт ритм и ставит точку. А за ней мир, тот, что «совсем не прост». И от чего ограждает пограничное это слово «вздор», можно лишь догадаться. И ещё догадаться о том, что лирическому герою предстоит. Эта тревожная неизвестность готовит свои испытания. Их важно пройти, сохранив «я». Иначе нет поэта, и, пожалуй, вообще человека.

Накативший с Запада индивидуализм в свое время лёг у нас на почву чувственной поэзии. Не случайно литературный гурман Пётр Вайль назвал книгу о поэтах «Стихи про меня». С ним переключается проза культового ныне Евгения Гришковца «Следы на мне». Перечисление можно продолжить. Вот и сборник Игоря Потоцкого «Стихи для Люды» – о личном. Тут, конечно, нет камерности поэтических альбомов, модных в прошлом. Нет и казарменной открытости армейских газет, рубриками затёрших до дыр деликатное слово «личное». Людмила – жена поэта. И творческая её профессия – композитор – также предполагает индивидуальность.

Строки «про себя» оказываются и «про многих». И незаметно как-то берутся за руки. Автор «Стихов

для Люды», как нередко бывает в поэзии, совмещает, казалось бы, несовместимое. Вот и герой одной его песенки хочет быть косолапым мишкой, который собирается стать между мальчишками генералом. И –

*Всех пленных сразу отпустить,
Но вкусным накормить обедом,
И всю страну оповестить,
Что возвращается с победой.
Трофеи вовсе не нужны,
А важно, что без проволочек
Мы возвращаемся с войны
Во имя сыновей и дочек.
Труба пусть весело поёт,
Что мы бежим назад вприпрыжку.
Бежим назад, за взводом взвод,
А первым косолапый мишка.*

Пожалуй, тут важно слово «назад». Не случайно же поэт повторяет его. Это за командой «вперёд!» – и знамёна, и озлобленная радость боя, и подвиги, настоящие и придуманные. А вот в «Стихах для Люды» с военной командой ничего общего нет. Косолапому мишке не нужны завоевания. Ему чужды трофеи. Ему жаль пленных. И победа для него – это возвращение. Ради детей.

Сын фронтовика, Игорь Потоцкий, конечно же, знает об ужасах войны минувшей. И понятно, что таким стихам легче было родиться в наше время, когда потомки нацистов и жертв Холокоста могут пройти, например, в Риге одной колонной, показывая примирение. Но у Игоря Потоцкого есть немало строк, рождённых и удивительной его интуицией. Вообще, для поэтического выражения она весьма верна. За примерами далеко ходить не нужно. Достаточно взять наугад строки из сборника.

Скажем, эти:

*«Я боюсь тебя словом задеть,
но мне хочется взгляд
Задержать твой, поймав его и не отпуская...»*

Говорят, поэтов нужно читать подряд. Из года в год. И уже потом возвращаться к тому, что считаешь нужным. Постоянно следить за тем, что пишет Игорь Потоцкий, мне не довелось. Но я помню стихи его в местной печати и центральных журналах. Публикаций было много. Складывалось ощущение, что автора печатают охотно. Может быть, ещё и потому, что поначалу, не дойдя в своём стационарном студенчестве до диплома, он стал рабочим, а в советское время у пролетариата был как бы некий «проходной балл». Но стихи Игоря Потоцкого «проходили», потому что на самом деле были хороши. И дипломированным филологом он стал позже, на заочном отделении, без отрыва, как

тогда говорили, от производства. А по сути – «от производства» стихов.

Как-то мне довелось редактировать книжку иронических стихов одного хорошего поэта. Там было немало забавного – автор прикладывал не к месту расхожие словесные конструкции, словно несуразную заплату на ткань, и достигал желаемого. Однако в литературе речь подчас превращается в клише, а «осовремененные» слова нередко утрачивают не только первоначальный, но и вообще – смысл. Потому и интересен Игорь Потоцкий, что стремится к родниковой чистоте слов.

*Перелистаю наши встречи,
Что и близки, и далеки,
Но всё замечу и отмечу
И вовлеку в черновики.
Упыюсь своею страстью ранней
В одну из мимолётных встреч,
Когда из лёгких замираний
Вся состояла наша речь...*

«Упыюсь своею страстью ранней», конечно же, с налётом иронии к лирическому герою, начитавшемуся поэтов прежнего времени с их переполняющей строфы патетикой. Что, однако, не мешало нередко искусно передавать тончайшие состояния души. Скажем, Афанасий Фет со своим безглагольным «шёпот, робкое дыханье». Там, у Фета, та же «страсть ранняя». А у Потоцкого – воспоминания о ней, когда невозвратное куда желанней.

Один известный поэт заметил как-то, что сначала писали сложно и плохо, потом – сложно и хорошо, а стремиться нужно к тому, что хорошо и просто. Но простота, что, как известно, хуже воровства, приобретает в поэзии особый смысл. Тут легко скатиться к пустому. Это так же опасно, как и кокетливая сложность. Однако многими своими стихами Игорю Потоцкому удается убедить, что поэтическое чувство – чувство вкуса. Скажем, строками о послевоенных калеках:

*Их мимолётные улыбки
и старенькие плащ-накидки,
потрёпанные пиджаки,
глаза, кричащие от боли,
когда им ночью снится поле
и гибель роты у реки.*

При всей неопределённости поэтического обращения, о которой в своё время говорил Осип Мандельштам, у поэзии настоящей есть адресат. Этот чувствующий слово читатель может стать незримым собеседником. Ему и адресована новая книга Игоря Потоцкого.

Удачные иллюстрации к ней Николая Прокопенко носят некий элегический оттенок. Они связывают стихи современные с древнегреческими, в которых и черпал свои силы этот жанр задумчивой грусти. Сколько веков прошло. А всё так же бел снег и всё так же черны следы.

«ВЕСТИ С ПОЛЕЙ»

ОДЕССКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВОСТИ

8-10.07.2011. Ильичёвск, Дом культуры. Арт-фестиваль «Провинция у моря».

Организованный творческой группой «Территория I» фестиваль искусств «Провинция у моря» стал первым в г. Ильичевске действом, которое объединило поэзию, прозу, живопись, фотографию, театральное искусство. Литературная часть фестиваля состояла из детского литературного конкурса, нескольких поэтических вечеров и презентаций, встреч с писателями Одессы, Южного и Белгород-Днестровского.

«О литераторах “Территории I”, их творческих буднях и наработках долгое время можно было узнать, только сев за компьютер и зайдя на городской форум, объединивший группу людей, дорожащих, как отметила Ирина Василенко, друг другом и общением. На его страницах любящие Слово однодумцы размещали свои стихи, рассказы, обсуждали их, делились своими впечатлениями о прочитанном. А затем, припомнил Виталий Тримайлов, возникла мысль выпустить первую книгу, что вскоре и было сделано. Так родился проект “Территория I”, на счету которого уже около десятка прекрасно изданных книг – проект, давший шанс городу узнать новые имена своих талантливых земляков, а авторам – писать и становиться счастливыми. А в дни фестиваля проза и стихи жителей страны “Территория I” сошли с мониторов в зал Дворца культуры, где быстро нашли своих поклонников, наградивших полубившихся авторов своими аплодисментами».

Елена Калита

9-13.07.2011. Одесса, Одесский Международный Литературный фестиваль.

Посвященный традициям одесской литературной школы в творчестве современных писателей Украины, России, Болгарии, Израиля, Германии, фестиваль был организован Одесским литературным музеем и литературным журналом «Октябрь» (главный редактор – Ирина Барметова). Фестиваль включил в себя более сорока мероприятий – встречи с писателями и поэтами, театральными деятелями, художниками, показы документальных фильмов об Исааке Бабеле, Анне Ахматовой, Викторе Некрасове и Сергее Довлатове, театральные постановки по мотивам произведений И. Бабеля, творческие мастерские и мастер-классы, вечера поэзии и круглые столы. Гости фестиваля – Юрий Кублановский, Валерий Попов, Дмитрий Быков, Вячеслав Пьецух, Ольга Ильницкая, Владимир Салимон, Резо Габриадзе, Андрей Малаев-Бабель и др.

«Наверное, это почувствовали не только мы. К нам стали приезжать. У нас стали проводиться хорошие фестивали. Второй литературный фестиваль в Одессе – яркое тому подтверждение. Столичные литераторы едут к нам с удовольствием, а одесситы с удовольствием приходят их послушать. Второй фестиваль был не просто организован лучше первого. Такого количества площадок, на которых одновременно происходило что-то настолько интересное, что иногда хотелось себя клонировать, в Одессе ещё не было. Ну как, скажите, выбрать между презентацией альманаха “Дерибасовская-Ришельевская” и мастер-классом Резо Габриадзе; между круглым столом “Одесса – множественное число. Город, который построил Исаак” и творческими мастерскими Владимира Салимона и Валерия Попова? В общем, огромное спасибо за фестиваль Татьяне Ивановне Липтуте и Ирине Николаевне Барметовой».

Евгений Деменок

09.08.2011. Одесса, музей им. К.Г. Паустовского. Награждение победителей муниципального литературного конкурса им. К.Г. Паустовского.

Награждение победителей и участников XII муниципального литературного конкурса им. К. Г. Паустовского состоялось в знаменитом дворике музея. Награждение в трёх конкурсных номинациях проводил городской голова Алексей Костусев. В номинации «Популяризация творчества К. Г. Паустовского» лауреатом стала заслуженная артистка Украины Маргарита Пресич, в номинации «Проза» – писатель Галина Лазарева, а в номинации «Поэзия» главная премия была присуждена коллективу авторов Одесской литературной антологии «Солнечное Сплетение» (составители С. Главацкий, Ст. Айдинян).

«По талантливости творчества избранных поэтов и писателей, чьи страницы составили антологию, можно выразить искреннюю надежду, что издание дополнит тот ценный и необходимый городу большой слой литературы, который можно полноправно назвать “Литературной Одессикой”...»

Станислав Айдинян

25-30. 08.2011. АР Крым, г. Щелкино. Третий Международный фестиваль литературы и культуры «Славянские традиции – 2011».

Фестиваль в третий раз собрал литераторов Украины, России, Беларуси, других стран СНГ и дальнего зарубежья на берегу Азовского моря, участники фестиваля посетили Коктебель, Феодосию, Старый Крым и Керчь. На фестивале состоялась первая презентация литературно-художественного журнала «Южное Сияние», на которой выступили члены редколлегии Станислав Айдинян, Сергей Главацкий, Ольга Ильницкая, Алексей Торхов, Евгения Красноярова, Людмила Шарга, авторы журнала Константин Кедров, Кира Сапгир, Марина Саввиных, одесситы Александр Хинт, Виктория Колтунова, Илья Рейдерман, Анна Стреминская, Владислава Ильинская. «Южное Сияние» было представлено в единой связке с литературным журналом для семейного чтения «День и Ночь» (главный редактор – Марина Саввиных).

«Цели фестиваля обозначены очень конкретно и как раз в духе тех размышлений, которые не оставляют меня в покое уже несколько лет, – о русском языке, о славянском единстве, о творческом общении людей, так или иначе понимающих русский язык в качестве предмета и инструмента своей профессии. Сохранение и развитие русского языка, славянских традиций, укрепление творческих и дружеских связей русскоязычных поэтов, прозаиков, переводчиков, драматургов в России, Украине, Белоруссии, других славянских странах и во всех зарубежных странах, где проживают русскоязычные писатели. Открытие новых молодых авторов, содействие общению начинающих авторов с признанными мастерами слова, установление контактов между творческими коллективами и отдельными авторами. Проведение мастер-классов известными российскими, украинскими, белорусскими и зарубежными писателями с участием редакторов известных газет и журналов, издателей, проведение конференций с издателями и редакторами по тематике публикаций и издания новых сборников, альманахов, книг русскоязычных писателей».

Марина Саввиных

11.09.2011. Одесса, Золотой зал Одесского литературного музея. Презентация одесского литературно-художественного журнала «Южное Сияние».

В праздничной обстановке и при аншлаге журнал приветствовали Председатель фракции Партии регионов в Одесском городском совете Геннадий Труханов, руководитель рабочей комиссии по программе «Сохранение и развитие русского языка в городе Одессе» Алексей Косьмин, начальник департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова, вице-президент Всемирного клуба одесситов Евгений Голубовский, приветствовал рождение журнала и известный прозаик Аркадий Львов. Выступили члены редколлегии, и авторы номера.

«Что удивило меня при знакомстве с журналом, так это необычное расположение рубрик. Традиционно толстый журнал делится на известные всем рубрики “Проза”, “Поэзия”, “Публицистика” и пр. “Южное Сияние” решило пойти по несколько другому пути: рубрики “Проза” и “Поэзия” неоднократно сменяют друг друга. На мой взгляд, это не просто оригинальность во имя оригинальности, так действительно лучше воспринимаются произведения в объёмном журнале. Результат довольно интересный: литературный калейдоскоп сложил в сознании красочную мозаику, из которой выстраивается целостное панно».

Ольга Новикова

12.09.2011. Одесса, библиотека Культурного центра «Бейт гранд». Творческая встреча с поэтом и прозаиком Людмилой Шарга.

В программе Людмилы Шарга «Не предавайте старые дворы...», прозвучали стихотворения и проза в авторском исполнении, песни на стихи, посвящённые Одессе и одесситам.

«Легко любить город на словах, ещё легче вообще не задумываться над этим. Сегодня – один город, завтра – другой. Иначе думает поэт и прозаик Людмила Шарга. Для неё Одесса – живой организм, который существует в сопредельном человеку измерении. Строки её, посвящённые Одессе, трогательны и проникновенны, они не только одесситов заставляют по-новому поглядеть на “в цветущих акациях город”, они и тех, кто живет далеко от Одессы и, возможно, никогда здлесь, у нас, не бывал, заставляют влюбляться заочно в Приморский, в Оперный, в Пале-Рояль, в Чёрное море... “Доброе дело! Хорошее дело!”»

Евгения Красноярова



17.09.2011. Одесса, Золотой зал Одесского литературного музея. Поэтический вечер Инны Богачинской «Поэт – это расплата за несоединимое...».

Свой творческий вечер в Одессе Инна Богачинская посвятила памяти Андрея Вознесенского, с которым её связывала многолетняя дружба, продлившаяся до последних дней классика. Посвящённое Вознесенскому эссе, перемежаемое стихами, Инна Богачинская читала наизусть.

«Ноша Дара невыносима. Столь же велика плата за него. Внутренний ядерный реактор Андрея Вознесенского работал без выходов. Но за десятилетия близкой дружбы с ним я никогда не слышала от него жалоб, менторского тона и раздражительности. Он излучал необъёмные кванты творческой энергии так же естественно, как звёзды свет. А энергетика и есть главная определяющая любого таланта. По своей мощи строки Вознесенского могли бы запустить в действие крупнейшую энергостанцию».

Инна Богачинская

02.10.2011. Киев, арт-кафе «Камышовый кот». Презентация одесского литературно-художественного журнала «Южное Сияние».

Презентация первого номера «Южного Сияния» прошла в рамках Международного фестиваля «Каштановый дом – 2011». На фестивале журнал представили Станислав Айдинян и Сергей Главацкий. Также на вечере выступили член общественного совета журнала Владимир Гутковский (Киев), авторы журнала – киевляне Наталья Бельченко, Евгения Бильченко и одесситы Владислава Ильинская, Евгения Красная, Анна Стреминская, Александр Хинт и Алёна Щербакова.

«Ко многому обязывает название нового издания. Но оно к тому еще и символически значимое. «Южное Сияние». Сокращенно – ЮС. Ушедший из современного алфавита старославянский юс соответствует личному местуимению Я. Я! «Я пришел в этот литературный мир!» – гордо заявляет своим названием новый журнал».

Владимир Гутковский

«Заявляя удачный проём между классической системностью единства и неклассической вариативностью многообразия, журнал очаровывает тем, что очаровательными являются не отдельные его тексты, а само Очарование Литературой. В наши дни высокая литература, особенно поэзия, рискует стать остальным жанром, потому что группа бодреньких библиотечных бабушек не в состоянии конкурировать с куртуазной агрессивней арт-клубов. Первые превращают слово в ретроградное пугало сахарных виньеток, вторая – в брендовое шоу «об этом». Отсюда – важная задача – вернуть поэзии её социальный бренд, которым она пользовалась в Серебряном веке и в шестидесятые. Мне кажется, данный журнал – первый шаг на пути к реализации этой задачи».

Евгения Бильченко

8.10.2011. Одесса, ДК Медицинского работника. Презентация VII выпуска Одесской литературно-художественной антологии «Одесские Страницы».

Седьмой выпуск «Одесских страниц» размещён в литературно-художественном и культурологическом международном альманахе «Меценат и Мир» за 2010 год (№ 45-46-47-48), выходящем ежегодно в Москве. Вечере приняли участие авторы «Одесских страниц» Александр Леонтьев, Людмила Шарга, Семён Вайнблат, Алёна Щербакова, Виктория Колтунова, Семён Абрамович, Сергей Главацкий, Ирина Дубровская, Галина Маркелова, Елена Миленти, Илья Рейдерман, Анна Стреминская, Александр Хинт и др.

«С 2003 года «Одесские страницы» знакомят читателей России и Украины с талантливыми представителями культуры Одессы – поэтами, писателями, литературными критиками, художниками, графиками, искусствоведами, фотографами. Журнал в журнале является первым основанным в России сборником творчества авторов-одесситов, получивших известность в своем городе. Благодаря тому, что все выпуски «Одесских страниц» помещены на сайте альманаха «Меценат и Мир», стало возможным широко популяризировать имена замечательных творцов, раскрыть шире горизонты для распространения их произведений».

Станислав Айдинян

16.10.2011. Одесса, клуб «Моадон». Творческая встреча с Верой Зубаревой.

На вечере прозвучали стихи Веры Зубаревой, как новые, так и вошедшие в поэтическую книгу «Гавань», а главной интригой стал показ документального фильма Веры Зубаревой «Единственность», посвящённого памяти Беллы Ахмадулиной, премьерный показ которого состоялся в январе этого года в центральной библиотеке Нью-Йорка, а в мае – в Москве, в Центральном доме архитектора и в Доме русского зарубежья. Свои посвящения Белле Ахмадулиной прочли одесские поэты Ирина Дубровская, Галина Маркелова, Людмила Шарга и Семен Абрамович.

«Ахмадулина обогатила поэзию не только новым голосом, но и новой миссией. Это был поэт ренессанса в смысле возрождения безусловных ценностей. Пока писалась "Братская ГЭС", она создавала свой Сад, ставший ключевым образом её поэзии. Следы его можно отыскать почти во всех её стихах. Сад – и творец Поэта, и его творение. Пушкин, Цветаева, Пастернак – не только обитатели Сада, но и его возделыватели. Сад – вечен. Поэт – "на миг", но он продолжен в Саде как месте вечной жизни Слова».

Вера Зубарева

19.10.2011. Москва, Библиотека украинской литературы. Презентация одесского литературно-художественного журнала «Южное Сияние».

Презентация первого номера «Южного Сияния» прошла в рамках Открытого московского литературного фестиваля «Украинский мотив». Три фестивальных дня были посвящены поэзии и прозе об Украине, написанной по преимуществу российскими писателями. В рамках фестиваля были проведены круглые столы по проблемам перевода на русский современной украинской литературы и украинно-российского культурного диалога. Журнал «Южное Сияние» представила публике Ольга Ильницкая.

«Суржик раздражал меня с детства. И я подумала, что если язык распадается, его можно и соединить. Стала работать и писать стихи билингвой. У меня сейчас готовится книга, она будет небольшая, но она будет написана билингвой. Причём задача – не делать так, как делали поэты до меня, Цветаева с русско-французским работая, Хлебников с русским, белорусским и украинским, то есть не через точку, а взрывая структуру языка, соединяя в предложении, вводя подлежащее, допустим, русское, украинское сказуемое и так далее. И получается, что язык работает на автора, на человека. И получается не-распадающееся произведение. Кроме того, когда говорят плохим языком, он воспитывает плохих людей, потому что это ведет к розни. А хороший язык обеспечивает появление хороших людей. Поэтому с языком надо работать. Это самый важный мотив».

Ольга Ильницкая

25.10.2011. Одесса, Золотой зал Одесского литературного музея. Юбилейный вечер писателя Олега Дрямина.

С юбилеем и выходом в свет двух сборников поэзии и прозы Олега Дрямина пришли поздравить писатели, соратники по общественному движению, представители областной и городской власти. На вечере прозвучали стихотворения Олега Дрямина как в исполнении самого поэта, так и озвученные мастером художественного слова Светланой Лукиной. Лауреат муниципальной литературной премии им. Константина Паустовского, артистка Одесской филармонии, мастер художественного слова Елена Яковлевна Куклова познакомила зрителей с прозой Олега Дрямина.

«Поэт, писатель начинается как с таланта, так и с личности. Мой многолетний опыт руководства литературными студиями убеждает меня, что, скажем, из тысячи или пятисот талантливых ребят писателями становятся единицы. Многие сходят с дистанции по разным причинам, но основная причина – это неумение формировать личность, в которой бы соединялась и сила воли, и работоспособность, и общественная деятельность, и умение постигать историю своего народа, его культуру, умение видеть перспективу и в то же время не отрывать корни от той земли, на которой ты растёшь. Мне нравится в Олеге соединение работоспособности с лёгкостью его на подъём, с быстротой реакции на те события, которые происходят в казачестве, в литературе, в мире».

Богдан Сушинский

26-27.11.2011. Приднестровская Молдавская Республика. Южнорусский Союз Писателей в гостях у Союза писателей Приднестровья.

В конце ноября делегация писателей Южнорусского Союза Писателей в составе Сергея Главацкого, Евгении Краснояровой, Анны Стреминской, Олега Дрямина и Викторнии Колтуновой посетила города Тирасполь и Бендеры Приднестровской Молдавской Республики. Визит состоялся по приглашению руководства Союза писателей Приднестровья, существующего с 1995 года. Писатели выступили перед читательской аудиторией двух городов, в рамках визита состоялись экскурсии по достопримечательностям Тирасполя и Бендер, общение руководителей ЮРСП и СПШ, а ближайшей целью двух писательских союзов стало подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между организациями.

«Перед нами в прямом смысле "распахнула врата" знаменитая Бендерская крепость. Ознакомившись на территории крепости с рядом памятников выдающимся военачальникам и полководцам, сыгравших важную роль в истории края, одесситы по многочисленным переходам и лестницам поднялись на самую высокую восстановленную башню крепости. Их взору открылся замечательный вид. Внизу Днестр, изогнувшись и поблёскивая подобно турецкой сабле, уходил в сторону, играя небольшой яхтой, пытающейся с помощью паруса справиться с



диким речным течением. В эти минуты подумалось, что жители Бендер живут на "острие сабли", и только их самоотверженный труд и готовность защищать себя и свой родной город делает их сильнее любого оружия. После прогулки по восстановленной части одного из крупнейших фортификационных комплексов Европы наша экскурсия продолжилась уже по достопримечательностям Тирасполя. Позже в помещении Тираспольского объединенного музея прошла встреча одесситов с руководством Союза писателей Приднестровья и со многими талантливыми писателями Приднестровья. Одесситы знакомили собравшихся со своим творчеством, по окончании встречи за сладким столом одесские и приднестровские писатели обменялись авторскими книгами и коллективными сборниками стихов и журналами, вышедшими в последнее время. Там же были представлены Одесская литературная антология "Солнечное Сплетение" и Одесский литературно-художественный журнал "Южное Сияние", выходящий в рамках программы одесского горсовета "По сохранению и развитию русского языка в Одессе". На встрече присутствовали заместители Председателя Союза писателей Приднестровья, члены правления Александр Вырвич, Ольга Молчанова, Леонид Литвиненко, что позволило Сергею Главацкому и Александру Вырвичу заявить о необходимости подписания в самое ближайшее время договора о дружбе и сотрудничестве между творческими организациями. По словам Сергея Главацкого, договор между ЮРСП и СПП будет подписан уже этой зимой».

Олег Дрямин

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

На 3 стр. обложки:

фото №1 - К. Чуковский. Литография Н. Войгинской (1909 г.),
фото №2 - письмо К. Чуковского Н.О. Лернеру (1903 г.),
фото №3 - К. Чуковский с женой Марией Борисовной (Одесса, 1900-е гг.),
фото №4 - Автограф К. Чуковского,
фото №5 - К. Чуковский.

Підписано до друку 20.12.2011 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 20,39.
Зам.2701. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17